

Поэль Карп

**ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ОПЫТ**

Поэль КАРП

**ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ОПЫТ**

Петербург
СМИО Пресс
2001

Поэль КАРП

K12 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ. СПб: СМИО Пресс, 2001. –
320 с., илл.

ISBN 5-7704-0088-9

Никто не обязан быть историком, но овладеть историческим мышлением стоит каждому и прежде всего на опыте своей страны, сопоставляя ее, чтобы вернее понять, с другими странами и помня, что она хоть и не лучше других, но и ничуть не хуже.

© Поэль Карп, 2001

ISBN 5-7704-0088-9

© СМИО Пресс, оформление, 2001

С моря ли вихрь? Или сирины райские
В листьях поют? Или время стоит?
Или осыпали яблони майские
Снежный свой цвет? Или ангел летит?

Длятся часы, мировое несущие.
Ширятся звуки, движенье и свет.
Прошлое страстно глядится в грядущее.
Нет настоящего. Жалкого – нет.

Александр Блок



*Историк
Николай Михайлович
КАРАМЗИН
(1766–1826)*

*Глава
вступительная*

РОДИНА ИЛИ ОТЕЧЕСТВО

Не с нас началось

Жизнь человеческая коротка, только отвели в детский сад, а уже выводят на пенсию. Даже и поняв задним числом свои ошибки, сделанного не воротить. А жизнь была трудной, то и дело под угрозой.

Неужто все было напрасно и годится лишь на рассказы о собственной глупости? Но что о ней говорить, если у новых поколений жизнь другая и глупости другие. Старик часто обнаруживает, что его опыт никому не нужен. Был он конюхом или кучером, ходил за лошадьми, понимал их повадки, кони его слушались, он и в кавалерии служил, — еще в начале XX века это была могучая сила. А нынче лошадь увидишь в цирке, на параде, верховая езда кого-то еще занимает, кто сам ездит верхом, кто ходит на ипподром, — не только ставки ставить, но и глядеть на красивых лошадей. Но в обыденной жизни, гражданской и военной, кони уже не нужны, и опыт старика, который про них знает, никому не интересен. На былое он не сетует, не считает жизнь ошибкой, вспоминает ее с восторгом, но никому не нужный опыт тяжким грузом лежит у него на душе.

Таким тяжким грузом нам кажутся порой фолианты исторических сочинений. Они повествуют о былом, о царях и героях, о прежних обычаях и нравах, некоторые читают их с интересом, узнают о прекрасном и страшном, о народах и странах, но крайне редко сопрягают прочитанное со своей жизнью. Жизнь пошла иная, и опыт предков как бы ни к чему. Мы и за сохой не ходим, ни меч, ни щит держать не умеем, совсем другие у нас занятия и забавы, но в одном от отцов и дедов и мы недалеко ушли. Они жили и мы живем не в одиночку, а среди людей, и не только в своей семье, но в обществе, среди посторонних.

Наши короткие жизни не обособлены от столь же коротких жизней других людей. Каждое «я» входит в какое-то «мы», и добро бы в одно, а нередко и разом во множество разных. Людей объединяет и то, что они живут в одной стране, и что у них общий родной язык, и схожий возраст, и то, что они выросли в городе или, напротив, в деревне, и то, что они не верят или, напротив, верят в бога, и в какого бога, и, конечно, образование, и схожая работа, и дети, и многое другое связывает людей меж собой, и порой кажется, что человек – лишь перекресток этих разных «мы».

С давних пор, когда человек еще и человеком-то не вполне стал, он жил в человеческом стаде. И, быть может, главное, что отличает его от других живых существ, это трудное и противоречивое осознание своего отдельного «я» в многочисленных «мы», от которых и самое грандиозное «я» не в силах напрочь оторваться. Да и разные «мы», в которые каждое «я» одновременно входит, нередко яростно противоборствуют. Да еще всякое большое «мы» то и дело дробится, и возникающие в нем отдельные «мы» тоже друг с другом часто не в ладах.

Когда глядишь в прошлое, на собственную ли жизнь или на жизнь самых далеких предков и предшественников, наивно сводить ее к ошибкам. Не потому, что она была верной, а потому, что шла, как позволяли хитросплетения множеств «я» и «мы», не говоря об окружающей природе. Даже самые страшные и грязные страницы прошлого, которые хочется вырвать, забыть, были, при всей ныне очевидной их неверности, не просто ошибками, а плодами того понимания правды, которое в ту пору брало верх. Недальновидного, ложного, но так или иначе тогда преобладавшего, готового пренебречь несогласными и даже их уничтожить. Не потому так получалось, что не было людей, смотревших на вещи по-иному, предвидевших последствия, а потому, что окружающие не слышали этих людей. Никогда нельзя сказать, что виноваты все люди, но можно сказать, что виновато общество, которое из этих людей состоит. Беда не просто в ошибках, а в том, что общество часто не слышит тех, кто предостерегает от ошибок, а то и не хочет их слышать, или взявшие в обществе верх, а это даже не всегда большинство, лишают большинство такой возможности.

Кажется, что одинокий человек бессилен перед ходом жизни. Но, оказывается, не только маленькое «я», но и огромные «мы»

не властны этот ход изменить, словно все в нем неизбежно, будто он преуказан, то ли богом, то ли развитием производительных сил, и общество, не говоря об отдельном человеке, с ног до головы опутано необходимостями, не оставляющими места свободной воле. Но бывшее возникало преимущественно как результат людского выбора, пусть даже вынужденного выбора из двух плохих вариантов, то есть как проявление хотя бы отчасти свободной воли, коллективной или индивидуальной. При всех толкавших в спину необходимостях никто не доказал, что совершенный выбор и впрямь отвечал божественным установлениям или хотя бы эффективному развитию производства. Трудно понять, в какой мере мы как общество и каждый из нас по отдельности властны над своей жизнью, трудно взвесить соотношение в ней свободного и вынужденного, если не вдумываться в собственный опыт, общественный и личный.

Даже личный опыт памятен не сплошь, а обособленными кадрами: стоишь с матерью в очереди за хлебом, одноклассница в темном коридоре прижалась к тебе грудью, ловишь по детекторному приемнику суд над троцкистско-бухаринскими изменниками, и так до старости, – и не знаешь, как соединить кадры в единую ленту. Это удавалось разве что Федерико Феллини и еще немногим. Еще сложнее с опытом общественным, который записан в истории, но тоже эпизодами, известными часто в пристрастных пересказах, а что между ними – и вовсе забыто. Да мы и не очень охотно читаем историю как запись общественного опыта.

Человек существует на земле более миллиона лет, говорят, и два, и три, а как прожил эти годы – мы почти не знаем, не помним, хоть уже тогда, в отличие от других живых существ, он, видимо, не был слепой игрушкой природы, но, поддерживая свое существование, переступал ее грани, укрощал огонь, создавал орудия труда, и стадо преобразалось в общество. Но пока взаимоотношения с природой первенствовали, жизнь наших предков не задерживалась в памяти. Память начинается тысяч десять лет назад с происходившего в Китае, в Индии, на Переднем Востоке, в Египте. Лишь с той поры мы считаем время историческим, хотя человек стал человеком как раз в прежнее, доисторическое время. А став человеком, ощутил нужду в истории, в понимании того, что с ним происходит, и в какой мере его жизнь обусловлена происходившим вчера или происходящим сегодня.

Избирательная память

Историческая память тоже избирательна, вчера казалось важным одно, сегодня – другое. Историю все время переписывают, она как бы все время меняется. Как во всякой науке, в истории совершаются открытия, новые наблюдения позволяют лучше понять прежде непонятное и даже не казавшееся важным. Поскольку в истории запечатлен поучительный опыт общества, его часто небескорыстно толкуют в угоду нынешним нуждам. История больше других наук зависит от текущей жизни и напрямую от политики. Видный русский историк Михаил Покровский так и говорил: история – это политика, опрокинутая в прошлое. К сожалению, нередко так оно и есть. Нынешние политики ссылаются на прежний опыт, как на пример или как на причину поступать иначе. Но былой опыт стоит знать не только политикам.

История не имеет черновиков и пишется сразу набело. В отличие от физики, химии или биологии, в истории нельзя поставить эксперимент, нельзя предварительно проверить, как лучше поступить на практике. Отчасти это возмещается возможностью сопоставить сходные исторические процессы, протекавшие в разных обстоятельствах. Такие сопоставления позволяют обнаружить определенные закономерности. Но сопоставления не дают уверенности, какую приносит эксперимент. Многие в исторических закономерностях остаются предположительным, гипотетичным. Часто кажется, что в истории вообще ничего достоверного нет, что это и не наука вовсе. Каждая новая власть заказывает себе подходящую историю, и люди ей верят, особенно если власть преследует прежнюю и всякую другую историю. Трагические для истории и для людского самосознания времена подчас длятся долго. Но это не значит, что невозможно достоверно знать опыт былого и учиться на нем.

Достоверность исторической науки начинается с достоверности источников, из которых она черпает исходные сведения. То есть с критики этих источников, с выяснения того, насколько они объективны, чьи воззрения и интересы отражают, откуда взяты сведения, в них содержащиеся, насколько они изменились в сравнении с более ранними и почему изменились. Не говорю уже о том, что иной историк попросту сочиняет свою историю, уверяет,

что было то, о чем ни в каких источниках сведений нет, а просто он решил, например, что князь, живший в XIII веке, был горьким пьяницей, и этим объясняет его поступки и отношение к нему других князей, даже родного отца, хоть ни летописи, ни другие свидетельства об употреблении князем спиртного не знают. Далеко не все факты, о которых пишут историки, и впрямь имели место и протекали так, как описаны.

Но установление факта, того, было ли и как было на самом деле, – лишь первый шаг исторической науки. Надлежит еще понять, как факты меж собой связаны, какой из них – причина, а какой – следствие. Вместо того чтобы это выяснить, часто говорят: «на то воля божья» или «это необходимо для дальнейшего развития». Говорящие так уже не интересуются конкретными причинами, толкнувшими ту или другую страну в ту или другую сторону. Историю объясняют общими закономерностями, она, дескать, движется так-то и так-то, проходит такие-то и такие-то этапы, стало быть, то, что противоречит принятой схеме, недо-стоверно. А на деле наоборот, закономерности истории только тогда чего-то стоят, когда опираются на достоверные факты и способны объяснить факты, противоречащие прежде установленным закономерностям. Исторические закономерности, в отличие от фактов, гипотетичны и даже если подтверждаются все новыми и новыми фактами, не отмахнуться от того, что с ними не совпадает. Если эти несовпадения не понять, они рано или поздно опрокидывают и, во всяком случае, ограничивают казавшиеся незыблемыми закономерности.

Часто говорят: история не знает сослагательного наклонения, то есть что было, то было, это и надо понять, и нечего гадать, что могло бы быть, как жизнь могла бы повернуться. Но мы, к примеру, достоверно знаем, что один из важнейших эпизодов отечественной истории мог протекать совсем иначе. 19 ноября 1825 года в Таганроге, где врачи советовали пожить царице Елизавете Алексеевне, страдавшей туберкулезом, и куда она прибыла вместе с мужем, царем Александром I, он неожиданно умер. Детей у них не было, и трон по закону переходил к брату царя Константину. Константин по личным мотивам царствовать не хотел и еще в 1823 году от престола отказался, в связи с чем царь особым манифестом утвердил отречение Константина и передал право наследования следующему брату, Николаю.

Только манифест царь не обнародовал, а, самолично его запечатав, оставил для тайного хранения в Успенском соборе в Москве и в синоде, сенате и государственном совете в Петербурге. Тайну строжайше берегли, сам великий князь Николай толком не знал, что его ждет трон, и, когда Александр умер, сам присягнул и войска привел к присяге Константину. Он даже вскрыл пакет с манифестом, но не счел удобным в отсутствие брата, постоянно проживавшего в Варшаве, принять трон, ожидая, что Константин подтвердит ему свое отречение лично. А Константин, отрекшийся два года назад, никуда ехать не хотел и сам присягнул Николаю. Лишь получив от Константина письмо с решительным отречением, Николай 14 декабря издал манифест о своем воцарении и велел присягать себе.

Необходимость второй присяги да уже и то, что трон переходил к Николаю, минуя Константина, до того считавшегося законным наследником, были солдатам непонятны, и в этих обстоятельствах тайному Северному обществу, давно задумавшему изменить государственный строй, удалось убедить солдат Московского и Лейб-Гренадерского полков отказаться от присяги и выйти на площадь к памятнику Петру, требуя передать власть Константину и Конституции, казавшейся им чуть ли не его женой. Не будь этой неразберихи, обнародуй Александр манифест об отречении Константина и передаче власти заблаговременно, 14 декабря не вспыхнуло бы восстание.

Конечно, декабристы не перестали бы существовать, более того, в бумагах покойного Александра были обнаружены доклады об их мятежном движении с именами руководителей, никуда бы не исчезло и недовольство значительной части дворянства политикой царя, отбросившего либеральные стремления юности и ориентировавшегося на советы Аракчеева. Мы не можем знать, к каким все это привело бы событиям без неразберихи с престолонаследием. Но мы понимаем, что, не будь открытого восстания, события шли бы иначе, а это вызвало бы и вовсе неведомые нам перемены, о которых не стоит гадать, но сознавать возможность которых необходимо.

Не только история, а вся наша жизнь протекает лишь в изъяснительном наклонении, и если вы, уронив, разбили чашку, ее, конечно, можно склеить, но новой она уже не будет. Однако вы думаете, как надо бы чашку держать, чтобы она не разбилась, то есть дума-

ете в сослагательном наклонении и выясняете для себя, было ли падение чашки неизбежным. В истории постоянно смешивают закономерное и случайное, то говорят, что она всего лишь цепь случайностей, то уверяют, что все, что случилось, неминуемо должно было случиться, каждый шаг закономерен, и некоторые верят, что причина тому даже не воля божья и не производственные отношения, а умысленные действия неведомых темных сил.

Но закономерное в истории проявляется в случайном, и характер его проявления зависит от случайностей. Глядя на историю как на опыт, важно различать, что и впрямь обусловлено неодолимыми обстоятельствами, а что зависит от людей, от их сознания, вздорности, мужества, корысти, воли. Коль скоро мы постигаем закономерности истории не по экспериментам, а по сопоставлениям сходных процессов, их не постичь, не обращаясь к сослагательному наклонению, не вглядываясь в то, что мешало схожим процессам развиваться одинаково.

Никакие науки, даже естественные, не живут без гипотез, позднее подтверждаемых или не подтверждаемых экспериментом. Невозможна без гипотез, без сослагательных построений, и историческая наука. Не надо только выдавать сослагательное наклонение за изъявительное и гипотезы за факты, а такое, к сожалению, происходит сплошь и рядом.

Причины и цели

Многое в истории путают, когда смотрят на нее как на арену достижения отдельными людьми, или целыми народами, или всем человечеством каких-то наперед ими или перед ними поставленных целей, высоких или низких – не в том суть, как мы их оценим. Целевой подход заведомо сужает взгляд историка. Он уже не видит, что происходит на деле под знаменем прекрасных целей, ради которых пускаются в ход самые отвратительные средства, уводящие от этих целей, обращающие их в нечто противоположное. Подлинной истории интересны не так цели, как причины, в том числе причины провозглашения этих, а не иных целей, и трансформации целей по ходу борьбы за их достижение.

История – наука не о целях, а о причинах перемен в жизни людей и народов. Видеть причины происходящего сегодня, и

закономерные и случайные, отличая одни от других, мыслить причинно, не ограничиваясь попадающим в поле нынешнего зрения, это и значит мыслить исторически. То есть видеть прежде всего не цели, которые человек или народ перед собой ставит, а действия, которые он, то ли ради этих целей, то ли под предлогом этих целей или по другой надобности, совершает, и последствия этих действий, часто и не предполагавшиеся. Как сказано: по плодам их узнаете их.

Но знать историю надо не затем, чтобы расставлять оценки предкам и предшественникам, оценки могут быть разными, одинаково нелепо искать в былом только хорошее и только дурное. Важно видеть былое как самодвижущийся процесс, конечно, меняющийся от обстоятельств и людских поступков, но сохраняющий самодвижение. Генетика знает, что внешнее воздействие способно изменить наследственную природу, но только не адекватно изменениям, которые то же воздействие вызывает в живой природе. История – в некотором роде генетика общества, наука о его изменчивости и преемственности. Ей тоже стоит знать, что воздействие обстоятельств и людских поступков сказывается на людях, непосредственно его испытывающих, иначе, чем на их потомках. В ходе исторического процесса цели и намерения часто преобразуются, и, делая свое, стоит иметь в виду грядущее переименование того, что делаешь.

Исторический процесс не схож с механическим, где грань между стоянием на месте и движением очевидна. Общество, как и природа, движется всегда. Но по направленности и характеру движения и в историческом и в биологическом процессе можно отличить статику от динамики. Люди рождаются на свет, растут, сами рожают и растят детей, стареют и умирают. Но пока дети идут по кругу, пройденному родителями, лишь повторяют их опыт, ни биологический, ни исторический процесс, как таковой, еще не движется.

А с изменчивостью, с мутациями, становящимися значимыми, начинается движение, развитие. Не просто индивидуальное развитие живого существа, от детства к старости, но развитие природы или развитие общества. Не всегда это развитие к лучшему, и не стоит отождествлять всякое развитие с прогрессом – пути развития и представления о том, что лучше, многообразны. Многие видят идеал как раз в статическом состоянии общества,

так сказать, в стабильности. Но различие между повторяющейся, стоячей жизнью и жизнью меняющейся, текучей, хотя бы накапливающей перемены, побуждает, постигая прошлое, добираться до причинности развития.

Сходство биологических и исторических процессов, как движущихся во времени, не означает, однако, их идентичности. Более того, вступая в исторический процесс, общество понемногу как бы высвобождается от влияния биологического. Мысль и труд человека оттесняют биологическую причинность. Естественный отбор бессилён в общественных отношениях. Живые существа, обречённые умереть среди природных стихий, в человеческом обществе выживают и дают потомство. Вот почему биологическое состояние человечества часто считают стабильным, хотя это и не совсем так. Но различия между людьми по природным способностям, вроде наличия или отсутствия музыкального слуха, существенны не так сами по себе, как лишь при потребности общества в таких способностях. Различия между народами тоже носят не естественный – тут они сводятся к цвету кожи, третьему веку и подобным частностям, на интеллектуальные и физические свойства человека не слишком влияющим, – а общественный характер. Это различия в образе жизни и, соответственно, в образе мыслей. Здесь тоже чередуются круговое и линейное движение, стояние на месте и развитие, и переменам, совершающимся в образе жизни, не всегда адекватны перемены в образе мыслей. Когда невозможно понять переменчивую историю общества, её нередко пытаются объяснить якобы стабильной биологией.

Отечество

Никто не обязан быть историком, но овладеть историческим мышлением стоит каждому и прежде всего на опыте своей страны, сопоставляя её, чтобы вернее понять, с другими странами и помня, что она хоть и не лучше других – даром что мы привязаны к ней больше, поскольку в ней прошла наша жизнь, – но и ничуть не хуже. Мы часто называем свою страну родиной, но не задумываемся, что это слово значит. Родина – место, где мы родились. Естественно звать так родную деревню или город, даже

родимый край, но все не так просто. Я вот родился в Киеве, что и значится в моем паспорте, так что мог бы, наверное, сегодня претендовать на украинское гражданство. Но четырех лет родители увезли меня в Москву, где я прожил потом лет двадцать, ходил и в детсад, и в школу и в университет, а потом, по сложившимся обстоятельствам, опять пришлось переезжать, теперь уже в Ленинград, где я живу почти полвека. И все-таки родной город для меня не Киев, где я родился, и не Ленинград, где прошла большая часть жизни, а, конечно, Москва, где я ощутил свое «я» и почти все свои «мы», где научился читать и писать на родном языке, где задумался о самых важных для меня во всей позднейшей жизни вещах, ощутил мир, к которому принадлежу.

Понятно, этот мир не ограничивается городом и вообще географическими границами, и бухарский эмират, после революции вошедший в состав моей страны, и царство польское, тогда же из нее вышедшее, одинаково остались за пределами родного мне мира. И даже Киев, где я родился, входил в него лишь отчасти. Четырнадцать лет впервые увидав его сознательным взором, я, конечно, уже знал, что Киев – мать городов русских и что не только я сам, но история всего моего мира началась здесь, но кругом говорили на другом языке, который я вроде и понимал, но не всегда в полной мере, приходилось переспрашивать, и мне объясняли по-русски, что сказанное означает.

Я впервые тогда ощутил, что мир отличается от дома, от двора, что это не просто территория, собрание ландшафтов, пленивших взор, что ландшафты могут уцелеть, а мир уйти, переместиться в иные ландшафты, еще недавно чужие, и прорасти в них, а еще недавно свои могут стать чужими. Жизнь пронесла меня по трем российским столицам в той же последовательности, в какой они возникали, и это помогло мне понять, что мой мир не просто подарен мне и другим, в нем живущим, а создан людьми, жившими задолго до нас, разными, порой стоявшими заодно, порой враждовавшими, но вместе и порознь своими действиями и мыслями во многом предопределившими то, к чему мы сегодня пришли и к чему придут после нас.

Мне выпало счастье видеть и крутые берега Днепра, и холмы Изборска, словно выскочившие из древних летописей, и спуск к реке Нерль в старой Кидекше, и, конечно, старые московские кривые улицы, и каналы Петербурга, но мир, к которому я принадле-

лежу, сотворен все-таки не столько пейзажами, сколько людьми, в окружении этих пейзажей селившимися. В незапамятные времена эти пейзажи еще ведь не составляли единого мира, лицо которого потом определили люди. Вот почему, думая об истории, я называю свою страну не родиной, а отечеством.

Его географические границы могли и могут меняться, его части могли и могут добровольно или насильственно объединяться, а потом отделяться, но при всех переменах оно хотя бы отчасти сохраняет в себе вольно или невольно заложенное отцами и дедами, пращурами и прапращурами. Можно держаться противоположных взглядов на то, что было у нас плодотворно, что неплодотворно, но важно понять, чем это было, как это было устроено, как люди жили, а там уж можно спорить, прекраснее наш мир или ужаснее других.

А для этого надо в нем различать общее с другими мирами, пусть и независимо от них возникшее, и особенное, появившееся в силу наших специфических обстоятельств, и даже преломление этого общего видеть не только в свершившихся событиях, но и в тех возможностях, которые наш опыт использовал, и в тех, которые не использовал, упустил, но еще существующих.

В средневековой Европе от Атлантики до берегов Дона и Волги ведущие роли преимущественно принадлежали иным народам, чем в античные времена. Будущие англичане, французы, немцы, поляки, русские независимо друг от друга по-своему переживали схожие этапы довольно единообразного развития. Нередко Россию противопоставляют Западу, забывая, что Россия – тоже Запад и от покорявшей ее монгольской империи отличается не меньше, чем от покорявшей ее арабской империи отличалась Испания, более схожая зато с далекой Россией. Жизнь европейских народов шла, конечно, не вполне одинаково, различия меж ними велики, у русских куда больше схожего с немцами, чем с французами, и не потому, что немцы поближе, а потому, что больше схожего в обстоятельствах и в самом развитии, но наши различия долго оставались различиями на общем пути. Даже когда на исходе средневековья расхождения становились ощутимей, схожие тенденции наблюдались у всех европейских народов, хоть верх и брали разные. Да и потом не обходилось без учета чужого опыта, и сходное давало себя знать.

Нет заведомо и навсегда плохих и заведомо и навсегда хороших стран и народов. Свою историю надо видеть, как есть, не обмазанной дегтем и не покрытой сусальным золотом, не стыдясь ее и не гордясь ею, а думая об опыте пережитого обществом и страной. Без осознания опыта и сообразных с ним перемен жизнь возвращается на круги свои, вянет, останавливается, становится трудней, и прекрасное в ней редет. Если мы хотим думать о будущем, надо думать об историческом опыте. В этой книге мы, конечно, не оглядим его полностью, лишь немногие эпизоды, и то не целиком, да общую проекцию. Но лиха беда начало.



*Филолог и историк
Алексей Александрович
ШАХМАТОВ
(1864—1920)*

**Глава
первая**

**ОТ КНЯЗЯ ОЛЕГА
ДО ХАНА БАТЬЯ**

Откуда Русь?

Давным-давно меж Прибалтикой и Причерноморьем, вдоль Днепра, Десны, Припяти, Западной Двины, Волхова, поселились славянские племена, к которым мы возводим наше отечество.

Самая ранняя известная нам его история, «Повесть временных лет», написанная в первой четверти двенадцатого века, а начатая и того раньше, где-то в середине одиннадцатого, открывается библейским рассказом о всемирном потопе, разделе земли меж сыновьями спасшегося от потопа Ноя – Симом, Хамом и Иафетом и о том, пока они пребывали в согласии, народ всей земли был един. И только потом, разрушив дерзко вздымавшуюся к небесам Вавилонскую башню, «смешал бог народы, и разделил на семьдесят и два народа и рассеял по всей земле». А поздней «от этих семидесяти двух язык произошел и народ славянский».

Мы, конечно, не знаем, как оно изначально было, давние времена окутаны легендами, но первые летописцы, в отличие от иных нынешних историков, не столько противопоставляют свой народ другим, сколько обозначают его место среди других и даже особо напоминают, что покровитель России апостол Андрей, по преданию воздвигнувший на месте будущего Киева крест и сказавший городу величие, был братом апостола Петра. Не то чтобы проповедовать вечную вражду к западно-христианской, католической, церкви, восходящей к апостолу Петру. Перечисляя славянские племена – а это и поляне, и древляне, и кривичи, и северяне, и другие, «Повесть временных лет» помнит и тамош-

ние финские племена, «говорящие на своем языке», – это и черемисы, и меря, и весь, и много еще других.

Возникновение восточно-славянского государства связывают обычно с Киевом, хотя началось оно, скорее, на севере и, опять же, видимо, не в самом известном из местных славянских городов Новгороде, который ведь и Новым Городом могли называть, только если прежде какой-то уже был. Одни ищут наше начало неподалеку от Новгорода, в Рюриковом городище у истоков Волхова, другие – ближе к его устью в Ладоге, ныне именуемой Старой Ладогой. А о князьях, возглавивших первый восточно-славянский город, летопись говорит, что их призвали на княжение из жившего по соседству варяжского, то есть скандинавского, германского, племени.

Историки издавна яростно спорят с летописью, опровергая так называемую «норманнскую» теорию возникновения нашего отечества. Скорее всего, рассказ о призвании чужеземных князей, которым якобы сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами», – и впрямь легенда. Летописи не только в Киеве писались, а переписывались потом в Новгороде, а потом опять в Киеве, и, скорее всего, здесь запечатлелся обычай новгородской республики призывать князей для руководства городской дружиной. Только летопись говорит не отдельно о князьях, а о племени, из которого князья происходят, о том, что «пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, подобно тому, как другие называются шведы, а иные норманы и англы». И далее речь о том, что князья этого варяжского, скандинавского, племени *русь* пришли не только со своими родами, но «взяли с собой всю русь, все племя».

Даже не веря в особое призвание князей, приходится все же думать, что скандинавское племя *русь*, как и другие соседние племена, смешивалось со славянами. Летопись говорит, что призвали русь «чудь, славяне, кривичи и весь», то есть племена и славянские, и финские, и все они вместе строили тогда новое государство, которое стало называться Русь, а отсюда пошло имя складывавшегося в нем народа – русские. Из разных племен сложился народ, носивший варяжское имя и говоривший на славянском языке.

Не только наша страна зовется заемным именем. Пруссия, восточная часть которой ныне входит в состав Польши и России,

была немецким государством, хотя германского племени с таким названием никогда на свете не было, а жили в тех местах пруссы, балтийское племя, родственное литовцам, отчасти потом погибшее, отчасти смешавшееся с немцами и оставившее их государству и его жителям свое имя. Мы не исключение. Ничего стыдного в иноземном происхождении имени нет.

Более тысячи лет многие русские люди носят не только славянские имена *Владимир* и *Людмила*, но и греческие *Алексей* и *Елена* или еврейские *Иван* и *Мария* и считают их не чужими, а родными. Уже по этим именам можно понять, что в формировании русского народа участвовали не только славяне, финны и германцы. По «Слову о полку Игореве» мы знаем, к примеру, о борьбе князя с врагами славян половцами, но редко вспоминаем, что мать князя Игоря была половчанка, то есть сам он по матери, – а выдавая нам ныне паспорта, национальную принадлежность определяют по матери, – был половцем и лишь по отцу славянином. В давние годы появились на Руси и греки, и евреи, и другие народы из более отдаленных земель, они появились еще в пору формирования первого русского государства и принимали в нем участие. А потом к ним прибавились и татары, и многие другие, и оставаясь по языку, а отчасти и по культуре, народом славянским, русский народ по происхождению разнообразен.

В этом тоже нет ничего особенного. Даже живущие на острове англичане ведут происхождение и от давних его обитателей кельтов, и от побывавших там римлян, и от вселившихся туда германских племен англов и саксов, а за ними датчан и тех же варягов, норманнов, за время жизни в Нормандии, то есть на северо-западе Франции, офранцузившихся, подобно тому, как наши варяги ославянились, и перемахнувших через пролив Ла-Манш в 1066 году, уже после того как в единый народ стали сливаться славяне, финны и русь. Многие яростно отрицают скрещенные народы, защищая так самобытность своего, хоть ее определяет, как было говорено, не биология, а культура.

Итак, летопись XI–XII веков сообщает о возникновении во второй половине девятого века, то есть более тысячи ста лет назад, первого русского государства во главе с варягом князем Рюриком. Порой уверяют, что русское государство возникло много раньше, чуть не до Рождества Христова или даже во времена Александра Македонского. Уверяющим, видимо, обидно, что германское госу-

дарство франков во главе с Хлодвигом возникло еще в начале шестого века, а наше на двести с лишним лет поздней. Не хотят они видеть, что государство франков возникло на самом краю европейского материка, а наше в самой его середине, и по будущим русским землям в Европу шло одно племя за другим, и еще в седьмом веке продолжалось переселение народов. Да и славянские племена вторгались в Византию и на Балканский полуостров.

Покуда во второй половине седьмого века у берегов Каспия не сложилось первое в Восточной Европе государство хазар, тюркоязычного народа, заслонившее на время Приднепровье от новых вторжений, там не было покоя и не могло быть сколько-нибудь устойчивого порядка. Западные хазарские крепости стояли на реке Донец. Хазары шли и дальше, и нападали на славян, облагали их данью. Но дань эта была довольно умеренной, складывалась некоторая стабильность, и можно было подумать о завтрашнем дне. Другой тюркский народ, волжские булгары, расположился севернее хазар, в среднем течении Волги, и он тоже обозначил для Рюрика государства границу продвижения на восток. Восточнее Ярославля и Костромы археологи скандинавских могил не находят.

Волжские булгары не давали славяно-варяжско-финскому народу Рюрика государства, еще не звавшемуся тогда русским, продвинуться к Волге и по ней дальше вниз к морю Хвалынскому (теперь Каспийскому). Вот государство Рюрика и предпочло открытию этого торгового пути, возможно, не менее выгодного, испытанный путь «из варяг в греки» по Днепру и двинулось на юг по славянским землям.

Киевские князья

Когда Рюрик правил в Новгороде, другие варяги, Аскольд и Дир, уже правили в Киеве. Но после смерти Рюрика в 879 году власть перешла к его родичу Олегу. Олег и пошел на юг, пришел к Смоленску, поставил там править своих людей и двинулся дальше, беря под свою руку славянские земли. Он дошел до Киева, Аскольда и Дира сбросили и убили, и стал Олег княжить в Киеве, и, как говорит летопись, «были у него варяги, и славяне и прочие, прозваншиися русью». И Киев с тех пор считался матерью городов русских.

Олег подчинил себе и полян, и кривичей, и древлян, и северян, и радимичей. Он воевал с хазарами и велел не платить им больше дань, но отдавать ему, и пошел дальше на греков, то есть на Константинополь, и победа привела к заключению в 911 году русско-византийского договора, полезного Руси и открывшего путь к мирной торговле.

То был первый заключенный нашим отечеством международный договор, он означал международное признание. Но, конечно, об Олеге мы, прежде всего, помним потому, что при нем северные и южные земли вдоль Днепра и Волхова, населенные складывающимся русским народом, соединились, хоть и не всегда добровольно, в единое государство, и с него начинается уже не история племен, а история Руси.

Олег умер в 912 году, и править стал Игорь, считавшийся сыном Рюрика. Игорь тоже воевал с Византией, но не столь успешно, как Олег. Ему пришлось воевать и с древлянами, желавшими отколоться от единой державы, а потом с печенегами, тюркским племенем, двигавшимся с востока. Древлян Игорь обложил непомерной данью, они его убили, и, чтобы отомстить за мужа, жена его Ольга собрала на тризну в память об Игоре знатнейших древлян, надеявшихся помириться с Киевом, и, когда те опьянели, приказала всех перебить. А потом, когда уцелевшие опять искали мира, обложила их совсем легкой данью: по три голубя да три воробья с каждого двора. Древляне эту дань доставили, и Ольга велела привязать к птицам горящий трут и отпустить птиц. Прилетев к своим гнездам, они пожгли дома древлян.

Ольга первая среди русских князей приняла христианство. Но сын ее Святослав, после убийства отца с малолетства считавшийся князем, не последовал ее примеру. Он был мужественным и неприхотливым воином и много воевал. Именно он разгромил хазарское царство, победил вятичей, и болгар дунайских, и печенегов, осадивших было Киев. Но Святослав, как некогда Олег, хотел еще больше расширить державу, его тянуло за Дунай, где тоже жили славяне, дунайские болгары. Похоронив мать, он туда и отправился. Но на сей раз болгары и влиятельные там греки встретили его враждебно, и хоть он дрался храбро, разорил множество тамошних городов, победить не удалось. Пришлось возвращаться, хотя бы за подмогой. Тут печенеги перекрыли ему путь, и у днепровских порогов отважный князь Святослав сложил голову.

Уже при первых киевских князьях, Олеге, Игоре, Святославе, установился социальный порядок, схожий с тем, какой устанавливался в государствах, возникавших на западе Европы, и там позднее названный феодальным. Внутренние связи родственных племен у нас тоже увядали. Племена расселились на широких пространствах, и слабели даже связи родов внутри племени. И самые роды распадались, делясь на самостоятельные семьи. Семья распорядилась своей пашней, сама вела сенокос, сама охотилась. Род уже не в силах был руководить разраставшимся хозяйством всей родни. Общие интересы связывали не столько с далеко отселившимися родичами, сколько с соседями. На общий совет, издавна именовавшийся «вече», сходились уже не родовые старейшины, а окрестные домохозяева, родные и неродные, они сообща решали местные дела, то есть жили общиной, но уже не родовой, а соседской, и выбирали общинных старейшин.

То была община свободных людей, распорядившихся своей землей и своим имуществом, земельных переделов не знавшая. У русских сперва было не меньше свободы, чем у других европейцев. Но и у нас то прежние племенные вожди или родовые старейшины, то защитники возникавших в городах торговых центров становились князьями, и отношения князей и княжеских дружин с общиной земледельцев-смердов и городскими ремесленниками, и торговцами на Руси, как и по всей Европе, постепенно преобразовались. Князья и состоявшие при них бояре стали претендовать на земли, которыми практически уже владели составлявшие сельскую общину земледельцы.

У князя было и личное хозяйство, в котором работали принадлежавшие ему рабы (холопы). Рабами становились пленники, в рабство мог попасть не выплативший дани или не вернувший долга. Рабы обрабатывали личную княжескую землю, занимались ремеслами, но из них же порой складывался аппарат управления княжескими и боярскими владениями. Слова «дворянин» и «дворовой», в нашем сознании противоположные, не случайно звучат сходно, нередко холопы князя, выполнявшие его поручения, возвышались над свободными людьми. Малуша, мать самого князя Владимира сына Святослава, была сперва доверенной рабыней его матери, княгини Ольги, и полоцкая княжна Рогнеда, принужденная стать женой Владимира, называла его «робичичем», то есть сыном рабыни.

Князья искали опоры в личных рабах потому, что большинство сельских жителей оставалось свободным и не желало безропотно подчиняться. Порой противостояние князей и общин хотят объяснить инородным происхождением князей, захвативших чужую землю. Сбор дани («полюдье») княжеские дружинники проводили беспощадно. Дружина норовила взять с людей побольше и побольше удержать в своих руках, – это ей в вину не ставилось. Однако князья и смерды, как правило, происходили из одной и той же, единой, славяно-варяжско-финской смеси племен.

А противостояние проистекало из претензий тех и других на одну и ту же землю и отношений между ними по этому поводу. Князь признавал за собой определенные обязанности перед крестьянами, прежде всего, обязанность защищать их от других князей и иноземцев, а крестьяне были готовы давать ему за это определенное вознаграждение, дань. И князья, и крестьяне называли одну и ту же землю своей, только в разных смыслах. Однако по ходу такого совладения росли права князей и обязанности смердов, князь был сильнее, его дружина владела оружием, и уже это давало князю перевес. Сельские жители становились всё более от него зависимы.

Но и господа не вполне были независимы, они составляли иерархическую лестницу взаимной зависимости. На западе на вершине ее стояли короли, а на Руси великий князь Киевский. На западе, правда, короли уже прочней и полней поручали распорядиться землями военачальникам и рыцарям, своим вассалам, а те – своим вассалам. В Киевской Руси князья еще владели всей землей вместе, как бы сообща, получая части ее лишь во временное управление. То есть на Руси порядок был более централизованным. Даже церковь, на западе уже владевшую обширными землями, на Руси кормило государство, хоть сверх этого и там, и у нас ей были положены приношения местных жителей.

Точно так же наши воеводы и дружинники не спешили по западному примеру отделяться от князя и держались при дворе, получая от князя часть дани, которую помогали собрать. Известную самостоятельность сперва имели только давние местные династии, признавшие власть киевского князя. Феодальное дробление Руси изначально носило семейный характер. Уделы и города князь делил меж детьми и внуками, иначе он не надеялся

обеспечить ни их будущее, ни, что долгое время у нас считалось еще важней, единство державы. При неразвитом хозяйстве, огромной уже тогда территории и вторжениях кочевников бояре и дружинники тоже дорожили единством. И чтобы его удержать, на Руси сложилась необычная система наследования: княжение переходило не от отца к сыну, а от брата к брату – от старшего к следующему и так до младшего и только от него к старшему сыну старшего брата, а там опять от брата к брату.

В Киевской Руси князья и бояре укреплялись, а смерды-общинники становились зависимыми, хоть их зависимость была поземельной и еще не достигала уровня позднейшего крепостного права. В городах еще выбирались старейшины, формировалось народное ополчение – «тысяча», но народное собрание, вече, кроме чрезвычайных случаев, собиралось все реже, а потом и нигде не собиралось, кроме Новгорода, Пскова и Полоцка. Русью правили князья.

Крещение

Важнейшей стороной шедшего по всей Европе феодального преобразования стало и у нас принятие христианства. Русь была крещена при сыне Святослава Владимире в 988 году. К тому времени отношения между западным и восточным христианством уже напряглись, особенно из-за того, кому опекать Болгарию. Но когда крестилась Русь, христианская церковь еще считалась единой, не разделенной на западную, католическую, и восточную, православную. Только через шестьдесят с лишним лет, в 1054 году, римский папа Лев IX и константинопольский патриарх Кируларий предали один другого анафеме, проклятию. Таким образом, Русь приняла не нынешнее отдельное православие, а общее христианство, ту же религию, что и вся тогдашняя Европа, частью которой она была и схоже с которой жила. Народы Европы развивались сходно и, переходя от родового строя к феодальному, переходили от языческой веры к христианской.

Языческое многобожие, еще державшееся при античном рабовладении, не помогало ориентироваться в новом мире. В родовом обществе человек что-то значил лишь внутри своего племени и рода, и языческие боги имели каждый свою специаль-

ность, мало занимаясь общим для всех людей. Христианская вера в общего для всех Христа, спасителя, который, как верят христиане, затем и явился в мир, чтобы указать людям путь к спасению от смерти, к жизни после кончины, и который придет вторично, чтобы судить живых и мертвых, возникла из иудейской веры в национального спасителя, мессию. После покорения Иудеи Римом и подавления антиримского движения там все ясней понимали, что хоть в одиночку с Римом не совладать, но и другим его владычество в тягость. Покоренные люди все чаще думали уже не об одном своем национальном мире, но о мире как целом и, главное, о человеке в этом большом мире. Это облегчалось уже тем, что иудеи верили не во многих богов, а в единого и давно ожидали прихода его посланца, спасителя людей. Новая вера, возникшая среди них из старой, вера в недавнее пришествие этого посланца, сына божьего, распространилась в созданной римлянами империи, далеко за пределы Иудеи. Триста лет спустя ее принял и сам Рим, а там и другие народы, тоже думавшие уже не только о своей племенной жизни, но о своем месте в мире.

Современному человеку не очень понятно значение религии в былые времена и то, что светское сознание играло тогда заведомо подчиненную роль. Нынче людей делят на верующих и безбожников, по-гречески – атеистов. На деле, однако, люди делятся на верующих, то есть принимающих сложившуюся картину мира, и свободомыслящих, то есть пытающихся понять мир самостоятельно. До эпохи Просвещения, то есть до XVIII века, подавляющее большинство людей судило о мире сообразно с религиозными представлениями. Люди были убеждены, что бог создал мир, создал человека и предписал, как жить. Конечно, и тогда бывали свободомыслящие, но, как правило, одиночки. Однако и светская картина мира, даже объявленная научной, зачастую принимается людьми на веру, далеко не каждый осмысливает мир и его исторический опыт самостоятельно. Людей, которые доверчиво принимают официальные светские представления, тоже можно назвать верующими, хоть веруют они уже не в то, что бог есть, а в то, что бога нет. К свободомыслию и в светском обществе нередко относятся с подозрением.

Но происходит так не только от недостатка терпимости, не только от того, что власть имущие разными способами направ-

ляют сознание рядовых людей, но и потому, что взаимопонимание и впрямь возможно лишь на почве каких-то общих представлений. Хоть и сказано в Новом Завете: «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие» (Марк, 2, 22), на самом деле люди по преимуществу именно этим и занимаются, то есть в старых формах изъясняют новые идеи. Сами авторы Нового Завета поминутно обращаются к Ветхому, подтверждая свои суждения тем, что уже в Ветхом Завете они были предсказаны.

Христианство, подобно другим мировым религиям – до него буддизму, после него исламу – и, может быть, даже искуснее их, разработало мировоззрение, необыкновенно подходившее для перемен, свершавшихся при становлении в Европе феодализма. Понятно, Иисус из Назарета и его ученики ведать не ведали о будущих надобностях короля Хлодвига или князя Владимира. Но в пору острого кризиса Римской империи, особенно тяжелого для покоренных ею народов, дети одного из этих народов пришли к некоторым основополагающим понятиям, без которых жителям Европы и Средиземноморья, Передней Азии и Ближнего Востока из кризиса было не выбраться. Это и побуждало потом людей, оказавшихся в сопоставимых ситуациях, обращаться к их наследству, к тому, что происходило пятьсот, или тысячу, или даже две тысячи лет назад в покоренном римлянами еврейском государстве в Палестине,

Едва ли не важнейшим среди принесенного христианством было осознание единства людей, принимающих новую веру, перед лицом которой не имело значения, рабы они или свободные и к какому племени принадлежат. Если житель Киевской Руси оставлял язычество и принимал крещение, – значит, он русский. И не было нужды вести престижные споры, затеянные в новые времена вокруг норманнской теории: кем почетнее быть – варягом, финном или славянином. С принятием



*Софийский собор в Киеве.
Начало XI века*

христианства Киевская Русь разом преодолела угрожавшую ее разодрать разноплеменность и вместе с единством обрела устойчивость. Небольшие меньшинства, хранившие верность языческой вере, старой иудейской или мусульманской, устойчивости уже не грозили.

Еще, быть может, важнее, что христианство принесло иную систему отношений между людьми. Представление об индивидуальном спасении каждого отдельного человека, а значит, о его ответственности за собственное спасение, изменило положение человека в обществе. Человеческие отношения выходили за пределы традиционных родо-племенных, все чаще обретали индивидуальный, личный, характер. Отдельный человек мог обрести персональную привилегию и, точно так же, персональную зависимость. Конечно, рядом складывались аналогичные привилегии и аналогичные зависимости, но все равно это были индивидуальные отношения, конечно, неравноправные, но уже включавшие в себя взаимные ограничения и обязательства. Понятно, не всегда взаимность соблюдалась, да и за ней просматривается прямое внеэкономическое принуждение, но само появление в сознании такой взаимозависимости отделяло новый строй и от рабства, которое хоть и не отвергалось христианством, но плохо с ним вязалось, и от родоплеменных порядков, когда отдельный человек сам по себе тоже не много значил. Потому-то христианство и стало не просто верой в бога, но охватившим всю Европу способом осознания людской жизни, и оно пребывало в этом качестве, пока феодальный порядок не зашатался.

Первоначально Владимир Святой, как и его отец, думать не думал о принятии христианства, его пленяла даже мысль создать некий единый Пантеон из старых племенных богов, но потом он оценил преимущества новой веры, сверх всего прочего сблизившей Русь с остальной Европой и способной помочь общению к культуре, которую вынес из античности христианский мир, и он принял решение. Русь была крещена. Тем самым и она ощутила феодальный порядок своим. Но из-за постоянно возобновлявшихся вторжений восточных кочевых племен она трудней, чем страны, более обособившиеся, преодолевала прежний, родовой строй, и переход к новым отношениям совершался у нас медленней.

Ярослав Мудрый

Наш своеобразный порядок наследования от брата к брату обманывал надежды и вел к междоусобицам. Единство поддерживалось не братством князей, а тем, что один из них побеждал, а нередко и убивал, остальных братьев. Сам Владимир Святой стал князем Киевским, лишь убив старшего брата Ярополка, из-за интриг которого, видимо, погиб их общий брат Олег. Еще острее были распри между сыновьями Владимира, что и немудрено, – их было двенадцать. У Владимира и жена была не одна, единобрачие тогда на Руси еще не установилось. Уже женатый, Владимир Святой, убив князя Полоцкого, насильем взял в жены его дочь Рогнеду и тотчас же, убив брата Ярополка, женился и на его жене, по рассказу летописи беременной. Когда в 1015 году Владимир умер, ее сын Святополк, считавшийся сыном Владимира, оказался старшим, родившихся у Владимира прежде не осталось в живых, и он стал править в Киеве. Из своих сыновей Владимир больше других любил Бориса, рожденного, как и младший Глеб, еще одной его женой, Анной, сестрой византийского императора Василия, взятой Владимиром в жены после крещения. Возможно, именно Бориса он видел своим преемником, что, видимо, тоже побуждало Святополка к убийству соперника. За убийство малолетних братьев, сперва Бориса, а потом и Глеба, Святополк был прозван Окаянным, а Борис и Глеб причислены к лику святых. Они стали первыми русскими святыми. Их отец, сам убивший брата, был причислен к лику святых позднее, но зато провозглашен равноапостольным.

Святополка обличают скорее потому, что он проиграл. Женатый на дочери польского короля Болеслава, он воспользовался его поддержкой против брата Ярослава, посаженного отцом, как некогда сам Владимир своим отцом, княжить в Новгороде, а теперь претендовавшего на Киевский стол. Но польские союзники Святополка худо обходились с киевлянами, и он сам призвал их защищаться. В результате победил Ярослав, а Святополк бежал. Но и утверждение в Киеве Ярослава не восстановило единства Руси.

Их брат еще от одной жены Владимира, именуемой в летописи «чехиней», Мстислав, носивший прозвище Храбрый и действительно проявивший воинский талант еще в борьбе с кавказ-

скими народами, княжил в Тмутаракани, то есть на Таманском полуострове. Он не хотел уступать Русь Ярославу и в бою при Листвине его разгромил. Тут, наконец, братья договорились, что Ярославу останется правый берег Днепра, с Киевом и Новгородом, а Мстиславу – левый, с Черниговом и Переяславлем. С тех пор братья жили по-братски, и когда в 1036 году Мстислав, не имевший наследников, умер, его владения отошли к Ярославу, и Русь вновь объединилась.

Ярослав, прозванный Мудрым, действительно был незаурядным человеком, быть может, самым крупным среди правителей Киевской Руси. Никаких новых владений он не приобрел, да и единство поддерживал на прежний манер – рассадил сыновей правителями в большие города: в Новгород – старшего, Владимира, а после его ранней смерти – Изяслава, в Чернигов – Святослава, в Переяславль – Всеволода, остальных – в Ростов, в Смоленск, во Владимир-Волынский. Но для единства Руси он сделал нечто более существенное. Не только разгромил печенегов, после Ярослава фактически отказавшихся от набегов на Русь. Ярослав больше других сделал для внутреннего укрепления Руси, то есть для развития ее хозяйства и культуры.

По его инициативе стали много строить, он основал новые города, среди которых и Ярославль на Волге по его русскому имени, и Юрьев (ныне Тарту) по его христианскому имени Георгий (Юрий). В Киеве он соорудил огромный храм святой Софии и начал строить храм святой Софии в Новгороде, и много еще городов и церквей было при нем построено. Сам он был человек образованный и способствовал образованию, создавались библиотеки, на славянский язык переводились труды отцов церкви и другие. Он способствовал избранию первого русского митрополита – прежде во главе церкви на Руси стояли греки. От природы физически слабый, да еще хромой, Ярослав был смелым воином, не раз защищавшим страну, но прославился не завоеваниями, а умножением богатств отечества.

При нем Русь заняла видное место среди европейских стран и пользовалась уважением, союза с ней искали. Сам Ярослав был женат на шведской королевне Ингигерде (Ирине), три его сына – на немецких княжнах, а особенно любимый им Всеволод – на Марии, родственнице византийского императора Константина Мономаха, от которого их сын Владимир и получил прозвище

Мономах. Старшая дочь Ярослава Анна стала женой французского короля Генриха I и после его смерти как регентша при малолетнем сыне Филиппе I правила Францией. Анастасия вышла за венгерского короля Андрея, а Елизавета, младшая, за норвежского Гаральда Смелого.

Гаральд был не только воином, но и скальдом, поэтом, и будто бы сочинил песнь, в конце каждой строфы которой говорилось: «Но русская красавица меня презирает». Говорят, правда, что до нас дошла не песнь самого Гаральда, а сочиненная от его имени уже в XIII веке. Так или иначе, в XVIII веке ее перелагали многие поэты, не только русские, но еще раньше французские. У нас широко известно переложение Константина Батюшкова:

Я в мирных родился полночи снегах,
Но рано отбросил доспехи ловитвы –
Лук грозный и лыжи – и в шумные битвы
Вас, други, с собою умчал на судах.
Не тщетно за славой летали далеко
От милой отчизны по диким морям;
Не тщетно мы бились мечами жестоко:
И море и суша покорствуют нам!
А дева русская Гаральда презирает.

По этому поводу наш историк Карамзин заметил: «Елизавета не презирала его: он следовал единственно обыкновению тогдашних нежных рыцарей, которые всегда жаловались на мнимую жестокость своих любовниц...» Во всяком случае, Гаральд и Елизавета благополучно поженились и произвели на свет двух дочерей. Все эти широкие брачные связи говорят о месте Киевской Руси при Ярославе – она была в Европе равной среди равных.

Но, может быть, самым значительным делом Ярослава Мудрого было создание первого на Руси писаного закона – «Русской правды». Как и в других первых законах феодальных государств, начиная с «Салической правды» при Хлодвиге, в «Русской правде» много положений обычного права, тогда действовавшего. В то же время в ней ощутимо влияние христианской церкви, шедшее из Византии. Достаточно сказать, что там даже не упоминается такой распространенный на Руси в древности способ выяснения истины, как судебный поединок («поле»), поскольку духовенство его отвергало. С другой стороны, частые в Византии телесные наказания заменены штрафами.

В «Русской правде» фактически уже есть привычное нам деление судебных дел на гражданские и уголовные, хоть еще без этих терминов. Гражданские разбирают правонарушения одного человека по отношению к другому и ответственность перед потерпевшим, а в уголовных, таких, как убийство, поджог, разбой, возникает еще и ответственность перед князем, то есть перед государством. Самый текст закона изменялся уже при сыновьях Ярослава, и если поначалу там признавалось существовавшее в родовом обществе право на месть за убитого, лишь круг имевших право мстить ограничивался ближайшими родственниками – отцом, братом, сыном, то позднее право мстить было заменено обязанностью убийцы платить князю штраф («виру»), а родственникам возмещение («головничество»).

Закон занят прежде всего материальными отношениями. Имущество ценится в «Правде» дороже человека, его здоровья и личной безопасности. Купца, из-за разорения не вернувшего кредит, могли продать в рабство. Наемный рабочий, не вернувший взятую у хозяина ссуду, терял личную свободу. Все это показывает, что «Правда» сложилась в обществе, где имущественные отношения были весьма развиты. И сама надобность затвердить нормы этих отношений писаным законом, само написание и совершенствование этого закона, продолжавшееся и через сто лет после смерти Ярослава, служат свидетельством не только активного развития страны, но и понимания Ярославом надобности такого развития и содействия ему. Многие видят вершину Киевской Руси в правлении Владимира Святого – действительно, при нем Русь была крещена и окрепла как единое государство, но, думается, при Ярославе Мудром она не только не упала, а еще больше поднялась.

Дробление

После Ярослава Мудрого многие историки настойчиво ищут упадок Киевской Руси. Внешние обстоятельства и впрямь стали менее благоприятны. На смену разгромленным Ярославом печенегам к восточным границам Руси после смерти князя подошли половцы, тоже тюркское и еще более могучее племя. На западе случились перемены вроде бы мирные, но Руси невыгодные.

В 1082 году Венеция, к тому времени уже независимая республика, получила право беспошлинной торговли на всей территории Византийской империи. А в самом конце века состоялся первый крестовый поход и рыцари-крестоносцы основали в Палестине Иерусалимское королевство, естественно, поддерживавшее тесные связи с Западной Европой, из которой эти рыцари пришли. Поток товаров, еще при Ярославе подымавшийся по Днепру и через Киев, да и через Новгород, продвигавшийся в западные страны, пошел более прямым и коротким путем.

Но в рассказах про упадок об этом как раз вспоминают реже, а напирают на то, что после Ярослава Русь уже не была единой, что его сыновья, и внуки, и правнуки разорвали, дескать, единую Русь на уделы, словно и Владимир, и сам Ярослав не сталкивались с такой же междоусобицей, которую одолели не только в силу собственных достоинств, но и потому, что русские земли и города тогда не могли еще существовать обособленно. А успешное хозяйственное развитие, какого никто вроде не отрицает, теперь как раз и дало им эту возможность. Уже не так сбор и раздел дани, отбираемой у смердов, как собственное хозяйство князя и боярина кормило правящий класс. Его земли большей частью обрабатывались трудом холопов, число их росло, но основная масса крестьян, смерды, хоть их зависимость от князей и бояр и возрастала, личную свободу сохраняли.

Привычно бранить князей за «сепаратизм», за то, что они в заботах о собственных владениях якобы забывали о единстве народа, хоть единство это продолжало существовать поверх княжеских схваток – говорили на одном языке и верили в одного и того же Христа. Между тем только тщательное ведение хозяйства на каждом клочке земли и сделало Русь, как и другие европейские страны, цивилизованной, обратило ее на путь интенсивного развития, а не просто захвата созданного другими, который прельщал еще Святослава, стремившегося на Дунай. Вот мы поныне и испытываем волнение не только в Киеве или Новгороде, но и в провинциальном Владимире-Волынском пред Успенским собором и в Переславле-Залесском пред Спасо-Преображенским. Мы сознаем, что народ не просто сотворил тогда, в XI–XII веках, эти храмы (светские постройки, увы, почти не уцелели), но сам себя тогда сотворил и эту землю сделал культурной, наложил на нее свою печать.

А князья-то единства хотели, но точно так же, как их дед Владимир или отец Ярослав, — единства под своей рукой. Уже Ярославу Мудрому пришлось ради него проявлять не только мудрость, но и терпение. А сыновьям его и терпение не помогало. До поры Изяслав, получивший Киев и Новгород, Святослав — Чернигов и Всеволод — Переяславль, держались вместе, как завещал отец, но потом перессорились, и одному одолеть остальных было уже не под силу, а при их детях усобицы и вовсе стали кровавыми. Детям Святослава не отдавали Чернигов, которым владел отец, и сыну его Олегу пришлось добиваться своего силой. На княжеском съезде в Любече в 1097 году другие князья признали его право на отчую землю, но когда до него дошла очередь занять киевский стол, киевляне его не захотели. Они хотели в князья сына Всеволода, Владимира Мономаха. Тогда впервые по воле горожан порядок престолонаследия был нарушен.

Не то чтобы, впрочем, они изначально требовали на княжение именно Мономаха. По мере укрепления княжеских и боярских хозяйств и возраставшей зависимости рядовых людей, росло напряжение между разными слоями общества. Уже при сыне Ярослава Изяславе I после очередной победы половцев в городе началось волнение. Прямо из тюрьмы, куда его заперли Ярославичи, люди посадили киевским князем Всеслава, князя Полоцкого. Но хоть Изяслав с помощью братьев вернул себе Киев, а Всеслав бежал к себе в Полоцк, пламя мятежа продолжало бушевать, оно перекинулось и в другие земли, и даже в Новгород. Такие освободительные мятежи нередко вспыхивали под знаменем старой веры, их возглавляли волхвы, и положение чуть успокоилось, лишь когда сыновья Ярослава внесли в «Русскую правду» поправки и дополнения, больше защищавшие рядовых людей.

Но и при внуках Ярослава недовольство возобновлялось. В 1113 году в Киеве снова началось восстание. К растущей зависимости смердов и ремесленников от бояр и ростовщиков прибавлялось недовольство смердов да и ремесленников тем, что их вынуждали участвовать в межкняжеских войнах. Тут как раз умер Святополк Изяславич, и на власть в Киеве по старшинству могли претендовать Святославичи, Олег и Давыд. Олег был болен, а Давыд и вовсе отошел уже от политики, однако киевский тысяцкий Путята уговорил горожан звать Святославичей. Им в противовес и был назван Мономах, известный успешной борьбой с половцами.

Ему было тогда шестьдесят, и он долго упирался – слишком уж хорошо было его положение в Переяславле, он был силен и богат. Но все же князь согласился и вскоре дал новую «Русскую правду», в которой оговорил условия, предохраняющие от возобновления обстоятельств, вызвавших восстание. Отныне не дозволялось взимать более 20% годовых, а уплативший в качестве процентов полуторную сумму долга от него освобождался. Участь смердов и даже холопов тоже была облегчена. Реформы Мономаха сознательно ориентировались не просто на сохранение внутреннего мира, но на удержание его в рамках сложившихся феодальных зависимостей, без посягательств на их увеличение и ожесточение. Это укрепило и государство, и собственную власть Мономаха. Другие князья его побаивались, а половцев он и раньше смирял, и при нем они не решались чересчур тревожить Русь.

Но объединить Русь не мог уже и он. А после его смерти Киев перешел не к его братьям, но к его сыновьям. Они тоже сперва держались дружно, но не избежали разлада, и против них тут же пошли сыновья Олега Святославича. Борьба между Мономаховичами и Ольговичами длилась долго. Герой «Слова о полку Игореве» приходился Олегу Святославичу уже внуком. В итоге за старшими Мономаховичами закрепились Смоленск, Переяславль и Волынь, за младшими, со старшими не ладившими, – Ростово-Суздальские земли, а за Ольговичами – Чернигов, Северская и Рязанская земли. А в Полоцке так и сидели потомки Владимира Святого и Рогнеды. Вроде бы всюду правил один род, но споры, кому быть великим князем Киевским, продолжались, хоть власть его все более становилась номинальной.

Уделы

После сыновей Мономаха, Мстислава Великого и Ярополка, свалив его третьего сына Вячеслава, в Киеве правили дети Олега, Всеволод и Игорь, потом сын Мстислава Изяслав II, которому пришлось на время уступить власть своему дяде, сыну Мономаха Юрию Долгорукому, князю Ростово-Суздальскому, основавшему Москву. Ему тоже пришлось уступить Киев брату Вячеславу, потом стол опять перешел к детям Мстислава Великого, потом

опять к Долгорукому. А когда князем Киевским стал его сын Андрей Боголюбский, тот уже и не пожелал жить в Киеве, но продолжал сидеть в своем Владимиро-Суздальском княжестве. Собственные удельные княжества стали теперь важнее киевского стола. Его попеременно занимали разные князья, но претензии править другими у них поубавились.

Для историка Павлова-Сильванского отказ Великого князя Андрея править из Киева – рубеж, отделяющий ранний этап становления Руси от феодальной раздробленности, аналогичной пошедшей еще раньше на Западе. Дело, конечно, не в точной дате, история преобразается не вдруг, мы различаем ее перемены уже в пору борьбы Ольговичей с Мономаховичами, а завершаются они после князя Андрея. Но российская история, не зависевшая от истории других европейских стран, была в ту пору ей подобна.

В XII веке Русь состояла из пятнадцати земель, в начале XIII их было чуть не пятьдесят, из которых важнейшие – Галицко-Волынское и Владимиро-Суздальское княжества и город Новгород с подвластными ему территориями. Жизнь удельных княжеств была несхожей, складывались они по-разному. Старейшая из русских земель, Новгородская, простерла свое влияние до Урала, охватив северную часть современной России. Хоть Новгород и уступил Киеву право слыть колыбелью древней Руси, особенное место за ним сохранилось, князем Новгородским обычно становился старший сын великого князя Киевского, позднее и сам занимавший киевский стол. Когда же Киев уже не в силах был удержать все русские княжества под своей рукой, Новгород перестал быть собственно княжеством и лишь нанимал князя для руководства войском.

Новгород был, прежде всего, торговым и ремесленным городом, а не местом жительства князя. Кажется странным, что в городах, поднявшихся на неплодородных новгородских землях, оказалась немалая часть населения Руси, и не было у нас тогда городов многолюднее Новгорода и Пскова. Но к тому привели не только торговые пути, шедшие отсюда в разные стороны, но и то, что новгородские мастера, и гончары, и кузнецы, и оружейники, и ювелиры, обильно пополняли ассортимент новгородских купцов. Жили в Новгороде и бояре, земли которых тоже в изобилии производили товары на продажу. Город богател, поставляя русские товары за рубеж, а иноземные на Русь, он был тесно связан

с торговым союзом немецких городов, Ганзой. Свои особенности и свободы новгородцы дружно защищали от пытавшихся ими повелевать князей – и Киевских, и Владимиро-Суздальских. А внутренние противоречия в Новгороде не таились под покровом княжеского всевластия и выплескивались открыто, нередко прямыми восстаниями.



*Псковский кремль.
XIII–XIV вв.*

Оттого и удержалось в Новгороде вече, народное собрание, благодаря которому внутренние противоречия разрешались не только вооруженной борьбой, но по возможности мирно. Новгородцы сознавали, что как ни остры порой их собственные распри, все они заинтересованы в том, чтобы сохранить свои особые порядки, а не стать, как другие русские города, вотчиной могучего князя. Схожие порядки были и в других городах Новгородской земли – Пскове, Ладоге, Изборске. После 1136 года, когда по приговору веча был сперва арестован, а потом изгнан внук Мономаха, князь Всеволод Мстиславич, пытавшийся держаться в Новгороде, как прочие князья в прочих княжествах, город стал аристократической республикой, в которой хоть и главенствовали бояре да крупные купцы, но и голос рядовых людей был слышен и сказывался на их жизни.

Новгородцы стали сами выбирать себе архиепископа, с середины XII века лишь формально утверждавшегося киевским митрополитом и влиявшего не только на церковную, но во многом и на государственную жизнь. Сами они выбирали и посадников, и тысяцких, прежде назначавшихся князем, которому теперь приходилось опираться на новгородских мужей, а не просто на свою дружину. Вече одобряло или не одобряло правление, но практически оно осуществлялось правительственным советом, именовавшимся «господа». Эта «господа» и правила. А с князем заключался договор, по которому он не только командовал войском, а был и посредником во внутренних спорах новгородского общества. Но ему самому и его дружинникам вход в это общество был заказан, им не дозволялось ни покупать в городе землю, ни торговать напрямую с

иноземцами. Старейшая русская земля предлагала Руси свой вариант жизни, так или иначе продержавшийся до 1478 года, когда Москва, всего за два года до окончания монгольского владычества, покорила Новгород Великий, и тогда его экономическое значение стало падать, поскольку командовала Москва.

Иной вариант русской жизни демонстрировало объединенное Галицко-Волынское княжество на берегах Буга и Днестра. Оба княжества издавна были под властью Киева, Волынским после смерти Владимира Мономаха владел его внук, Изяслав Мстиславич. Власть над Галицким по решению съезда князей в Любече (1097 год) оказалась у другой ветви потомков Ярослава Мудрого, его праправнук князь Владимирко, четвероюродный брат изгнанного из Новгорода Всеволода, укрепил свою столицу Галич и все княжество, но особенно усилилось оно при его сыне Ярославле, прозванном Осмомыслом и правившем долго, с 1152 до 1187-го. Но вскоре после него род Галицких князей пресекся, и правивший Волынью внук Изяслава Мстиславича Роман, звавшийся потом даже Романом Великим, в 1199 году объединил оба княжества да еще овладел Киевом.

За галицко-волынскими землями жили литовцы, поляки, венгры, и как дружба, так и вражда с ними бывали судьбоносны. Были и другие причины тому, что не только князь там был сильным, но и боярство крепким и влиятельным. Аристократия там не взяла верх над князьями, как в Новгороде, где ее интересы больше совпадали с интересами остального населения, нежели княжеские. Но и князья, даже Роман Великий, известный гонениями на боярство, не могли аристократию истребить. Конечно, и там, как и в Новгороде, не стоит чересчур категорично говорить о возможных плодах такой жизни, поскольку и она, еще раньше, чем новгородская, была прервана атакой извне, но еще не московской, а монгольской.

Новгородский и Галицко-Волынский варианты развития сложились в западной Руси, и при большом желании можно объяснить их западными влияниями. Но вариант, предложенный северо-восточными землями вокруг Ростова, Суздаля и позднее построенного Владимира, так объяснить невозможно. Сколько-нибудь ощутимого западного влияния там долго не наблюдалось, и термины, обозначающие социальные отношения, там отечественные. Между тем независимо протекавший социальный про-

цесс и сложившиеся общественные отношения разительно схожи с западноевропейскими феодальными.

Некогда там обитали финские племена меря и мурома. Русские – преимущественно, видимо, новгородцы – колонизировали эти земли, смешиваясь с местными жителями. Любечский съезд выделил суздальскую область в особое княжество, доставшееся младшему сыну Мономаха Юрию Долгорукому. При нем и при его детях Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо были построены города Москва, Юрьев-Польской, Тверь, Кострома и другие. Люди шли сюда и с запада, и с юга, часто спасаясь от разорительных половецких набегов. Скоро земли обрусели, но и русские поселенцы не остались без влияния местных жителей. Стал складываться новый народ, в отличие от прежнего русского именованный потом великорусским.

Земля в этих местах была плодородней, чем новгородская, и позволяла жить своим хлебом. Одаряли богатствами и обильные окрестные леса и реки, преимущественно притоки Волги и Оки, бывшие к тому же путями сообщения и помогавшие освоить местные земли. Жили здесь не так скученно, как в старых землях. Но отношения с князьями изначально оказались иными. Если в Новгороде и Киеве княжеская власть формировалась параллельно формированию самого русского народа, выдвигавшего и отвергавшего князей, то в колонизируемых землях князь изначально был хозяином положения и, прежде всего, хозяином земли, которую на своих условиях предоставлял поселенцам. При заведомой зависимости от князя вечевые порядки были невозможны. Старые города Ростов и Суздаль по слабости тягаться с князем не могли, а вскоре его столицей и вообще стал Владимир, вечевых порядков не знавший.

Уже Андрей Боголюбский, фактически первый здешний князь, интересы которого, в отличие от отца, все же потянувшегося в Киев, тут и сосредоточились, чувствовал себя в Суздальской земле полным хозяином, братьев выгнал, строптивых бояр тоже, и правил по своему усмотрению. Свою столицу Владимир он всячески украшал, при нем построено немало храмов и среди них знаменитый Успенский собор. Не желая перебираться в Киев, он, однако, от влияния на остальные русские земли не отказывался. Он не только звался Великим князем, но и требовал от прочих князей повиновения. Владетель колонии, он добивался подчи-

нения исконных русских земель. Такого на Руси еще не бывало. Он жаждал неограниченного единовластия, уже тогда находившего сторонников.

Непомерные претензии верховной власти еще были людям в тягость. В 1174 году собственные дворовые убили князя Андрея и разграбили дворец в селе Боголюбово, где он обитал. Сыновей у него не было, и началась распря, в ходе которой город Владимир сохранил свое столичное первенство, и править в нем стал младший брат Андрея, Всеволод, по многочисленности семейства прозванный Большое Гнездо. Его власть признавали и в Новгороде, и в Киеве, и даже далекий Галич искал его дружбы. Но ход российской истории уже повернулся, она вершилась теперь не в стольных городах, а в княжьих уделах и боярских вотчинах.

Когда-то над территорией, заселенной соседскими общинами, возвышались князья. Они делились этой территорией с братьями, делили ее между сыновьями, давали боярам, принимавшим на себя обязательство служить за это князю. Постепенно верховная власть фактически дробилась, получившие землю рассматривали ее как собственную, хоть и понимали, что владение ею обусловлено обязательствами с их стороны. Такие отношения понемногу связали не просто князя и боярина, но целую лестницу таких условных владельцев. Великий князь давал землю рядовому князю, тот – более мелкому княжичу, тот – служившему ему боярину, и, конечно, другие высокие князья тоже давали землю своим служилым боярам, не дарили ее, а давали условно – за обязательство воевать, если потребуется, за князя или исправлять при нем ту или иную должность. То есть власть дробилась вместе с землей, и служилые условные землевладельцы в своем иерархическом строю постепенно составляли у нас, точь-в-точь как на Западе, правящий слой. У нас такая система отношений единого названия не обрела, но ее социальная природа под разными названиями была по существу одинакова в разных русских землях и феодальной Европе.

Князья и бояре правили и воевали, а крестьяне работали на земле. Но князья и бояре, все упорней считавшие некогда общинную землю своей, стали теперь рассматривать личные владения свободных общинников, смердов, тоже как условные. Если сперва крестьяне соглашались платить дань князю, защищавшему их землю от других князей и кочевников, то теперь князья утверждали, что

крестьяне, как сами князья и бояре, за владение землей должны служить своему князю или боярину, воевать вместе с ним, выплачивать ему оброк или даже, наряду с холопами, обрабатывать его личную землю. Сложилась поземельная феодальная зависимость. Крестьянин еще мог от этой зависимости освободиться, но только отказавшись от земли, перейдя в зависимость от другого барина или вовсе бросив землю, став торговцем или ремесленником, войдя в число посадских людей, заселявших окраины городов и составлявших другое сословие феодального общества.

Княжата и бояре – на Руси, в отличие от Запада, меж ними сохранялась известная граница и даже самые старые боярские роды в княжеские обычно не выходили – не только наращивали власть над крестьянством, но и увеличивали свою независимость от высших правителей. Землю, полученную некогда дедами за службу, и самые мелкие княжата все больше считали своей, своим уделом, а службу все меньше исполняли. Земля переходила к ним от отцов и дедов, и они привыкали считать ее дедовской, отцовской, почему и называли «вотчиной» и правили уделами, как вотчинами, по своему усмотрению.

Удел и вотчина становились как бы полугосударствами, управление которыми осуществляли их владельцы, пусть первоначально условные, получившие эти земли во владение за определенную службу. Уже утверждалось, что вышестоящий князь, его посланцы или войско не могут ступить на земли нижестоящих удельных князей и бояр без их согласия, и сами эти князья и бояре в своих землях вершили суд над тамошними жителями. Удельная Владимиро-Суздальская Русь, вроде бы отдаленная и обособленная, западных примеров не знавшая, показала самый наглядный на Руси пример феодальной раздробленности.

Монголы

А вскоре, в 1223 году, на берегу реки Калки могучее монгольское войско наголову разгромило отряды русских князей, трех Мстиславов – Киевского, Черниговского и Галицкого, решивших помочь своим давним врагам половцам, на которых напали монголы. Князьям казалось, что иначе половцы объединятся с монголами и враги Руси станут еще сильнее. Монголы

посылали русским гонцов, уверяя, что воюют только с половцами, но русские князья им не верили, и настал черный день.

Некоторые историки считают, что, не начни русские князья помогать половцам, монголы на Русь бы не пошли. Но сами же говорят: не будь Русь раздроблена, ее объединенные силы и с монголами бы совладали, мало ли кочевников приходило с востока – и печенеги, и сами половцы, а русские их побеждали. Легко заметить, что эти уверения противоречат одно другому. Трудно поверить, что, разгромив половцев, могучая орда не двинулась бы на Русь, стало быть, русские Мстиславы проявили дальновидность и, перед лицом грозной опасности, волю к единению даже с вчерашним врагом, но и это, к сожалению, помочь не смогло. Навивно сводить поражение при Калке к промахам и просчетам. Просто новая опасность была пострашней прежних.

Уже во второй половине XII века монгольские племена стали объединяться, сперва для защиты от соседей. Но как это было и у германских племен в V веке, и у славянских в VIII, и у других, такие объединения – не всегда, как мы знаем, добровольные – после первых побед жаждут новых побед и покорения новых народов и выходят далеко за пределы прежнего обитания. Попытки объединения предпринимались монголами не раз, но грозным для дальних стран оно стало после избрания ханом Тэмуджина, получившего титул Чингис (1182), что означает «Великий». Чингис сперва тоже терпел поражения и даже на десяток с лишним лет угодил в маньчжурскую тюрьму, но в конце века он уже возглавлял могучую орду, в которую включал побежденные племена.

Сразу надо оговорить, что среди монгольских племен было именовавшееся «татары», вместе с другими участвовавшее в походах Чингиса. Но позднее это имя перешло на другие племена, порой, как волжские булгары, даже враждебные монголам. В 1206 году Чингис был уже ханом всей Монголии и вскоре вышел за ее пределы. Из покоренной Персии монгольские войска во главе с Джебе и Субэдеем двинулись через Кавказ на север и подошли к берегам Азовского моря, неподалеку от которого и совершилась печальная для нас битва при Калке. А уходили монголы на северо-восток, вдоль Волги, потерпев по пути поражение от волжских булгар.

Но ушли они ненадолго. Двенадцать лет спустя начался их великий западный поход и, теперь уже с ходу победив волжских

булгар и переправившись через Волгу, монгольское войско разделилось: одни, во главе с Мункэ-ханом, преследовали половцев, а другие, во главе с Бату-ханом, известным у нас как Батый, двинулись прямо на Русь. Тем временем у монголов многое переменялось. Побеждая не только у Азовского моря или в Средней Азии, но и в Китае, монгольская держава стала самой могучей на азиатском материке. Однако сам Чингис в 1227 году умер в северном Китае, а незадолго перед тем был найден мертвым его старший сын Джучи, как утверждают некоторые, умерщвленный по воле отца, потерявшего к нему доверие. Власть перешла к сыновьям и внукам Чингиса, наделенным землями или должностями, и второй сын Джучи Бату был провозглашен владетелем Золотой Орды на Волге.

Покамест же, форсировав Волгу, он зимой 1237 года двинулся на Рязань, потребовав у князя и города пищу и лошадей. Рязанцы, до того с монголами не сталкивавшиеся и в битве при Калке не участвовавшие, не хотели покориться, не потерпев поражения, и ответили: «Убьете нас – все будет ваше». Так оно, к несчастью, и вышло. Не устояв против монгольской конницы, рязанцы заперлись в городе, не готовом к осаде, и монголы его захватили, вырезав княжескую семью вместе со множеством горожан, и двинулись дальше. Боярин Евпатий Коловрат с дружиной догнал оккупантов и вынудил принять бой. Хоть сам Евпатий и его дружина в бою погибли, но и захватчики понесли небольшие потери.

Монголы пошли дальше на Владимир, где к тому времени после междоусобиц и смерти старшего брата Константина по второму разу правил второй сын Всеволода Большое Гнездо Юрий, которого отец и хотел видеть наследником. Монголы взяли город, сильно при этом пострадавший, а князя настигли на берегу маленькой речушки Сити, где и уничтожили с оставшимся у него отрядом. Потом взяли Торжок и вырезали его население. Потом, повернув на юг, вступили во владения князя Черниговского. Хоть Мстислава, сражавшегося при Калке, уже не было в живых, все же семь недель упорно сопротивлявшийся город Козельск, где он некогда правил, вызвал у завоевателей особую ярость. Впрочем, милосердия они не проявляли и к не задевавшим их прежде. Даже безоговорочная капитуляция, на которую согласился Углич и некоторые другие города, позволяла уцелеть

лишь при выплате огромной дани. После некоторой передышки Батый в 1239 году устремился дальше на юг, захватил Чернигов, затем Киев, а потом и галицкие, и волынские земли.

Нашествие монголов означало не просто покорение, но беспощадное разорение. Из семидесяти четырех русских городов сорок девять Батый порушил, да так, что четырнадцать уже никогда не восстали из пепла, а пятнадцать стали простыми селами. При таком разорении Русь была еще обложена огромной данью, каковую надлежало регулярно платить. И сверх всего она напрямую политически зависела от Орды, вплоть до того, что русских князей назначать и утверждать стали ордынские ханы. Если считать от битвы при Сити 4 марта 1238 года до стояния на Угре, после которого хан Ахмат, не рискнув форсировать реку, 11 ноября 1480 года отступил на юг, и монгольской власти над Русью настал конец, наше отечество было ордынской колонией двести сорок два с половиной года.

Трудно подсчитать огромные материальные потери, которые оно понесло за два с лишним века, еще трудней измерить ущерб, нанесенный его развитию, сперва столь яркому и разнообразному. Было бы наивно прекраснодушно гадать, как прекрасна и богата стала бы Русь, не случись такого, или будь океан где-то под Уралом, а не далеко за Монголией. Но совсем не наивны уверяющие нынче, что все это было к лучшему, утверждающие даже, что Русь в силу феодальной раздробленности не могла не погибнуть, — хотя не то что англичане или французы, но даже немцы и итальянцы, донесшие эту раздробленность до второй половины XIX века, все-таки не погибли — и вместо той обреченной Руси, того прежнего русского народа, возник, дескать, совсем новый народ и новая держава. Такое отречение от прекрасного отечественного прошлого, ничуть не худшего, чем у других, ныне именуется патриотизмом.

Популярный Лев Гумилев уверял, что нечего было русским сопротивляться Орде, а надо было добровольно с ней соединиться, тем более что как раз отречение от европейского прошлого и растворение в азиатских нравах завоевателей и сделало, дескать, Русь великой евразийской державой Россией. Он клеймил русских князей, павших в неравных боях с захватчиками, за недостаток полководческих талантов, хотя, наверняка, прекрасно знал, как, не говоря даже о древности, сокрушая все на своем

пути, прокатывались в Средние века по чужим землям и арабы, и турки. Неужто ни у одного оседлого народа не рождались полководцы, способные совладать с кочевниками? Или дело тут все же не в личных дарованиях, а в различии военных культур, до широкого применения артиллерии и танков дававшем преимуществу коннице, сгодившейся во второй мировой уже лишь на рейды по тылам врага?

Монгольское нашествие было великой трагедией Руси. Но оно не вовсе ее сломило, и плодотворные зерна русской древности прорастали в новое время, преодолевая тяжкие последствия колониального гнета. Что бы ни происходило в ту или иную пору нашей истории, она едина, а не начинается заново с середины. Нельзя изъять из нее Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха, чтобы, как с чистого листа, начинать заново с Чингиса и Батыея.



*Глава
вторая*

ОТ КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ДО ХАНА АХМАТА

Сопrotивление

*Историк
Николай Павлович
ПАВЛОВ-СИЛЬВАНСКИЙ
(1869—1908)*

Некоторые историки утверждают, что монголы просто совершили кавалерийский набег на Русь, и нечего считать его завоеванием. Они и в самом деле селиться среди русских, как русские селились среди финнов, не стали. Батый ушел и основал свою столицу – Сарай в нижнем течении Волги. Да и что было делать кочевникам в лесах? Они, естественно, ушли в привычные им степи. Но только, уходя, оставили на Руси своих наместников, баскаков, с вооруженными отрядами. Все население было сочтено и переписано и на каждого была наложена дань, именовавшаяся «выход».

А в Орде сидели специальные люди, даруги, ведавшие сбором этой дани и вообще руководившие русскими князьями, которых то и дело вызывали в Орду. А подчас, пока Золотая Орда сама подчинялась Великим ханам Монголии, приходилось русским князьям и туда ездить к Великим ханам на поклон. Сегодня легко уверять, что ничего этого не было. Но тогда терпеть монгольскую власть было не только унижительно, но и трудно. Люди бунтовали. И относительное успокоение наступило, лишь когда князьям велели самим собирать дань и сдавать ее Орде. Это избавляло от повседневных столкновений с оккупантами, но не от колониальной зависимости.

Орда считала Русь своим улусом, своей провинцией и не видела нужды менять местные порядки, коль скоро и при них дань поступала исправно. Всегда проявлявшая в покоренных землях терпимость к жречеству, Орда была терпима и к православной церкви. Духовенство освобождалось от дани и по-

лучало от Орды особые ярлыки, гарантирующие его права. Особые ярлыки, разрешающие им править, получали и князья, и Великие князья. Феодалная раздробленность, отчасти послужившая победе монголов, теперь была Орде неудобна. Проще взыскивать с одного влиятельного князя, чем с десятков мелких, и Орда не хотела, чтобы власть Великого князя стала чисто номинальной, до чего доходило в западных державах.

Орда хотела полагаться на Великого князя, которому давала ярлык на правление. Ярослав Всеволодович, уже немолодым возглавивший Владимирскую Русь после гибели при Сити брата Юрия, видимо, не совсем Орду удовлетворял. Хотя он и признал, ввиду полного поражения, ордынскую власть и даже дважды ездил на поклон к Батыю, а потом и в столицу Великого хана Каракорум, там его, судя по всему, отравили. Но еще при жизни Ярослава обозначилось разное отношение его сыновей, да и других русских князей к Орде и ее владычеству.

На Руси, изначально свободной, даже и от Византии не зависевшей, далеко не все соглашались терпеть колониальные порядки и не все князья готовы были подчиняться. Годы колониального рабства стали одновременно годами сопротивления, годами недоверия к власти. Одна из самых приметных фигур сопротивления – князь Даниил Галицкий (1201–1264), смолоду участвовавший еще в битве при Калке, а потом воевавший против Тевтонского ордена. После захвата и разорения Батыем его княжества Даниил сумел восстановить и укрепить свои владения. Его дочь была замужем за вторым сыном Ярослава Всеволодовича Андреем.

Даниил Галицкий искал союзников для борьбы с Ордой и, надеясь организовать против нее крестовый поход, принял от папы Римского королевскую корону. Он искал союза с литовцами и женил своего сына Шварна на дочери литовского князя Миндаугаса. Хотя Западная Европа против Орды войск не послала, чему, кстати будь сказано, противодействовал старший сын Ярослава Всеволодовича Александр, все же Даниилу удалось умерить в своих землях ее влияние не только потому, что они были отдаленными.

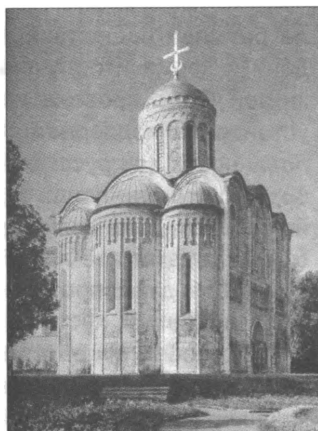
Александр Ярославич, рано проявивший свои незаурядные таланты, был, напротив, лидером промонгольской партии и особо доверенным лицом Батыя. Он признавал господство Орды как

свершившийся факт и не видел сил, способных сбросить ее господство. Нелепо приписывать ему твердый расчет на то, что через полтора года лет внук его внука на Куликовом поле возьмет над ордынцами верх, а еще через сто правнук его праправнука и вовсе покончит с колониальной зависимостью и перестанет платить Орде дань. Подобное могло быть предметом мечтаний, которыми князю и поделиться было бы небезопасно, но гарантий, что так получится, быть не могло. Александр, уже как талантливый военачальник, сознавал, что Орда пришла всерьез и надолго. Он искренне с ней сотрудничал, помогал править Русью, собирал для Орды дань и подавлял антиордынские бунты, даже приглашал для этого туда, где самому было не совладать, ордынское войско. Возможно, в душе он надеялся, хотя бы в униженном положении, сберечь русские земли от полного растворения в Ордынской империи.

Указывая на его победы над шведами на Неве в 1240 году и тевтонскими рыцарями на Чудском озере в 1242 году, его порой изображают убежденным ордынцем, провидцем великой евразийской империи, ненавидевшим Запад, а завоевателей-монголов почитавшим за братьев. Стычки с соседями в Средние века шли постоянно на всех рубежах, и можно себя уверять, что тогдашние столкновения с немцами, особенно если судить о них по фильму «Александр Невский», созданному семь веков спустя, когда и впрямь нависала гибельная немецкая атака, или литовцами, или поляками, или мадьярами были столь же роковыми для Руси, как битвы при Калке или при Сити.

Но люди, жившие тогда, полней ощущали различие между реальностью стойкого ордынского ига и отдельными временными стычками, раздутыми позднейшим воображением. Да и сам Александр отнюдь не был идейным врагом Запада, каким его часто изображают. Известно, что уже после битвы на Чудском озере он собирался женить сына Василия на дочери норвежского короля Кристине и заключил даже с Норвегией договор. Он готовил договоры и с немцами, и с литовцами, и принимал западные посольства, и вообще строил отношения с соседями так же, как они строились до него и после него. А вот его отношения с Ордой и впрямь были иными, чем у других князей, начиная с родного брата Андрея, подобно своему тестю Даниилу Галицкому, упорно думавшего о сопротивлении, то и дело вспыхивавшем стихийно.

Между тем обострился спор о наследстве Ярослава Всеволодовича, которым по старому обычаю овладели его братья. Андрей согнал дядю Святослава, но без санкции Сарая удержать Великое княжение, конечно, не мог. Андрей, и Александр, и Святослав порознь отправились в Сарай, откуда сыновьям Ярослава пришлось ехать даже и в Каракорум, где за Андреем признали Владимирский престол, а Александру отдали Киев и всю Русскую землю, что означало — южную Русь. Говорят, Александра в Каракоруме обошли ввиду его слишком тесных связей с Батыем, чрезмерного усиления которого Великое ханство опасалось. Александр вместе с братом вернулся в 1249 году во Владимир, а после в Новгород. А Андрей и Даниил, тоже заручившийся благосклонностью монголов, в начале пятидесятых укрепились и готовились стоять против Орды.



*Дмитриевский собор
во Владимире. XII век*

Летописи не слишком распространяются о происходившем, но известно, что в 1252 году Александр отправился в Орду, а оттуда послали войска во главе с Куремшой против Даниила и во главе с Неврюем против Андрея. Даниил карателей отбил, а Андрей и поддерживавший его брат, князь Тверской Ярослав, были разгромлены у Переяславля. Андрею пришлось бежать, и, не найдя убежища в Новгороде, он укрылся в Швеции. Александр стал, наконец, Великим князем Владимирским. Таковы бесспорные факты, а объясняют их по-разному. Но даже если не искать утраченных источников, вроде цитируемой историком Татищевым жалобы Александра сыну Батыя Сартаку на брата, который и на Великое княжение сел вперед старшего, и хану при этом дань не сполна доставлял, а взглянуть в само стечение обстоятельств, станет ясно, что Русь не легко и не сразу предпочла покорность сопротивлению.

Не надо только взваливать всю вину за возобладание покорности на Александра Невского, он был соучастником, но не инициатором ее жестокого насаждения. Через двадцать лет пос-

ле батыева нашествия, после взимания с русского населения дани и корма и получения бесчисленных подарков от русских князей Орда провела на Руси в 1257–1259 годах перепись и установила подворное обложение, а также воинскую и другие повинности для русских. После первых тяжких годов жестокость ордынского правления еще более усугубилась. Об этом забывать не следует, даже если верить, что Русь в первые годы еще могла скинуть ордынское иго. Так или иначе, скинуть его она долго не смогла. Но дух сопротивления не вовсе выветрился и проявлялся и тогда и потом, пусть не напрямую.

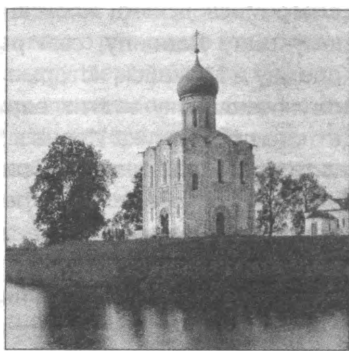
Способом сопротивления было и сплочение русских земель за пределами колониального Владимирского княжества, избежавших монгольской оккупации. Пример подал уже Новгород, хоть и зависевший отчасти от Орды, но несопоставимо меньше других земель. То и дело вспыхивавшие раздоры новгородцев с Александром тем, прежде всего, и вызывались, что его там весьма ценили как военачальника и защитника города и в то же время опасались его монгольских симпатий.

Литва, тоже противостоявшая тевтонским рыцарям, искала союза с русскими. Уже Миндаугас, распространяя свою власть на русские земли – Полоцкие, Витебские, отчасти Смоленские, с помощью русских укреплял свою власть в литовских владениях. В его княжестве литовцы были защищены от немцев, а русские от монголов. Миндаугаса убили, но в начале XIV века князь Гедиминас проводил похожую политику, русские имели в его княжестве не меньше прав, чем литовцы, даже командовали объединенными войсками. Сам Гедиминас был женат на русской, и русский язык там был в ходу наравне с литовским, он и называл себя князем литовским и русским. Под его власть мирно пришли русские земли от Полоцка до Киева, а потом и Волыньские, а при его сыновьях и Чернигово-Северские. Русские земли составляли две трети литовского княжества, и к ним естественно тяготела вся юго-западная Русь. Гедиминас и его сыновья Ольгердас и Кейстутис были собирателями русских земель, поддерживая в них русскую культуру и прежние, не сломленные монголами порядки. К середине XIV века сложилось два сильных и разных русских государства. Одним была Литва, другим стала Москва, оттеснившая Владимир, в одном правили гедиминовичи, в другом – рюриковичи, одно было независимым, другое – покорным Орде.

Собрание

Александр Невский, надеявшийся смягчить монгольскую власть над Владимирской Русью, умер сорока трех лет на обратном пути из Орды. Больше он Орде и не был нужен. Установившийся при нем порядок возобладал и держался долго, а это уже не свалить только на князя Александра и даже на монгольскую мощь и беспощадность. Мы как-то забываем, что при всей своей мощи и беспощадности монголы так и не совладали со старыми русскими землями. Убивали, разрушали и жгли, ущерб нанесли неизмеримый, ослабили до крайности, а своего образа и подобия им не придали. Старые русские земли, на которых Русь-то и возникла, ушли в другую Русь, в Литву, где удержались нравы прежней, независимой Руси. А на землях владимирских, подчинившихся монголам, уже и до того, не забудем, нравы были новые, это была новая Русь. Новгород и Киев, Галич и Чернигов, Полоцк и Псков – это русская метрополия, а Суздаль и Владимир тех времен – русская колония.

Оно, конечно, к монгольскому нашествию и меря, и мурома, и другие жившие там изначально финские племена сильно обрусели, и русских, бежавших от половцев или от неустройства, уже было там больше, чем финнов, да то-то и оно, что колониальный порядок, хоть и рядится первенством одного народа перед другими, и этому народу, за вычетом, понятно, правящего слоя, добра не приносит. Не говоря уже о новгородцах или псковичах, всегда дороживших свободой, и бедный смерд на Черниговщине или Волыни остро ощущал наступление князя или боярина на свои, обычные прежде права, потому частенько от него и бежал. Совсем другое дело на Владимирщине, куда князь пришел раньше крестьянина, и своим земельным наделом крестьянин владел не с той давней поры, когда на землю садился весь народ, а сразу по милости князя. И когда над русскими князьями вознеслись баскаки монгольских ханов,



*Церковь Покрова на Нерли.
XII век*

здешнему крестьянину это было хоть и нелегко – оттого и не стихало сопротивление, – но все же привычнее, чем в старых русских землях. Оттого-то монгольское нашествие и пробудило к жизни другую Русь, не Владимирскую.

Есть обыкновение объяснять все несчастья отечества тем, что русский народ, дескать, народ рабов. А взглядели бы получше в историю – углядели бы, что покорность, приведшая к несчастьям, одолела не всех русских, но преимущественно ту их часть, которая участвовала в колонизации финских земель, то есть проявила сходные с монголами захватнические поползновения. Зачем же приписывать их обитателям других русских земель, не имевшим к колонизации отношения? Трагедия Руси в том, что именно та ее часть, где велась колонизация, в силу исторических обстоятельств оказалась опорой будущей независимости. Окажись ее опорой не то что даже Новгород или Киев, но Полоцк или Чернигов, или другая исконно русская земля, быть может, вся наша история была бы иной.

Но она была такой, какой была. Великое княжество Владимирское по ярлыку Орды стало повелевать всей северной Русью от Нижнего Новгорода на востоке до Новгорода Великого и Пскова, на которые оно тоже простирало свою власть, на западе. Прямое антимонгольское движение поухило. Но внутри Великого княжества продолжались феодальные распри. В них отчетливее очертились позиции подвластных ему княжеств: Тверского, Рязанского, Суздальского, Нижегородского и самого заурядого Московского. Александр Невский завещал Москву младшему сыну Даниилу, сын расширил свои владения, завоевал Коломну и Можайск, которые и оставил своему сыну Юрию, верному помощнику в этих внутренних войнах. А по смерти бездетного племянника Ивана к Даниилу, вскоре умершему, то есть почти сразу опять же к Юрию, перешло и Переяславское княжество. И со временем укрепившийся князь Московский Юрий Данилович решил приобрести Владимирский престол, который после Александра Невского занимали сперва другие Ярославичи, его братья Ярослав, князь Тверской, и Василий, князь Костромской, потом сыновья Александра Дмитрий и Андрей, а после сын Ярослава Михаил Тверской, двоюродный дядя Юрия.

Еще отец Михаила Ярослав вместе с братом Андреем, вопреки их общему брату Александру Невскому, как мы помним,

сопротивлялся монголам. Теперь внук Александра норовил отнять у сына Ярослава Великое княжение и добился своего, женившись на сестре ордынского хана Узбека. Михаила убили в Орде. Сын его Дмитрий Тверской Грозные очи вернул себе отчий престол и убил Юрия, но потом и Дмитрия убили в Орде. Во Владимирской Руси, как говорили, воцарилось смятение, русских людей, их дома, села и города, грабили и жгли и ордынские и русские воины, Великим князем Владимирским стал брат Дмитрия Александр Тверской, а князем Московским – брат Юрия Даниловича Иван.

Споры князей Тверских с потомками Александра Невского, князьями Московскими, – обычная феодальная распря. Но за ней по-прежнему различимо разное отношение к Орде, и в самом Владимирском княжестве так и не ставшее единым. В 1327 году Тверь поднялась против ордынского баскака Чол-хана. Началось с того, что на торгу татарин отобрал у местного дьякона лошадь, а дошло до поджога княжеского дворца, где Чол-хан укрылся от бунтующего народа. А князь Московский Иван Данилович тут же помчался к шурина покойного брата Юрия, хану Узбеку, и вернувшись с монгольским войском живо усмирил бунтующую Тверь, за что прибавил к своим владениям Кострому. Владимирское княжение, отобранное у бежавшего в Литву Александра Тверского, перешло к Александру Суздальскому, внуку Андрея Ярославича, но после него тоже досталось Ивану Даниловичу.

Он, однако, в отличие от Андрея Боголюбского, не спешил требовать подчинения всех русских земель в силу одного лишь своего титула и не надеялся достичь этого с помощью монголов и личными талантами, подобно Александру Невскому. Он, как часто бывало и на Западе, прежде всего полагался на свои непосредственные владения, на свой удел, который любимым путем стремился расширить. Он умел и сам склонить голову перед монголами и склонять русские головы перед собой, лишая людей последнего. Немалая часть конфискуемого именем Орды оседала у Великого князя.

Главной заботой Ивана Даниловича было возвышение захудалой Москвы над другими русскими землями. Став князем Владимирским, он особо озаботился о перенесении в Москву из стольного Владимира митрополичьей кафедры, сделав Москву столицей православия. Еще в его княжение неподалеку от Моск-

вы поселились в лесу двое сыновей обедневшего ростовского боярина, решивших пустынножить, посвятив себя богу, и по соседству со своим жилищем они вскоре выстроили церковь, посвященную Троице, а после младший из них, принявший в монашестве имя Сергия, положил начало вековой опоре московского православия Троице-Сергиеву монастырю.

Иван Данилович был прозван Калита, то есть кожаный кошель. Он носил такой кошель с деньгами на поясе и, говорят, любил одарять нищих. Для одних прозвание Калита стало знаком сострадания к нищим, для других – княжеского богатства, а богатство у него и впрямь набралось небывалое, поскольку при нем изменилась на Руси обыденная жизнь, и богатство стали ценить выше воинской доблести. Земля все больше сосредоточивалась во владении князей, церкви, бояр. Передаваясь по наследству, она-то и составляла *вотчину* или *отчину*, отчую землю, которую владельцы и сами всячески старались расширить, то захватывая чужое, то покупая, то получая в дар или в наследство. По мере того как вотчина, некогда полученная за службу князю, становилась наследственной, землю, вознаграждавшую теперь за службу князю, стали именовать *поместье*, но со временем и оно мало отличалось от вотчины. Одновременно все больше становилось безземельных крестьян – именно в ту пору жители Руси стали именовать себя просто «христиане», откуда и пошло позднейшее «крестьяне», потом закрепившееся лишь за сельскими жителями. Крестьяне, жившие на землях вотчинников или помещиков, уже, как правило, выполняли *барщину*, то есть обрабатывали барскую землю, а не только свои участки. Несли они и *оброк*, поставляя назначенное. Но право перехода от одного владельца к другому еще сохранялось, хоть его уже стесняли, ограничивая определенными днями.

По образу и подобию вотчины Иван Калита преобразовывал Русь, обращая страну в вотчину. Прежде, даже дробясь и разделяясь на уделы, она, подобно западным феодальным государствам, сохраняла свойственную феодальным отношениям взаимозависимость правителя и подданных, шла ли речь о князьях или крестьянах. Когда же Великое княжество уподобилось вотчине, подданные стали казаться правителю холопами, – и это угрожало не только крестьянам, но и боярам, и даже князьям.

Прежде и на Руси, как на западе, между высшим и нижестоявшими князьями, пусть и не столь отчетливо, складывались

подобия вассальных отношений, отчасти опиравшиеся на княжеское родство. В западных странах нижестоявшие герцоги и бароны не только сохраняли определенные права, но и осязательно ограничивали возможности короля их ущемлять. За восемь лет до битвы при Калке английские бароны вынудили Иоанна Безземельного дать Великую хартию вольностей, где такие права, а среди них неприкосновенность личности, прямо признавались. На западе регламентировались и права городов, и права дружинников-рыцарей, а через два года после смерти Александра Невского в Англии собрался первый парламент, орган сословного представительства, а еще тридцать лет спустя, когда дети Александра Дмитрий и Андрей еще тягались за Владимирский престол, английский парламент уже заседал регулярно. А у нас ничем похожим и не пахло.

Более того, соблюдавшаяся прежде на Руси взаимная сдержанность сословий и князя, особенно там, где до монгольского нашествия, и частично даже после, на страже ее стояло вече, при Калите стала сходить на нет. Влияние княжеского произвола на внутреннюю жизнь Руси резко возросло. Порой это оправдывают усердием Ивана Даниловича в собирании русских земель, позднее названном «централизацией». Присоединяя к своему княжеству всё новые и новые земли и подавая пример потомкам, поздней присоединившим к Москве остальные русские, и не только русские, земли, Калита впрямь оказался родоначальником централизованного государства, предопределив, однако, не только его возникновение, но и характер.

Словом «централизация» между тем обозначают два разных исторических процесса: единение земель, населенных одним народом, чему естественно радоваться, и подчинение всех этих земель единому правлению, а тут естественно задуматься о природе этого правления. Правление Калиты было обращено не против Орды, от которой он по примеру своего деда, Александра Невского, щедро откупался, оно было обращено против других русских земель. Покорив Ростов Великий, Иван Данилович учинил в городе погром, людей убивали, а их имущество конфисковалось в пользу москвичей. Воеводы московского князя вели себя хуже ордынских карателей. Калита поступал так со всеми русскими городами, он их не объединял, а унижал, возвышая за их счет свою Москву и себя самого.

Это стало на Руси новым словом и непреходящей особенностью московской централизации, в ходе которой Москва возвышалась, а остальная Русь скудела, скудели прекрасные русские города – и Ростов, и Суздаль, и Рязань, и Новгород, и Псков, и Тверь, уже тогда становившиеся провинциальными.

Навсегда остается спорным, было ли объединение русских земель по методу Калиты единственно возможным и не шло ли бы развитие более благоприятно при победе тверских князей, которым к тому же сочувствовала старая часть Руси, входившая в Литву. Никто, понятно, гарантировать такого не может, но и уверять, что путь Ивана Калиты самый лучший, как это обычно делается, и забывать о пагубных последствиях превращения в Московском государстве подданных в холопов оснований нет.

Так или иначе, централизованная Московская Русь стала сильнее, чем была, а русские люди бесправнее. Усиление государства шло на Руси за счет прав ее жителей. В западных странах государство тоже брало себе больше прав, но расширялись и права сословий, и свободы граждан. И правители Московской Руси, в отличие от Киевской, стали опасаться западного примера.

Куликовская битва

Сыновья Калиты Семен Гордый и Иван Красный продолжали отцовское дело. А в Орде шли свои дела, свои раздоры. Орда раскололась надвое – вправо от Волги, на Северном Кавказе, в Причерноморье, в междуречье Волги и Дона, при ничтожных ханах правил беклярибек Мамай, не принадлежавший к роду Чингиса. На левом берегу правители часто сменялись, но главным соперником Мамаю оказался урожденный чингисид Тохтамыш. Время от времени небольшие группы вооруженных монголов нападали на русские земли и встречали отпор. Мамай раздражало сопротивление, и он двинул на Русь большое войско. Пострадали Нижний Новгород и Рязань, но сын Ивана Красного молодой Дмитрий разбил ордынцев на реке Воже.

Иван Красный умер тридцати трех лет, когда Дмитрию было девять. Князем Московским мальчик стал по наследству, а Владимирское княжение, отошедшее к князю Суздальскому, вернулось к нему года через три посредством сложных диплома-

тических усилий. Владимирское княжение, в отличие от других, не было еще ничьей собственностью, Владимирского князя, старшего над остальными, сажала Орда. Был он ей послушен и хорош, то есть исправно собирал дань, – держали неопределенно долго, а своевольничал – убирали. Хан поверил, что юный Дмитрий будет не хуже отца и деда. Сперва кажется, что и став старше, он не слишком отличался от деда и отца. Двадцати пяти лет он тоже воевал с Тверью, победил и вынудил Михаила Александровича Тверского признать Владимирское княжение наследством Дмитрия и вообще признать его верховенство над северо-восточными княжествами.

Но обозначились детали, выдающие сложившийся у молодого Дмитрия новый взгляд на вещи, резко отличивший его от деда. Дед был князь Московский, без раздумий воевавший с Тверью и помогавший хану, Дмитрий с Тверью тоже воевал, но в договоре с побежденным обязался не только защищать прочих князей от Тверского, если тот на них нападет, но защищать и князя Тверского, если другие нападут на него. И еще особо оговорил, что при нападении монголов на Москву или Тверь оба князя будут биться против них вместе. Дмитрий уже тогда, в 1375 году, был новым человеком, наследовавшим не только деду и прапрадеду, но и князьям Тверским, раньше осознавшим ордынскую опасность. Жизнь показала, что по отдельности русские земли, хоть и могут с помощью Орды что-то себе урвать, но навсегда оставаясь колонией.

Мамай не хотел смириться с поражением своего мурзы Бегича при Воже и стал собирать войско. Он сговорился с новым литовским князем Ягайло, обещавшим поддержку. Едва ли отец Ягайло, Ольгердас, объединявший старые русские земли и соперничавший с князьями Владимирскими в борьбе не только за сохранение традиционной Руси, но и за возрождение ее независимости, часто поддерживая в этом Тверь, ожидал, что сын повернет в другую сторону. Но Ягайло, женившись на польской королеве Ядвиге, потом обратил Литву в католичество, подрывая прежние установки гедиминовичей. А начал с обещания поддержать Орду, хотя к битве – видимо намеренно – не поспел. Дмитрий, зная о его обещаниях, не мешкал и, переправившись через Дон, встретил Мамай на Куликовом поле, у реки Непрядвы, впадающей в Дон. А в дубовой роще на берегу Дона укрыл засадный полк под командой двоюродного брата, князя Серпуховского.

И когда ордынцы стали теснить русских, засадный полк их опрокинул, и Мамай побежал с поля боя.

Победа была огромной, хоть и цена ее была огромной, и когда через два года на Москву пошел Тохтамыш, оказать ему сопротивление было некому и нечем. Дмитрий мог лишь уйти из города, Москву сожгли и разграбили, опять пришлось платить дань и терпеть ордынское владычество еще сто лет. Но Куликовская битва впервые после сражений при Калке и при Сити позволила надеяться на перемену жизни.

Подвиг князя и русского войска на Куликовом поле нередко объясняют тем, что Орда якобы ослабела и можно было решиться на борьбу. Какое уж ослабела, если держала еще сто лет! Но князь Дмитрий понял, что долгое пребывание в рабстве начнет казаться необратимым и надо повернуть зловеющий ход событий, хоть Орда еще могуча. В этом и состоял его подвиг. Дмитрий, получивший прозвище Донской, первым после великих князей Киевских встал за самостоятельность русского государства. Но в пятнадцатом веке, когда самостоятельность уже была в полной мере обретена, и стали официально величать тех, кому этим обязаны, церковь причислила к лику святых Александра Невского и даже замученного в Орде Михаила Ярославича Тверского, но про князя Дмитрия, сделавшего больше всех, так и не вспомнили. Его причислили к лику святых лишь в 1988 году, в пору перестройки.

Андрей Рублев

В дни Куликовской битвы Андрею Рублеву было лет пятнадцать. Кто говорит, на пять меньше, кто – на пять больше, но так или иначе, он участия в ней не принимал, да и оставшиеся от него иконы и росписи храмовых стен воинские подвиги не изображают. Но когда мы взвешиваем, что же все-таки тогда переменилось в нашем отечестве, жившем по-прежнему трудной и зависимой жизнью, те, кто видел расчищенные фрагменты росписи Успенского собора во Владимире или иконы Благовещенского собора московского Кремля, согласятся, что переменилось сознание, люди иначе стали смотреть на вещи. Предшественником, да во многом и учителем Рублева был великий византиец Феофан Грек, обретший на Руси, сперва в Новгороде, потом в Москве,

вторую родину. У него святые полны страсти и нетерпения. Люди Рублева рядом с ними как бы стихают. Но в них всегда теплится внутренний свет человечности.

Человеческое начало стало в ту пору ярче проступать в церковном искусстве не только на Руси. Это движение, именуемое Предвозрождением, прошло едва ли не по всей Европе, хоть стоит заметить, что нас тут успехами опередила только Италия, а уже великий голландец Ян ван Эйк, которого часто сопоставляют с Рублевым, был его моложе лет на тридцать.

Италия тоже начинала с византийских образцов, которым прямо следует Чимабуэ. Его более известный ученик Джотто поворачивается к людской конкретности. За сто лет до Рублева великий флорентиец изображает в религиозных сюжетах живых людей, о чем Рублев и знать по тем временам не мог. Но сопоставляя людей Джотто и людей Рублева, мы тотчас обнаруживаем разнонаправленность их устремлений. Люди Джотто всецело в порывах текущей жизни, люди Рублева в раздумьях о ней, в попытках смягчить и очеловечить жизнь, с тихой надеждой, что такое возможно. Изображаемый Рублевым Страшный суд не так грозен и суров, как понятлив. В Италии схожая направленность заметна у испытавшего влияние готики сиенца Симоне Мартини, тоже лет на двадцать более молодого, чем Рублев.

Почитаемая вершиной рублевского творчества «Троица» обращает к многократно повторявшейся истории прихода к еще бездетному тогда праотцу Аврааму трех ангелов с вестью, что его старуха-жена вскорости все же родит ему сына. Но у Рублева приметна не сама эта весть, не явление ангелов к земному человеку, о чем свидетельствует разве что чаша на столе, и даже не явная проекция трех ангелов на три ипостаси божественной троицы. «Троица» Рублева прорывается сквозь века, свидетельствуя разом и о неодинаковости людских душ и об их способности к взаимопониманию и согласию. С этим, конечно, художник свя-



Андрей Рублев. Троица

зывает надежды на перемену русской жизни, на отход от жестоких лет ордынского ига. Русь, по его понятиям, могла спастись только человечностью, запасы которой и ордынское иго не вовсе извело.

Было бы наивно производить одного из величайших художников, не только русских, но и общеевропейских, непосредственно от военно-политического события, даже такого значительного, как Куликовская битва. Но не менее наивно закрывать глаза на то, что такие события оборачивают людей, и более всего людей искусства, к совсем иным, чем прежде, сторонам жизни. Рублев, несомненно, от природы обладал из ряда вон выходящим гением, необыкновенным чувством цвета и композиции. Но то, что его исключительные личные достоинства понадобились, чтобы навек запечатлеть возникшие тогда великие исторические упования, неотделимо от того, что князь Дмитрий победил на поле Куликовом.

Нельзя умолчать и о том, что начатое Чимабуэ, Джотто, Мартини и Ван Эйком потом продолжалось еще ярче, а Рублев, поднявшийся, мне думается, выше их, остался на века, и уж во всяком случае до конца XVIII, если не до середины XIX века, высочайшей вершиной русского искусства. В Италии и других странах за Предвозрождением последовало Возрождение, на Руси оно не настало. Более того, мастеровитые богомазы замазали и записали росписи Рублева во Владимире, многие его работы и вовсе пропали, а поражающая нас Троица найдена лишь в начале XX века. Судьба икон и росписей Рублева схожа с судьбой славы князя Дмитрия. Его тоже нескоро догадались причислить к величайшим из великих. Но оба они были, оба составили славу отечества, и хоть история и искусство пошли не так, как они их продвигали, традиции, ими рожденные, вновь и вновь напоминая о себе, противостояли другим нашим традициям и другим нашим нравам.

Стояние на Угре

Дмитрий Донской умер тридцати девяти лет. При его сыне Василии хан Едигей снова осаждал и разорял Москву. Напрялись и отношения с Литвой, повернувшиеся было к лучшему, когда Василий женился на дочери князя Витовта, хоть и вынужденного признать зависимость от польского короля Ягайлы, но к

русским относившегося по примеру Гедиминаса и Ольгердаса. Распри за верховенство в русских землях порой ссорили тестя и зятя, но потом они мирились, сознавая общими противниками Орду и Польшу. Василий умер тридцати шести лет, оставив десятилетнего сына, тоже Василия, на попечении Витовта, умершего, однако, когда мальчику было пятнадцать.

И сразу его дядя, другой сын Дмитрия Донского, Юрий, со своими сыновьями, Василием Косым и Дмитрием Шемякой, выступил против племянника, юного Василия Васильевича. Борьба шла двадцать лет с необыкновенной жестокостью. Василий Васильевич приказал ослепить попавшего ему в руки Василия Косого, и сам был потом ослеплен Дмитрием Шемякой и за слепоту прозван Темный. В конце концов восторжествовало наследование от отца к сыну, и преимущество дяди перед племянником, сыном правившего брата, отошло навсегда.

Василию Васильевичу наследовал его старший сын Иван, при котором Русь и стала наконец опять самостоятельной. Своеобразный шаг к самостоятельности был совершен еще при Василии II. К нему подтолкнули вроде бы далекие события. В западных странах разворачивалась реформация, теснившая католическую церковь, а на юге турки теснили Византию. Два Рима, западный и восточный, разделившиеся по государственной линии почти за тысячу, а по церковной – почти за четыреста лет до того, искали взаимной помощи и на Флорентийском соборе решили объединиться, заключили унию. Согласно договору православная церковь сохраняла все свои обряды и порядки, но признавала власть папы. Московский митрополит Исидор, вместе с другими православными иерархами, поддержал унию. Но в Москве это не понравилось. По возвращении Исидора посадили в тюрьму, откуда он потом бежал, и выбрали нового митрополита Иону, провозгласив независимость не то что, как прежде, от папы, но уже и от константинопольского патриарха, Московская митрополия стала автокефальной, самостоятельной.

Незаметно совершился разрыв с христианством, принятым Русью при Владимире Святom. То была общая вера разных народов. Уже и тогда, конечно, спорили, кто исповедует эту веру ближе к Христу и апостолам, и русские держались греческого, византийского христианства, отличавшегося от римского христианства не только обрядами, но и многими основополагающими

понятиями, в частности, иными отношениями со светским государством, которому в Риме, во всяком случае теоретически, отказывались подчиняться. А разорвав даже и с Константинополем, Русь едва ли не первой перешла к национальному христианству, и в итоге ее церковь стала не просто православной, а национал-православной – русской православной.

Значимость этих, тогда казавшихся более важными для политики, чем собственно для религии, изменений проступила поздней, когда выяснилось, что тем самым из русского христианства выпало одно из ключевых положений Нового Завета, но церковь не спешила признать, что вера в Иисуса из Назарета, пожертвовавшего собой для спасения не только своих единоплеменников, из рядов которых вышли и его апостолы и первые последователи, но и всех других людей, по самой своей природе не может быть связана с этнической принадлежностью.

На Руси возродилось представление Ветхого Завета об избранном народе, которым теперь хотели считать русский. Еще никому не возбранялось принять такое православие и тем самым тоже стать русским. Напротив, русская православная церковь охотно принимала в свои ряды выходцев из любого народа, жившего в Московском государстве. Но точно так принять Ветхий Завет можно было и задолго до Христа с его Новым Заветом. Новый Завет противостоял племенной, национальной и, наперед, расовой розни людей, а национальное христианство, забыв, что Христос отрицал избранничество любого народа, бессознательно, а порой и сознательно, стало насаждать веру в собственное этническое избранничество. Все это, впрочем, тогда явилось еще только как возможность. Приходилось еще платить дань Орде.

Иван III, смолоду ставший соправителем слепого отца, а с 1462 года по 1505-й правивший самостоятельно, более всего памятен тем, что именно он положил конец выплате дани. Когда он перестал ее платить, хан Ахмат пошел на Москву и расположил войско у маленькой речки Угры, впадающей в Оку. Русская рать расположилась на другом берегу Угры. Конница Ахмата пыталась перейти реку вброд, но навстречу летели стрелы и пушечные ядра. Бой за переправу шел несколько дней, но оборону было не проломить. Ахмат оставил попытки и сам стал крепить оборону. К русским подошло подкрепление во главе с Иваном. Началось стояние на Угре.

Но войска не просто стояли. То тут, то там ордынцы искали брод, рвались к переправам. С обеих сторон над Угрой летели стрелы и ядра. Шел октябрь. Иван послал к Ахмату Ивана Федоровича Товаркова-Пушкина с предложением прекратить военные действия. Ахмат соглашался, но требовал, чтобы великий князь выразил свою покорность и объяснил, почему девятый год не платит дань, из-за которой хан и начал поход. Претензии хана отклонялись. Между тем подходили свежие русские силы, а польский король Казимир, на помощь которого Ахмат надеялся, так и не появился.

Октябрь кончился. Крепчал мороз. Реки замерзли, и можно было по льду перейти не то что Угру, но и Оку. Иван переставлял свои рати, чтобы отразить внезапный удар вражеской конницы. Но 9 ноября, по другим источникам 10-го, а по Московской летописи даже 11-го, Ахмат с огромным войском стал быстро уходить. Стояние на Угре кончилось. А с ним кончилась зависимость Руси от Орды, да и сама Орда, какой она была при Чингисе и Батые и какой ее мечтал возродить чингисид Ахмат.

Те ноябрьские дни 1480 года и ныне должны бы отмечаться наряду с самыми значительными датами отечественной истории, а великий князь Иван III – среди самых крупных ее фигур. Называют много причин той великой победы. Кто напирает на то, что к этому времени Москве покорилось уже не только все Владимирское княжество, но и Новгородская земля. Кто указывает на то, что Орда за время своего колониального господства не продвинулась в развитии, а Москва при Иване наверстывала упущенное. Кто подчеркивает стратегическую мудрость великого князя, понимавшего, что даже победоносное наступление на Орду связано с риском, а не дойдя до ее далеких центров, не обеспечишь независимость, как не обеспечила ее блестящая победа на Куликовом поле. Зато твердая оборона навсегда укажет Орде предел. В этих суждениях много правды, но, так или иначе, 12 ноября 1480 года, когда на Угре не осталось конницы Ахмата, было днем возрождения независимого русского государства. День и даже год, когда возникла Киевская Русь, нам точно не известен, а день рождения независимого Московского государства мы знаем точно, однако и поныне, через пятьсот лет, его не провозгласили национальным праздником и не отмечают ежегодно.

Странно и то, что Иван III – один из самых крупных русских государственных деятелей, фактический отец нашей независимости, не пользуется у нас особым почтением и в столице даже памятника ему нет. Его личные свойства тому не помеха. Иван III был незаурядным и рациональным человеком, особым садизмом не отличался, поведение его было вполне предсказуемо. Он, конечно, был жесток, но это не столько личная жестокость, сколько неуклонность стремления к цели, притом не своекорыстной, а именно что государственной. Не будет ошибкой сказать, что Иван III – один из тех, кто воплотил российскую мечту о достойном правителе. Его внешне-политические успехи превыше всяческих похвал. Не совсем, правда, так с внутренним устройством отечества, которое он тоже основательно преобразил.

Его отношения с Ордой были прямо противоположны тем, какие установил Иван Калита, а его отношения с Русью были прямым продолжением заведенных прапрапрадедом. Он не терпел даже и умеренной самостоятельности других князей и ни с ними, ни, тем более, с их подданными считаться не хотел. Самодержавие, первоначально означавшее самостоятельность русского государства, которой он мудро дорожил, отказываясь принимать королевскую корону из рук императора, уже при нем обретало возобладавший позднее смысл и стало означать безграничность власти государя над русским народом, его положение хозяина земли русской.

Национальное объединение мало в каких странах шло совсем бескровно, но обычно приходило к компромиссу. Длительный процесс компромисса и самую готовность к нему Иван III подменял решительным утверждением своего всевластия. Новгородская земля, колония Новгорода Великого, издавна связанного с Владимирским княжеством, первой из старых русских земель вошла в выраставшее из этого княжества Московское государство, и можно бы только радоваться, если бы Новгород не лишился при этом лица и возможности дальше обогащать российскую паутину своим особенным цветом.

Но неоднократно приходя с войсками в Новгород, Иван уничтожил или переиначил все его устройство, не щадя ни город, ни жителей. Именно он ликвидировал новгородское вече и даже вечевой колокол увез в Москву. Он уничтожил и самую должность посадника, выборного главы города. Мало того, он выселил из

Новгорода всех мало-мальски влиятельных людей, начиная с семьи Борецких во главе с вдовой посадника Марфой, архиепископа и множество бояр. Одних казнил, других переселил в московские земли, а земли в Новгороде раздавал москвичам, которых завез туда в изобилии. Притеснения вроде касались людей богатых и знатных, смерды сперва даже радовались избавлению от гнета. Но вместе с богатыми, вместе с выселенными из города немецкими купцами ушла и торговля с Западом, и это не могло не сказаться на жизни простых людей. Новгороду велено было жить по образу и подобию Москвы. И так везде, куда входило войско великого князя. Он не столько объединил Русь, сколько ее покорил.

Долгое время оставалось неясным, где ожидать возрождения Руси и какой Русь возродится. Воскреснет ли она на старых русских землях, державшихся давних традиций в независимом русско-литовском государстве, или на новых, колонизированных русскими, финских, остававшихся под Ордой? Не удивительно, что у большинства жителей старых земель не было охоты переходить под власть Орды, а из княжеств, ей подвластных, и князя, и мужики то и дело бежали в русскую Литву.

Лишь после Кревской унии 1385 года, по которой литовский князь Ягайло, женившись на польской королеве Ядвиге и став польским королем, обязался и в Литве установить католичество, возникали сомнения в преимуществах для русских людей независимого русско-литовского государства над подвластным Орде. Но при Витовте, который вскоре стал править Литвой, да и при его преемниках, жизнь рассеивала такие сомнения. Реальное единение Литвы и Польши началось лишь при Казимире IV, но его сына Александра Литва опять избрала своим отдельным князем, и только с 1501 года, когда Александр тоже был избран и на польский престол, можно считать, что на смену русско-литовскому государству пришло католическое польско-литовское, в котором православные русские ощутили себя менее уютно.

Но это произошло не только после Куликовской битвы, но и после стояния на Угре, когда Московская Русь обрела самостоятельность, а литовско-русское государство стало ее терять. Да и тогда новые порядки Московской Руси далеко не всех русских привлекали, старые русские земли не спешили добровольно присоединяться к обретшей независимость Москве. Если литовские князья, обещая ханам подмогу и против Дмитрия Донского, и

против Ивана III, так ни разу обещанного не исполнили, то Москва завоевывала и покоряла земли, входившие в состав Литвы, как завоевывала и покоряла Новгород.

Жизнь преобразилась уже от того, что великий князь Московский преодолел удельное землевладение. В Киевской Руси земля и ее богатства были как бы общим достоянием всех князей, всего правящего слоя. Оттого княжеские столы и переходили не от отца к сыну, а по старшинству. Утвердившийся во Владимирском княжестве переход от отца к сыну сперва небольших волостей, а после и княжеств, и самого Великого княжения Владимирского, а затем и Московского сломал старый порядок. Князья теперь не временно владели частью общей земли, но постоянно своим уделом, своей вотчиной, переходившими по наследству детям. Такой порядок не случайно расцвел на северо-востоке, где шла непрерывная русская колонизация. Князья считали колонизированные земли личным достоянием. Но Северо-Восточная Русь дробилась на уделы, уделы тоже дробились, князья беднели и отдалялись друг от друга.

Иван III остановил феодальное дробление. Князья сохраняли вотчины как владельцы земли, но перестали быть независимыми правителями. Великий князь не признавал их уделы и вотчины полугосударствами, и чтобы укрепить свое положение, они шли на службу к великому князю, а он снова давал своим служилым людям поместья, но не в собственность, а опять лишь условно, в пользование, для прокорма во время службы, как их пращуров некогда на время получали и будущие вотчины. Но зависимость от великого князя росла. Ликвидация удельных порядков была благом для Руси, но превращение всей Руси в удел одного собственника – великого князя, которому уже и перечить становилось рискованно, благом отнюдь не было.

Московское государство выросло из московского удела, из вотчины: московских князей, которые не объединялись с другими князьями, но включали в свою вотчину сперва отдельные чужие владения, потом чужие уделы, потом все Великое княжество Владимирское, и Новгородскую землю, и уделы и волости, входившие в Литву. Московские князья расширяли свой удел, свою вотчину, и все московское государство обратилось в их удел, их вотчину, а они не просто в его феодальных владетелей, как

император Священной Римской империи и другие западные короли и князья, а в его прямых собственников и хозяев.

Сам Иван, видимо, понимал сложность совершаемых им преобразований и стремился их четко обозначить. В 1497 году он издал Судебник, очертивший новый централизованный порядок. Там ограничивается произвол княжеских наместников и одновременно ограничивается переход крестьян от одного землевладельца к другому, определяется жесткая сословная государственная структура, какой прежде не было. Об этом свидетельствует само появление Судебника, первого после распада Киевской Руси. Подобной властью над подданными в Европе тогда не располагал никто.

Если в Англии распри между королем и баронами, при всех внутренних войнах и жертвах, все же оставляли феодальной аристократии роль противовеса королевской власти и привели даже к созданию парламента, и потом помогавшего стране искать компромиссы, то на Руси единая власть формировалась как бескомпромиссная по отношению к собственному народу, и это одна из причин сопротивления, которое оказывали Ивану даже родные братья.

Преодоление феодальной раздробленности, становление феодально-абсолютистских государств, шло тогда не только на Руси. Время показало, что на Руси владельцу вотчины, в Англии владельцу мánора, во Франции владельцу сеньории в одиночку не совладать со своими смердами или вилланами, которым для преуспевания господ надлежало трудиться все больше. Трудовая нагрузка росла и в Англии. Наши историки Виноградов, Петрушевский, Савин, продвинувшие понимание английской аграрной истории не менее, чем английские, видят в этом проявление феодальной реакции. Крестьянское сопротивление (в Англии в год нашей Куликовской битвы – восстание под руководством Уота Тайлера (1381), во Франции чуть раньше – Жакерия (1358)) вынудило там феодальную реакцию отказаться от возрастающего принуждения к труду.

Но само создание феодально-абсолютистских государств, ценой ослабления личных позиций мелких феодалов укреплявшее их объединенную силу, способную укрощать недовольных, тоже было проявлением феодальной реакции. Во Франции, создавшей Генеральные штаты, орган сословного представитель-

ства, в самом начале XIV века, их потом почти двести лет не созывали – до революции король правил единолично. В Англии, на родине сословного представительства, иные короли, в частности ровесник Ивана III Эдуард IV (1442–1483), правили, не оглядываясь на парламент. Но абсолютистское правление на Западе все же держалось на известном компромиссе с крестьянством и выраставшей из него буржуазией. Их общие интересы не меньше, чем общие интересы феодалов, способствовали созданию абсолютистских национальных государств, какое-то время успешно развивавших свое хозяйство.

В России Ивана III немало схожего с западными абсолютными монархиями. Но существенны и отличия, и главное среди них – бескомпромиссность. У Ивана III, казалось, и без компромиссов есть надежная опора – освобождение от векового ига как бы создало в умах почву для национального государства, пусть даже жестокого. Но царь Иван не вдруг стал жесток, он колебался, прежде чем пренебречь Новгородом и другими очагами развития.

Эти колебания различимы в его отношениях с церковью. Еще у Дмитрия Донского они не были безоблачны. Церковные люди по преимуществу хотели мира с Ордой, к церкви благоволившей, и Дмитрию не всегда удавалось продвигать тех, кто был на его стороне. Но при Иване на первый план выступило другое. Ликвидируя удельную систему, великий князь не мог не задумываться о земельных владениях церкви, к той поре огромных.

Поначалу он сочувствовал еретикам, обличавшим на Руси, как и в западных странах, церковные богатства. Да и внутри самой православной церкви возникло движение «нестяжателей», призывавшее церковь жить духовными, а не земными интересами. Этому учили монах Нил из скита на реке Соре и его последователи, тоже жившие преимущественно в северных областях, за Волгой, и звавшиеся «заволжскими старцами». Но большинство духовенства было против них и хотело удержать за собой огромные к тому времени монастырские владения со множеством зависимых крестьян. Это большинство возглавил настоятель Волоколамского монастыря Иосиф.

Вроде бы великий князь больше сочувствовал нестяжателям, да и земли у монастырей не прочь был отобрать, но «иосиф-

ляне» активнее других поддерживали иные, все возраставшие, притязания великокняжеской власти, и если на соборе 1503 года «иосифляне» взяли верх и церковь на века сохранила свои земельные владения, причина тому не только болезнь старевшего Ивана. Хоть и не без колебаний он предпочел оставить церкви богатства, лишь бы она всецело поддерживала его власть. Это закрепило положение православной церкви, по старой византийской традиции служившей светской власти, в отличие от католической, всегда державшейся даже за чисто формальную порой независимость.

При Иване, когда он был еще соправителем отца, Константинополь был захвачен турками и погибло православное Византийское государство, а правивший Московской Русью великий князь Иван как раз женился на племяннице последнего византийского императора. Московская Русь, хоть успела обособиться от патриарха Константинопольского, на долгое время осталась крупнейшим православным царством, и от этого тоже понятия «русский» и «православный» в русских умах срослись, стали синонимами. Тем более, Москва претендовала считаться светским преемником Византии и следовала ее принципам, настаивая не только на независимости своего государства от других, обретение которой и впрямь было великим достижением Ивана III, но и на неограниченной власти государства над людьми. Особенная роль государства в России теоретически обосновывалась многими позднейшими авторами, и псковский инок Филофей писал сыну Ивана Василию III, что Москва – третий Рим и, подобно двум первым, должна владеть миром.



Историк
Сергей Федорович
ПЛАТОНОВ
(1860—1933)

Глава
третья

ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ СЕТ СМУТУ

После трудного детства

Василий Иванович, хоть и не столь талантливо, продолжил дело отца. Все русские уделы утратили при нем самостоятельность и подчинились Московскому.

Василий III завершил собирание земли Русской и стал первым властителем национального государства великороссов. Но оставлять его пришлось бы братьям Юрию или Андрею, на которых Василий не полагался. А его жена, Соломония из рода бояр Сабуровых, оказалась бездетна, и, перевалив за пятьдесят, он заставил ее постричься в монахини, а сам женился на молодой Елене из рода князей Глинских, выходцев из Литвы. Елена родила двух сыновей, но когда старшему Ивану было всего три года, Василий умер, не достигнув пятидесяти пяти (1533). Елена стала править за малолетнего, отправив для спокойствия братьев мужа Юрия и Андрея и собственного дядю князя Михаила Глинского в тюрьму, где все они и умерли. Но Елена ненадолго их пережила, по слухам, ее отравили.

Когда умерла мать (1538), Ивану было семь с половиной. Правил теперь сперва князь Шуйский, потом князь Бельский, потом опять Шуйский. Князья делали, что хотели, не особо заботясь о юных царевичах, и еще ребенком Иван отвечал им ненавистью. Тринадцати лет он приказал до смерти затравить псами Андрея Шуйского. Но столь же безжалостно он терзал животных, хоть те зла ему не делали. На семнадцатом году Иван выбрал себе в жены боярышню Анастасию из рода, принявшего потом по ее отцу, окольникшему Роману Захарьину-Юрьеву, фамилию Романовых. В 1547-м Иван женился и венчался на царство. Он звался теперь царем – новым титулом, звучавшим в Европе

как цезарь или кесарь, что значило император, после падения Византии порой пользовались уже и дед его, и отец, хоть не всюду за ними титул признавали. Благодаря митрополиту Макарию он был неплохо образован, а рекомендованный митрополитом священник Сильвестр помог юному царю собрать Избранную раду, кружок молодых и толковых княжат и бояр, помогавших править страной первое время.



*Иван IV.
Парсуна (портрет).
XVI век*

Более десяти лет царь с ними и правил. Эти первые годы Иванова правления развивают и совершенствуют феодально-абсолютистский порядок, сложившийся при его отце и деде. Усовершенствования идут в том же направлении, что и в западных монархиях. Государственные формы вроде свои, но параллельность развития и его европейский характер очевидны. Начать с того, что при Иване на Руси возникает сословное представительство, созывается первый Земский собор, подобные которому будут созываться еще сто лет.

Эти соборы, как и французские Генеральные штаты, испанские кортесы или немецкие ландтаги (единственное исключение – английский парламент) чисто совещательные, везде собирались не регулярно, а по приказу монарха, и тоже не имели, пока не доходило до избрания нового монарха, никаких собственных прав. Да и устроены они были по всей Европе очень схоже. Боярство и высшее духовенство участвовало в соборе персонально, поскольку Боярская дума включалась в него в полном составе. Служилых дворян и посадских людей представляли выборные, равно как выборные представляли уже немногочисленное свободное крестьянство. Большинство населения – зависимое крестьянство, не было представлено на соборах никак.

На Руси, как и на Западе, сословное представительство помогало монархам обрести опору. Ею стали, как порой говорят, средние сословия – не слишком знатные служилые люди (дворянство) и посадские («третье сословие») и, разумеется, чиновники, дьяки. А ущемляли монархи крупную земельную аристо-



*Грановитая палата в Москве.
XV век*

кратию и увеличивали зависимость крестьянства. Так было и на Западе, и у нас, уже в начале царствования Ивана.

В согласии с первым собором был исправлен и дополнен Судебник Ивана III, прежде всего в части, касавшейся суда, который вершили царские наместники, — теперь в нем стали участвовать выборные старосты и целовальники (то есть присяжные).

В 1551 году был издан сборник, зафиксировавший нормы церковной жизни в ста главах, именованный поэтому «Стоглавом». Местному свободному населению дозволили избирать своих старост, а служилым людям и судей. Отведение земель на кормление было остановлено, вместо пошлин и кормов прямо наместнику надлежало платить оброк, «окуп», в казну, а казна уже сама платила из него деньгами государевым слугам. Рост самоуправления сочетался с централизацией ключевых полномочий и денежных поступлений.

Государством стали управлять по-новому, это делали приказы, предвещавшие нынешние министерства с их специализацией. Земский приказ поддерживал порядок в Москве. Разбойный ведал судом над лихоимцами, Ямской — почтовой службой, Стрелецкий — стрельцами, Разрядный — дворянским войском. Поместный — наделял служилых людей землей, Посольский ведал внешними сношениями, его возглавлял искусный дипломат, думный дьяк Иван Висковатый. По мере надобности создавались и новые приказы, в частности, Казанский и Сибирский для управления обретенными областями. Был еще Челобитный приказ, где рассматривались жалобы на другие приказы, в силу этого как бы самый главный. Его возглавил думный дворянин Алексей Адашев из Костромы, ближайший и влиятельнейший среди царских помощников.

Перестроили и сам служилый класс. Выравнивали распределение временно отводимых служилым помещикам земель, а в придачу порой назначали им и денежное жалованье. Отобрали тысячу лучших и наделили поместьями вокруг Москвы, чтобы составить полк московских дворян. Эффективнее организовали пехоту с пиццальями — стрельцов, а также пушкарей с пушками и сделали войско более боеспособным.

Плоды не заставили себя ждать. Иван, форсировавший централизацию русских земель, перешел от собирания их — пусть не всегда добровольного и не безупречными путями — к покорению земель, где жили иные народы, к созданию империи. В 1552 году он завоевал Казанское ханство, а в 1556-м — Астраханское, наследовавшее Золотой Орде. Казань осадили полки Михаила Воротынского и Андрея Курбского. Не подвела и артиллерия. Упорно защищавшийся город взяли штурмом, сожгли и разграбили, а хана Едигера захватили и пленного крестили.

Повиноваться Москве теперь пришлось не только татарам, но и народам окрестных земель — и мордве, и вотякам, и черемисам, и башкирам, и прочим. Им, и строже всего татарам, не позволяли жить в наново выстроенной Казани и других русских крепостях. Зато у русских поселенцев возникли большие возможности на покоренных землях.

Земли за Волгой открылись для русской колонизации. Чтобы ее обеспечить, царское войско спустилось по реке до устья, и Астрахань сдалась уже без сопротивления. Историк Платонов характеризует победы Ивана над Казанью и Астраханью как «первое торжество христианства над исламом, Европы над Азией». Можно спорить, впрямь ли первое — европейские христиане к той поре уже и на Ближнем Востоке, и в Индии одерживали победы над исламом и Азией, но если глядеть из Московской Руси, с Платоновым невозможно не согласиться.



*Храм
Василия Блаженного
в Москве. XVI век*

Опричнина

И вдруг начинается кажущийся внезапным поворот. В конце 1564 года Иван уезжает в Александровскую слободу за Троице-Сергиевой лаврой и объявляет, что оставляет царство из-за измены бояр. А на просьбу верноподданных москвичей воротиться,

отвечает, что вернется, лишь если сможет без помех наказывать и казнить изменников. Царь делит царство надвое, одной его части, поименованной земщиной, велено жить как жила, под властью все тех же бояр, а другую, названную опричниной – так исстари именовали удел, оставляемый овдовевшей княгине, – царь взял себе в непосредственное управление, чтобы оттуда наблюдать за порядком в земщине.

Впервые на Руси возникает государство в государстве, впервые выступает обособленная руководящая сила, творящая, что вздумает, оставляя ответственность за последствия на подвластных. С опричниной царь не оглядывается на объективную реальность, превыше нее становится царская воля, и Иван спешит ее навязывать.

Не то чтобы ничто не предвещало конфликта с боярством или даже с окружавшей Ивана Избранной радой. Во время болезни в 1553 году не все бояре с готовностью присягнули его сыну-младенцу Дмитрию, что возбудило царский гнев, но пока жива была Анастасия, до 1560 года, серьезных перемен в политике или окружении царя не происходило. А потеряв жену, царь вскоре отправил Сильвестра в Соловецкий монастырь и Алексея Адашева воевать в Ливонию, где тот вскоре умер. Другие царские помощники, ощущая, что их тоже отлучают от дел и решений, сами подумывали об отъезде, а это царя раздражало, и когда ближайший сподвижник, князь Курбский, бежал в Литву, конфликт стал открытым.

У самых видных бояр царь отбирал вотчины и земли, где боярские вотчины преобладали, сразу брал в опричнину. Превращая владельцам взамен предлагали землю в других местах. Выстроив в Александровской слободе новый дворец, царь создал там и особое внутреннее войско из людей, которых сам он именовал дворовыми, а народ – опричниками. Опричники и занимались выселением бояр, объявленных изменниками, и делали это с истинным зверством, рубя головы и убивая младенцев.

Царь опустошал обжитые центральные земли, чтобы отдать их опричникам, преимущественно из служилых помещиков. Но опричниками становились и выходцы из старых боярских родов, и люди совсем простого происхождения. Не только прежние социальные слои боролись друг с другом, но возник новый социальный порядок, в котором правящему слою надлежало иначе расположиться.

Никакой измены на деле, конечно, не было, но старая удельная знать, хоть и утратившая и порой даже добровольно отдавшая царю административное верховенство над землями, оставшимися в ее владении, была известной преградой нарастающему произволу единодержавия, которое Иван считал непременным свойством царской власти. Он мыслил себя не первым боярином и не первым дворянином, но высшим существом, стоящим над всеми. Сами претензии каких-то там князей на личную честь, личное достоинство, личную самостоятельность казались ему изменой, а поскольку бывшие удельные владения, да и громкие княжеские имена, могли побудить к таким претензиям, он усердно переселял княжат и бояр из тех мест, где с их именами были связаны какие-то традиции, а то и слава, на окраины, где удельного порядка не бывало и никто их не знал.

Беспощадно убивая тысячи людей, Иван не просто ликвидировал тех, кому не доверял, он радикально менял общественное устройство. Историк Павлов-Сильванский в создании опричнины видел начало нового государственного строя, сменившего в России удельный, и был, конечно, прав. Но установившийся строй оказался новым не только в сравнении с предшествующим, но и в сравнении с параллельно складывавшимся в остальной Европе, тогда как и удельный порядок, и предшествовавший ему, при всех местных особенностях, был общеевропейским, единым.

Феодальные отношения веками держались известным равновесием, все шло, как говаривали в Англии, «по воле лорда и обычаю манора». На Руси подобная формула неизвестна, но князь или боярин и у нас прежде не были в полной мере собственниками крестьянской соседской общины. Они, конечно, старались взять с крестьян побольше, но те уклонялись, ссылаясь на привычную практику. Лорд или боярин спорил с обычаем манора или вотчины, феодальная реакция грозила усугублением тягот. Но до поры ни на западе, ни на Руси верх она не взяла.

Сходными на западе и на Руси были и отношения меж стоявшими в пору раздробленности на разных ступенях феодальной лестницы. Всюду в Европе, так или иначе, совершался переход от раздробленности к абсолютной монархии, которая держалась на плечах нижестоящих феодалов, но учитывала интересы и других социальных слоев. Феодальная реакция побеждала либо в обосо-

бывшихся княжествах и герцогствах, немецких или итальянских, либо там, где монарху удавалось поднять против других крупных феодалов низовое дворянство, которое становилось его опорой.

Укрепив королевский домён Иль де Франс или Московский удел, можно было по кускам приращивать к нему соседние феодальные образования, превращая остальные территории, заселенные тем же народом, в свои колонии, а в конечном счете в крупное национальное государство, как, проявив силу и волю, это сделали Париж или Москва. Процессы, шедшие тут и там, до поры весьма схожи, но когда национальное объединение завершается, не столь, вроде бы, большие различия в том, как оно шло, оказываются роковыми.

При возникновении абсолютных монархий всюду обозначается противостояние прежней феодальной знати и монарха, вышедшего из ее рядов. В Англии оно привело к долгой войне Алой и Белой розы, во Франции – к Фронде и борьбе короля против нее. Но Иван, борясь с боярством, хотел не просто его смирить, поставить на место и на почве общих интересов прийти к прочному компромиссу. Иван жаждал ликвидировать аристократию, как таковую.

Никакому самому свирепому европейскому монарху и в голову не шло именовать не то что противостоявших ему аристократов, но и рядовых подданных своими холопами, рабами. Самая жесткая абсолютная монархия сохраняла ступенчатость рыхлых феодальных обществ, отчасти даже ее укрепляла. Иван III, Василий III, хоть изменяли обществу, которым правили, возвышали царя еще на феодальной лестнице, пусть на пять ступенек выше, но не над толпой равных в своем ничтожестве холопов. Иван IV делал именно это, что и развело жизнь России и остальной Европы. Даром что и там феодальная реакция не всюду и не в равной мере шла на компромисс с разными феодальными группами и другими общественными слоями.

Английский парламент феодальных времен был самым практичным инструментом социального компромисса, но и он не вполне избавил страну от кровавых усобиц. А при Иване Грозном социальная бескомпромиссность не знала предела, и жизнь наполнилась не просто массовыми кровавыми расправами, но и непрерывным страхом перед ними. На века вперед эта бескомпромиссность оставила след в сознании народа, отчего при социальных противостояниях, когда англичане или французы верят, что и

самая несправедливая власть, расправляясь с несогласными, все же не рискнет уничтожать их всех поголовно, русские не столь наивны.

Бескомпромиссность проявилась не только в разгроме удельной знати, но, еще полней, в закреплении крестьянства. Опять же усиление помещичьего гнета имело место в ту пору отнюдь не только на Руси. В Англии попытки в этом направлении предпринимались еще раньше, однако из-за мощного сопротивления не удалось. Но к востоку от Эльбы к поземельной зависимости, как и у нас, всюду наново прибавлялась личная, пусть не достигая наших крайних форм. И в Пруссии, и в Польше, и в других странах наблюдалось так называемое второе издание крепостного права, в Пруссии отмененное лишь в начале XIX века. Тенденции были общими, и, конечно, то, что в Пруссии они взяли верх, а в Англии провалились, подтверждает, что у нас больше схожего с Пруссией, чем с Англией. Но у нас они проявились еще полней и бескомпромиссней, чем в Пруссии.

Право крестьянского перехода от одного боярина или помещика к другому по мере возвышения Москвы непрерывно сокращалось, и во времена монгольского ига русский крестьянин лично был более свободен, чем в независимом национальном государстве. При Иване IV право на переход даже в Юрьев день было практически сведено на нет, хотя официальное установление крепостного права отсчитывают от позднейших указов о полном запрещении перехода на несколько заповедных годов, принятых уже при Федоре Иоанновиче, когда фактически правил Борис Годунов, после которых переходу настал конец до 1861 года.

Опричнина, переворотив страну, ее разорила. Нововведения создателя нашей империи царя Ивана, особенно ликвидация аристократии и установление крепостного права, после семнадцатилетнего (1547–1564) достаточно реалистического правления, ставили историков в тупик. Карамзин не находил объяснений внезапному преображению. Другие искали их в свойственной Ивану сызмальства жестокости, в безутешной утрате любимой жены, в сексуальных особенностях или психической болезни.

Хотел ли Иван того, к чему пришел? Подобный вопрос задают чуть не о каждом государственном деятеле, олицетворяющем переломную эпоху. Но лучше бы задаться вопросом, в какой мере, даже обладая безмерной властью, человек способен осуществлять именно то, что задумал, или он действует под влиянием

иных, более конкретных побуждений? Способен ли государственный деятель, вообще, в одиночку или с советниками, соразмерить свои действия с последствиями, к которым они ведут?

Власть бывает безмерна, но знание ограничено, и замыслы исторических фигур даже если осуществляются, то в преображенном, подчас до неузнаваемости, виде. Истории любопытны не так намерения исторического деятеля, о которых он часто запросто лжет другим, да и себе, как обстоятельства, в которых он действует, толкающие действовать так, а не иначе. В число таких обстоятельств входят отнюдь не только высокая цель, или случайная ситуация, или даже угроза насущным интересам страны, но и свойства общества, его состояние, расстановка противоборствующих сил и мера каждой силы, и традиции, и готовность к новым начинаниям.

Иван IV выполнил и перевыполнил свои намерения, если таковыми были лишь создание империи и ликвидация княжат и бояр как социального слоя, «как класса». Но за их форсированную ликвидацию Руси пришлось платить несопоставимо больше, чем иным странам, где подобный процесс шел медленнее. Русь оказалась на краю гибели, а едва ли такое входило в намерения Ивана.

В первые семнадцать лет царь успешно доделывал и укреплял обозначившееся до него. Но и создавая опричнину, Иван не перерождался. Он ощутил, что, казалось бы, успешная мирная деятельность не только не приблизила его к желанному полновластию, но отчасти это полновластие даже ослабила. Покорением вчерашних колониальных владельцев Руси Иван не столько избавил страну от внешних опасностей – они даже возрастали по мере раздвижения границ, – сколько убрал препятствия перед новым растеканием русского народа, то есть колонизацией нового пространства, пошедшей, однако, совсем иначе и в иных обстоятельствах, нежели когда-то колонизация земель, образовавших Владимирскую Русь.

Тогда шло не столько даже завоевание, сколько относительно мирное распространение русских людей на северо-восток в поисках свободной земли, которой в освоенных землях уже не хватало, да и, конечно, двигаясь на север, они отдалялись от монголов. Теперь люди не только искали землю, но уходили от нараставшего давления собственной феодальной реакции, которую воплощали не так старые княжата, сколько посаженные на их земли более мелкие помещики, спускавшие с мужиков семь шкур.

Процесс расселения был для Европы общим, англичане переселялись и в Северную Америку, и в Австралию, но там их отделяли от родины океаны. Остававшимся на острове все равно приходилось отстаивать свои права на старом месте самим. А уехавшим в Америку или Австралию приходилось отстаивать их на новом месте и, в конце концов, отделиться от начальной родины.

Русским людям при Иване расселяться было куда легче, да власть, желая удержать захваченные земли, сама к тому и поощряла. Люди шли на восток в Казанское царство, шли дальше, за Урал. Сперва шли по северному краю, куда проникали еще новгородцы, потом за Волгу. А когда у нынешнего Тобольска Сибирское ханство во главе с Кучумом опять преградило им путь, уже даже не московский царь, а промышленявшие на Урале старые новгородские бояре Строгановы наняли отряд казаков во главе с атаманом Ермаком Тимофеевым, чтобы разгромил Кучума, что он и сделал (1582), и еще при Иване колонизация дошла до Оби.

Уходили люди и на юг, откуда еще недавно крымский хан совершал набеги на Московскую Русь, ограниченную Окой в среднем течении. Но давно уже русские селились и за Окой, на «диком поле», становясь вольными казаками. Кроме избранных атаманов, над ними власти не было, они и с татарами воевали и русских купцов грабили, и царь передвинул границу за «дикое поле», выстроив цепь крепостей, самой южной из которых стал Белгород. Иные казаки пошли служить Москве, иные спустились дальше на юг к низовьям Дона и Донца. Так что и за Оку, и на Дон еще легче стало уходить, и люди уходили, оставаясь при этом в единой стране, лишь раздвигая ее пределы.

Пожалуй, беспредельность просторов, а точнее, открытость восточных и северных границ в большей мере обусловила поведение Ивана, чем его личные качества и даже пример ордынского деспотизма. Во всяком случае, абсолютные монархии в Англии или Франции строились на заведомо ограниченном соседями пространстве, и не было места для иллюзии, будто власти для достижения цели достаточно воли, потому ей там и приходилось не только подчинять соседей, воевать друг с другом, но и договариваться, искать компромиссов. А на Руси с ее просторами и, как выяснилось потом, с несметными сырьевыми ресурсами, начиная с пушнины и леса, была богатая почва для волюнтаристских иллюзий, и Грозный царь первым их противопоставил здравому смыслу.

А в результате внутренних и внешних триумфов – уничтожения оппозиции и создания империи, владения которой уже тогда превысили саму Московскую Русь, – став великой державой, Русь оказалась разоренной, и центральные области пришли в такое запустение, что ни податей, ни войска было от них не получить. Между тем еще в 1558 году царь начал войну с Ливонией, раздиравшейся тогда междоусобицами.

Он надеялся выйти к морю и поначалу тоже побеждал, Ливония распалась, Эстляндия признала над собой власть Швеции, Лифляндия – Литвы, а возникшее на месте Ливонского ордена Курляндское герцогство – Польши, и пришлось воевать со Швецией, Литвой и Польшей разом. А в 1576 году, когда Русь уже ослабела, польским королем стал Стефан Баторий, способный полководец. Ивану нечего было ему противопоставить и пришлось отказаться от всех завоеваний, а потом и шведам уступить не только Эстляндию, но и города Ям, Копорье и Корелу. Надежды утвердиться на море рухнули. А в 1584-м Иван умер.

Но хоть и досадно, что мы не вышли к морю на сто лет раньше, беда не в том, что Русь проиграла Ливонскую войну. За ее проигрышем, особенно по контрасту с триумфальной победой над Казанским ханством, различима куда более глубокая трагедия, к которой привела самобытная политика Грозного царя, избегавшего социального компромисса, на котором феодальный абсолютизм держался в остальной Европе. А политические принципы Ивана так никогда и не были радикально пересмотрены, но основали новую государственную традицию. Цари и дальше ей следовали, наращивая угнетение подданных, то есть ожесточая феодальную реакцию, на триста лет вперед ставшую идеологией российского самодержавия.

Первоначально самодержавие было синонимом независимости. Иван III уже не «держал» власть от хана, не получал ярлык на правление, а правил сам по себе. Но по мере того как не только царский родовой удел, Москва, но вся собранная предками, начиная с Калиты, Московская Русь обратилась в царскую вотчину и стала считаться собственностью московского царя, а, особенно, когда Иван IV стал отбирать вотчины у других князей, слово «самодержавие» обрело новый смысл, не внешний, а внутренний. Оно уже не столько означало неподвластность Руси ни хану, ни императору, чему мы поныне рады, сколько объявляло, что на Руси все подвластно царю и князья или холопы владеют чем-либо лишь по царской

милости и усмотрению. Захочет – без резонов отберет. А такому радоваться не приходится. Тем более, что так было не только с землей или другим имуществом, но с любой самостоятельной деятельностью, каковая без соизволения власти не допускалась.

Можно многое рассказать о нравах российских властей и страданиях подвластных людей, когда были, казалось, основания надеяться на лучшее. Ведь не стало ордынского ига, сложилось независимое государство. Но, увы, тем же ивановым самобытным путем страна продолжала идти при добрейшем Федоре Иоанновиче (1584–1598) – за него вскоре стал править Борис Годунов, сестра которого была женой царя, а потом и сам избранный царем (1598–1605).

Царь Борис

Борис был верным соратником и учеником Ивана, был даже его опричником, но как человек осмотрительный – отчасти потому, что правил не по наследству, отчасти потому, что плоды иванова царствования делались все нагляднее, – избегал открытых жестокостей, при нем убивали без лишнего шума. Он вроде даже пытался преодолеть разорение простых людей. Бояр он, однако, не жаловал, да и они его не слишком любили. Даже двоюродных братьев царя Федора, Романовых, с которыми прежде бывал заодно, он, став царем, сослал на север, а старшего из них, любителя охоты и щеголя Федора, при этом постриг в монахи под именем Филарета (а его жену – под именем Марфы). Войн он не затевал, крепил авторитет церкви.

Еще в правление Федора старанием Бориса на Руси установили патриаршество. Когда патриарх Константинопольский, старший среди православных, живший под властью мусульман, приехал в Москву за помощью и поддержкой, ему предложили остаться патриархом на Руси, на что он согласился. Борис, его убедивший, не желал, однако, чрезмерного патриаршего влияния и предложил патриарху Иеремии поселиться в старой столице, Владимире. Иеремия воспротивился и уехал домой, но взять назад обещание учредить на Руси патриаршество не рискнул и назначил патриархом, пятым по значению после четырех восточных, московского митрополита Иова и согласился на учреждение че-

тырех митрополий – Новгородской, Казанской, Ростовской и Крутицкой (рядом с Москвой). Все эти перемены в 1590 году утвердил Константинопольский собор патриархов.

Борис был поборником просвещения и не только сыну дал прекрасное образование, но и посылал русскую молодежь учиться на запад – впрочем, никто из овладевших наукой не вернулся. Он усердно привлекал западных мастеров в Москву, с их помощью была построена колокольня Ивана Великого, поныне возвышающаяся над Кремлем. Задолго до Петра Борис старался, чтобы Русь овладела европейскими плодами наук. Здесь тоже видно, что расхождение при Иване IV нашего социального развития с европейским вызывалось не так духовными особенностями, на которые часто ссылаются, как особенностями развития власти. Российская феодальная реакция тоже хотела пользоваться знаниями, но боясь, как бы они не подорвали ее власть, всячески ограничивала казавшуюся ей чрезмерной культурную автономию. Уже тогда проявилось наше парадоксальное своеобразие – в России власть много делала для развития науки и культуры и она же ограничивала их развитие, одной рукой сеяла, а другой урезала просвещение, что сказалось и на хозяйстве.

Покамест же больше, чем отдельные успехи империи, давали себя знать методы ее созидания Иваном Грозным. Разорение привело к голоду. Три года подряд при Борисе правил голод. И хоть царь старался помочь голодающим, разорение было слишком велико, чтобы с ним совладать. Уже набухали семена посеянной Иваном смуты. Почти все слои общества, так или иначе, были недовольны, а иные уже и стерпеть не могли ужасы жизни – бездомность, холод и голод. У них и вызывали интерес разговоры о том, что Борис не только не царского рода, что и так было известно, но якобы еще и убийца законного наследника, царевича Дмитрия, сына Грозного от седьмой жены Марии Нагой.

Обстоятельства темны. Сперва объявили, что мальчик, играя со сверстниками в ножички, в припадке падучей, которой он страдал, случайно сам нанес себе смертельный удар. Одновременно пошли слухи, что царевича убили люди Бориса. Но приставленного к царевичу Битяговского, которого называли убийцей, на месте растерзала толпа, и разобравшись, что на деле произошло, было трудно, тем более что приехавший от царя Федора в Углич, где Дмитрий жил с матерью, князь Василий Шуйский разбираться

и не очень хотел, – Шуйские, правда, издавна были врагами Годунова, но, возможно, князь Василий увидел в царском поручении выяснить истину способ наладить отношения с всемогущим правителем и укрепить свое положение.

Так или иначе, объяснения Шуйского на время сгладили остроту неожиданного пресечения династии рюриковичей, а точнее, династии Ивана Калиты. Бориса без помех избрали на царство. Но еще при его жизни поговаривали, что царевич счастливо избежал покушения и объявился в Польше. И что его там поддерживают. Под именем Дмитрия выступал, как выяснилось уже тогда, происходивший из служилых людей Григорий Отрепьев. Рано осиротев, он побывал в холопах у Романовых, потом постригся в монахи, жил в Чудовом монастыре московского Кремля, откуда еще с тремя монахами бежал и в Польше назвался царевичем. Осенью 1604 года, собрав войско, он двинулся на Москву.

В битве при Добрыничах самозванца наголову разбили, и он отступил к Путивлю. Военное превосходство явно было на стороне Москвы. Но южную часть страны, «дикое поле», переполняли люди, бежавшие от крепостной зависимости и опричнины, – и крестьяне, и служилые и вольные казаки. У них не было иной надежды на справедливость, кроме «законного» царя Дмитрия, и они поддерживали самозванца, захватили Кромы, засели там. Московские воеводы повернули против них, но сокрушить Кромы не смогли. Тем временем Борис, не выдержав сотрясения так крепко, казалось, склоченного царем Иваном и им самим государства, умер. Его юный сын Федор совсем уже не мог удержать власть, бояре тоже предпочитали, хотя бы на время, самозванца. Василий Шуйский объяснял в Москве, что в Угличе царевича не убили. Под Кромами русское войско перешло на сторону противника, и в июне 1605 года Лжедмитрий триумфально въехал в Москву.

Смута

Обещаний, будто бы данных полякам, царь Дмитрий не выполнял, обращать Русь в католичество не порывался, напротив, демонстрировал приверженность православию. Никаких земель Польше не уступал. Однако и надежды москвичей на возвращение доброй старины не сбывались. Самозванец, правда, вернул

из ссылки мать царевича Марию и ее родственников Нагих, а также Романовых. Но вел себя слишком непринужденно для царя, его окружали поляки, особенно много их съехалось на свадьбу Лжедмитрия с Мариной Мнишек, дочерью воеводы, приютившего его в Польше. А москвичей, кроме придворных, в день свадьбы в Кремль даже не пускали. Рядовые люди не ощущали реальных перемен, крепостное право так и не отменили. Бояре, прежде всего Шуйские, подстрекали против поляков. 17 мая 1606 года в Китай-городе ударили в набат, толпа ринулась на поляков, а заговорщики – во дворец, где и убили Лжедмитрия и его друзей. Беспорядки продолжались два дня.

Царем стал Василий Шуйский, глава мятежа. Его просто выкликнула толпа. Царь Василий целовал крест, что никого не будет казнить без суда, ни произвольно предавать опале, а пустых доносов и слушать не станет, и не станет, как у нас обычно практикуется, преследовать родню опальных. На деле – и казнил, и опале предавал, и доносчикам внимал. Но сама такая клятва была для Руси новостью и прямо противостояла правилам Грозного, Бориса и Лжедмитрия, знавших лишь царскую волю, но не царские обязательства. Крестоцелования от Шуйского добились другие бояре, он ведь и поднялся как боярский царь. Но так им и не стал, может быть, оттого, что четыре года, покамест он считался царем, стремления людей никак не сообразовывались меж собой. Но крестоцелование обозначало ответственность не только перед силами небесными, но и перед подданными. Английский парламент как раз и начался с того, что бароны вынудили короля признать ответственность перед подданными. Наши историки обычно клеймят подобные усилия наших баронов, княжат и бояр. А и Русь при Василии Шуйском подошла к этой грани.

Однако ее не перешла. Да и положение нового царя было непростым. За пределами Москвы сперва и не знали ни об убийстве самозванца, ни о воцарении Шуйского. Василий рассылал во все стороны грамоты и от себя, и от имени матери царевича Марии, где объяснялось про невинно убиенного царевича, про посланного папой Римским самозванца и про самого Шуйского, который родом даже выше прежних царей. Но не помогло. Мало кто царю поверил, да и сложно унять смуту призывом жить, как раньше, если сама власть, начиная с Грозного, правила по-иному.

Шли слухи, что Лжедмитрий не погиб, а спасся, и у Путивля, где некогда держался самозванец, люди опять бунтовали. Верховодил князь Григорий Шаховской. А вскоре там объявился Иван Болотников, холоп князя Телятевского, воевавший с татарами, попавший к ним в плен и проданный туркам в рабство, чтобы стать гребцом на галере. Его освободили в бою австрийцы, и через Венецию он попал в Польшу, где встретился с матерью Марины Мнишек и новым самозванцем, направившим его к князю Шаховскому, и вскоре он возглавил войско. Возможно, Болотников, как и Отрепьев, принадлежал не к холопам с барской запашки, а к дворовым, и еще на барской службе себя проявил. Во всяком случае, его бывший владелец, князь Андрей Телятевский, сам воевал потом под началом Болотникова. Вместе с ним шли и дворянские полки Истома Пашкова, Прокопия Ляпунова и других. Все они вместе осадили Москву.

Порой, ссылаясь на участие в войске Болотникова дворян и даже князей, уверяют, что его восстание не крестьянское, хотя известно, что Болотников требовал отмены крепостных порядков, расправы с «лихими боярами» и подымал холопов и крестьян против господ. В разброде, охватившем страну, людям уже трудно было понять, какое движение больше отвечает их конкретным интересам, и они объединялись в разношерстные отряды, воевавшие против таких же, как они, и в то же время против московской власти, кто бы ее ни представлял. В этом, прежде всего, и состояла смута.

На сей раз, однако, Шуйский собрал людей из северных, менее задетых смутой областей, да и Пашков, и Ляпунов перешли к царю, и Болотникова от Москвы отогнали и погнали на юг. Он пытался удержаться в Туле, но Шуйский затопил тамошнюю крепость, и восставшие сдались. Кого утопили, кого продали в рабство, Болотников был сослан в Каргополь, где его ослепили, а потом тоже утопили.

Но победа царю не помогла. Уже второй Лжедмитрий уверял в своем чудесном спасении. Кто он был на деле, неведомо поныне, но к нему примыкали воевавшие у Болотникова, приходили недовольные из южных областей, шли туда казаки, были там и польские, и литовские отряды. Приехала и Марина Мнишек. Летом 1608 года, укрепившись в Тушине, под самой Москвой, они осадили столицу. Осадили они и Троице-Сергиев монастырь, но монахи упорно

не сдавались. Москвичи такой твердости не проявили, и многие не раз перебегали от Шуйского к самозванцу и обратно. Таких называли «перелетами». Новая осада была грознее прежней.

Спас царя его племянник, князь Михаил Скопин-Шуйский. Он получил подмогу войском от Великого Новгорода, а еще от шведов, ради чего опять уступил им Ивангород, Копорье, Корелу и другие города, утерянные прежде Иваном IV и возвращенные при Федоре. Пошли против Лжедмитрия II и возмущенные грабежами северные города во главе с Вологодой и Устюгом. Северные области, менее тронутые укреплением, и позднее были оплотом независимой Руси. Скопин, которому не было и двадцати трех, талантливо руководил объединенными войсками, и вскоре была снята осада с Троице-Сергиева монастыря, Лжедмитрий оставил Тушино и ушел в Калугу.

Союз Руси со Швецией привел в бешенство польского короля Сигизмунда, оставившего некогда шведский престол, не желая переходить в протестанство, и он осадил Смоленск. Но юный полководец Скопин внезапно умер (по слухам, его отравили завистники), а возглавивший войско брат царя Дмитрий справиться с поляками не мог. Станислав Жолкевский разбил Дмитрия Шуйского наголову и вскоре подошел к Москве. Туда же поспешил из Калуги Лжедмитрий II, и столицу вновь осадили. Летом 1610 года Москва свергла Василия, и началось правление бояр во главе с Федором Мстиславским, тогда же названное «семибоярщина».

Еще когда Лжедмитрий уходил из Тушина, находившиеся там бояре, и среди них митрополит Филарет (Романов), опасаясь скопившихся вокруг Лжедмитрия беглых крестьян и казаков, попросили Сигизмунда, осаждавшего Смоленск, отпустить на московский престол своего сына Владислава. Король согласился, но куда царствовал Василий, сделать Владислава царем никто не мог, и Филарет вернулся в Москву. Когда же Василия свергли, постригли в монахи и увезли в Польшу, где он потом и умер, Жолкевский предложил признать королем Владислава.

Московские бояре определили условия, которые будущему царю надлежало принять. Среди них – полная независимость Москвы от Польши и Литвы, принятие Владиславом православия, исключавшее наследование им польского трона, поскольку его мог занимать лишь католик, а значит, исключавшее объединение Польши и Руси в единое государство, а также обязательство править

вместе с боярами, а при необходимости и с земским собором. То есть возрождалась мысль о признании царем своих обязанностей перед подданными, не случайно возникавшая уже при воцарении Василия. Жолкевский условия принял, и в августе 1610-го Владислав был избран. Разумеется, не все бояре шли на это охотно, многие предпочли бы русского царя, назывались имена Василия Голицына и юного Михаила Романова, сына Филарета, но только не Лжедмитрия II, который все еще стоял у стен Москвы. А когда избрали Владислава, Жолкевский тут же Лжедмитрия отогнал.

Москва осталась во власти польского гарнизона, а в Варшаву за царем отправилось великое посольство во главе с Филаретом и Василием Голицыным. Но Сигизмунд не собирался посылать сына в Москву, а, считая Русь своей военной добычей, хотел, чтобы Москва присягала ему самому. Сколько гетман Жолкевский не объяснял королю, что Москва добровольно не откажется от независимости, а вынудить ее к этому Польша не в силах, король уперся. Жолкевский даже поехал в Варшаву его убеждать, но безуспешно.

Гетман подал в отставку и уехал к себе в имение. А король, с помощью перекинувшихся к нему тушинцев, посланных им теперь в Москву, в частности, бояр Салтыковых, и нового гетмана Гонсевского, запугивал московских бояр и членов великого посольства, чтобы присягали ему. Одни готовы были уступить, другие, отвергая его домогательства, держались условий, признанных Жолкевским. Эти были арестованы и отправлены в Польшу. Но Москва могла противостоять Сигизмунду только морально, над ней все еще нависал Лжедмитрий II. Лишь когда в декабре 1610-го он был убит своим придворным на охоте, стал проходить страх, отстаивая независимость, потерпеть поражение в гражданской войне.

Минин и Пожарский

Стало собираться ополчение. Среди его многочисленных вождей выделялись Прокопий Ляпунов, князь Дмитрий Трубецкой и казачий атаман Иван Заруцкий, пожалованный Лжедмитрием II в бояре. Весной 1611-го они подступили к Москве, издавна хорошо укрепленной. Соседствовавшие крепости Кремль и Китай-город находились внутри Белого города, окруженного стеной по

нынешнему бульварному кольцу, а тот – внутри Земляного, окруженного земляным валом по нынешнему Садовому кольцу. В марте 1611-го, еще до подхода ополчения, в городе вспыхнуло восстание, в ходе которого, кстати будь сказано, храбро сражался и был тяжело ранен воевода из подмосковного Зарайска, князь Дмитрий Пожарский.

В ходе восстания погибли тысячи людей, город выгорел, говорят даже, был намеренно подожжен по инициативе сотрудничавшего с оккупантами купца Андропова. Гонсевский надеялся удержать Кремль и Китай-город. Русское правительство, сидевшее в Кремле то ли под его защитой, то ли у него в плену, за пределами Москвы никто уже и слушать не хотел. А в Москве бояр было немало, среди них и сын митрополита Филарета Михаил с матерью, и патриарх Гермоген, занявший свой пост еще при Василии Шуйском, а к тому времени за рассылку антипольских призывов взятый под стражу. В противовес оккупированной Москве Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий, выступая как «совет всея земли», создали другое правительство. Но правило оно недолго.

Очень уж разные силы сошлись в патриотическом объединении. Как и в войске Болотникова, дворяне и казаки, его составившие, хотели разного. Дворяне, прежде стоявшие за Годунова, хотели наведения порядка, под которым они, в частности, понимали и возвращение беглых холопов и зависимых крестьян их господам. А казаки, большей частью как раз и состоявшие из таких беглых, хотели прекращения крепостного права и отставали казачью вольницу, нередко переходившую в насилие. Отсюда не только разногласия между Ляпуновым с дворянской стороны и князем Трубецким и Заруцким с казачьей, но и общая ненависть казаков к Ляпунову, готовому выдавать помещикам беглых крестьян и холопов. Однажды в ходе ожесточенной полемики казаки его убили, после чего ополчение распалось.

Спор патриотов меж собой был не случайной распрей, тем более что положение Руси к осени 1611-го стало отчаянным. Сигизмунд захватил долго осаждавшийся Смоленск, шведы, после избрания Владислава из не очень надежных союзников превратившись в открытых противников, захватили Новгород и весь берег Финского залива. Привычка жить по указаниям из Москвы, когда указания не поступали, плодила всеобщую растерянность. Но и голос церкви, призывавшей к защите отечества, был не единообразен.

Возглавивший после снятия осады Троице-Сергиев монастырь архимандрит Дионисий и монахи призывали всех русских людей к единению и освобождению Москвы и всей Руси. Между тем патриарх Гермоген, находясь под стражей у поляков, считал, что в распадае и неудаче ополчения виноваты казаки, то есть крестьяне, не желающие быть крепостными в свободном от захватчиков отечестве, и призывал бороться с казаками, как с заклятыми врагами.

Уже тогда российский патриотизм явил два своих несхожих лика. Для одного, шедшего из Троице-Сергиева монастыря, где уже двести лет учили человечности иконы и фрески Андрея Рублева, независимость отечества не отождествлялась с тем или иным порядком, какого могли желать разные русские люди. И царя, и бояр, и дворян, и посадских, и крестьян, и казаков монахи одинаково звали беречь самостоятельность Русской земли, не так давно к тому же обретенную. Монастырский старец Авраамий Палицын, оставивший высоко-патриотичное сказание о смутном времени и осаде монастыря, был даже в добрых отношениях с Трубецким и Заруцким. Для этого патриотизма самым дорогим в отечестве был народ, люди. Его можно назвать народным, человеческим.

Для другого патриотизма, патриаршего, самым дорогим в отечестве было государство, утвержденный им социальный порядок, а люди лишь в той мере, в какой они служили государству или составляли его высший слой. То был патриотизм государственный. Эти патриотизмы и позднее не раз спорили.

Но в ту отчаянную минуту, когда единой Руси, собственно, уже и не стало, стремление ее воскресить все же заслонило споры. Призыв нижегородского посадского человека Козьмы Минина начал новое ополчение. Примечательно, что его начал не боярин, не дворянин, не крестьянин, не холоп, не казак, а вольный посадский человек, явно ощущавший, что единство страны необходимо и его собственному житейскому делу, хоть мясная торговля Минина едва ли выходила далеко за пределы Нижнего Новгорода.

У нас, как и в остальной Европе, подымавшаяся буржуазия помогала монархам объединять разодранные народы. По призыву и под руководством Минина собирали деньги. Начальником войска выбрали уже известного Дмитрия Пожарского, лечившегося от полученных в Москве ран в своем имении, неподалеку от



*Памятник
Козьме Минину
и князю Пожарскому
в Москве.
Скульптор И. П. Мартос.
Начало XIX века*

Нижнего. В ноябре 1611-го Пожарский приехал и за зиму создал войско, но весной, опасаясь противодействия казаков, оно двинулось не к Москве, а к Ярославлю, где провело все лето, и к нему присоединялись люди из разных частей Руси. Там был даже созван земский собор, чтобы избрать нового царя.

Между тем король Сигизмунд послал гетмана Хоткевича на помощь полякам, удерживавшим Москву, и Пожарский поспешил к ней, надеясь помешать Хоткевичу. Стоявшие поблизости казаки, сами опасаясь Пожарского, разделились: одни, во главе с Заруцким, ушли на юг, к Астрахани, другие, во главе с Трубецким, вступили с Пожарским в переговоры. Тем

временем Хоткевич напал на Пожарского, и в жестоком бою казаки, хоть и не сразу, а лишь по призыву устыдившего их Палицына, помогли терпевшему поражение Пожарскому, и уже Хоткевичу пришлось ни с чем убраться восвояси.

А Пожарский и Трубецкой, помирившись и в согласии правя вдвоем государством, осадили Китай-город и Кремль. В октябре они штурмом взяли Китай-город, после чего и засевшие в Кремле сдались. Москва была освобождена. Пожарский и Трубецкой собрали со всех концов Руси выборных, и в январе 1613 года состоялся собор, на котором избрали на царство юного Михаила Романова, сына митрополита Филарета.

Кто проиграл?

Смута кончилась. Но поныне нет согласия в том, когда она началась и в чем состояла. Одни, считая от восстания Болотникова, отводят ей лет семь. Другие – от кончины Бориса и воцарения Лжедмитрия – немногим больше. Третьи – от кончины Федора Иоанновича, а это уже лет пятнадцать. Иные уверяют,

что смуту начали бояре и княжата, хотя они пытались удержать не суверенитет своих вотчин, но лишь право владения землей да крепостными, а царь землю отнимал, сгоняя не только бояр, но вместе с ними и крестьян, что и перевернуло всю жизнь. На деле смута началась в тот день, когда царь Иван завел опричнину, то есть длилась без малого пятьдесят лет.

Другие европейские страны жили вроде бы сходной с нашей жизнью. Но начиная с опричнины пути разошлись. Там резкие и жестокие шаги совершались на фоне эволюции, с долгими противостояниями, колебаниями и компромиссами. Варфоломеевская ночь беспощадно уничтожила десятки тысяч французских гугенотов, однако вскоре гугенот Генрих Наваррский стал французским королем, хоть и приняв католичество, но издав эдикт о веротерпимости. А царь Иван совершил революцию сверху, первую русскую революцию. Его опричный террор разом разрушил привычное устройство общества, социальные структуры и взаимоотношения, и люди потеряли ориентиры.

Смута состояла в том, что никто больше не знал, чего опасаться и на что рассчитывать. Не только закрепощаемые крестьяне бросали дома, бежали на юг и норовили стать вольными казаками, поскольку иных гарантий выживания не оставалось. Куда только не кидался Федор (Филарет) Романов, внучатый племянник царя Ивана по его первой жене, сын ее брата Никиты Романовича, в отличие от большинства бояр сохранявшего при Иване высокое положение. Дружил Федор и с опричниками, и с их жертвами. И с Годуновым сперва был хорош, хоть потом попал в опалу. И к явлению Григория Отрепьева, своего бывшего холопа, в виде царевича Дмитрия был, конечно, причастен, Лжедмитрий-то и возвратил Филарета из ссылки. И с Лжедмитрием II, захватившим его в Ростове, поладил, и в Тушине слыл как бы за патриарха. И при избрании польского королевича на русский трон был первый человек.

Не отсутствие ли у митрополита четкой позиции в смутные времена и помогло его сыну взойти на трон? Никто не понимал, что, собственно, происходит, а Филарет Никитич, который потом и патриархом стал, и долгое время фактически правил за сына, уже изначально показал способность не утонуть в смуте, в чем как раз и нуждалась доведенная до гибельного края Русь.

Смута была сплавом национальной и социальной трагедий. Мы сегодня острее воспринимаем первую. Если есть у нас всем

обществом почитаемые герои, то это, прежде всего, Минин и Пожарский, в народной памяти с ними сопоставим разве что Кутузов. Ни разу в жизни я не слышал, чтобы хоть кто-нибудь, каких бы взглядов не держался, говорил о них без уважения и внутренней благодарности. Самая мысль, что Русь, так трудно восстановившая после монголов самостоятельность, могла снова ее потерять, быть может, навсегда, для нас невыносима. Вот мы и забываем, что национальная трагедия выросла из социальной, с нее началась.

Опричина была гражданской войной, которую государство объявило сразу и высшим слоям общества – княжатам и боярству, и низшим – крестьянам и холопам. Английский или французский абсолютизм тоже вынуждал аристократов к уступкам короне и ущемлял крестьянство. Он улучшал положение дворян, чиновников, буржуазии, но все же и аристократы, и крестьяне сохраняли свою социальную природу.

У нас опричная революция ликвидировала их как классы, боярство отчасти влилось в дворянство, однако, в большой степени просто исчезло, и еще Пушкин сетовал: «Мне жаль, что нет князей Пожарских, что о других пропал и слух». Участие в опричнине выходцев из знатных боярских родов не отменяет ее антибоярской направленности. А свободный крестьянин у нас почти исчез, он обратился в крепостного.

Прежде чем стали напрягаться отношения с Польшей, а временами и Швецией, неслыханного напряжения достигло неустройство русского крестьянства, ощутившего, что блестящие победы над Казанским ханством или Кучумом не только не облегчают, но усугубляют его повинности. Надо ли удивляться, что крестьянство надеялось и на Лжедмитриев, его обманувших, и на проигравшего Болотникова, и на казаков Заруцкого, отколовшихся даже от защитника отечества князя Пожарского. Нас уверяют, что русский крестьянин надел крепостное ярмо по своей рабской русской природе. Эта чудовищная лож как раз и опровергнута длительностью смуты, упорным нежеланием крестьянства ярмо надевать, его надеждами на самозванцев, его готовностью все бросить и бежать из дома, и даже поставить на грань риска самостоятельность отечества, пока оно остается крепостническим. А новая, возвышенная царем, знать показала, что польский королевич на русском троне ей предпочтительней крестьянской свободы.

Крестьянство, как всегда, проиграло гражданскую войну. Навивно думать, что проиграли только казаки, обретшие к тому же относительную самостоятельность на Дону. Их требования были общекрестьянскими, и уходить из родных мест им пришлось оттого, что остальные крестьянской трагедией пренебрегли. Да и поздней историк Платонов именовал заключительный, победоносный, этап смуты борьбой русских людей «с иноземными захватчиками и своими "ворами"», как раз и имея в виду бунтующих крестьян. Вот социальная трагедия и продолжилась, и усугубилась, хоть национальную преодолели.

Не просто верх взяли консерваторы, но дворянство отступилось от многих традиционных феодальных привилегий, с которыми везде и всюду, так или иначе, считались монархи, а до опричнины и русские цари и князья. Сложился государственный феодализм, государство стало первым феодалом, и прочие теперь обретали привилегии благодаря ему. Ради обращения свободных крестьян в крепостных холопов наши дворяне сами стали царскими холопами, хоть не все они потом были готовы свое холопство терпеть. С тех пор отношения дворянства и царей, охранявших крепостничество, надолго составили главное содержание внутренней политики, а вместе помещик и царь олицетворяли феодальную реакцию.

Казалось бы, стране, где нет подданных, а только холопы, где «снизу доверху все рабы», нипочем не совладать с движением времени, с промышленной и научно-технической цивилизацией, да просто не выжить. Но слова эти сказаны Николаем Чернышевским через триста лет после Ивана; выходит, опричный порядок выжил, продержался триста лет и даже более того.



*Историк
Сергей Михайлович
СОЛОВЬЕВ
(1820—1879)*

*Глава
четвертая*

ОТЕЦ ИЛИ СЫН

Наследники Грозного

Царствование Михаила Федоровича считается порой успокоения, возвращения к согласию. Молодой царь и с боярами советовался, и земские соборы собирал, и свою волю вроде не навязывал.

Редко вспоминают, что предводители освободительного ополчения при нем сразу утратили какую-либо роль. Князя Трубецкого отправили на воеводство в Сибирь, князь Пожарский никакого влияния не имел. Зато, воротясь из польского плена, показал свою волю отец царя, митрополит Филарет, тут же избранный в патриархи. Но и при нем обошлось без обострений. Опасаясь новой смуты, власть искала поддержку у всех.

Внешние опасности постепенно улеглись. Подписали в 1617 году Столбовский мир со Швецией, а с Польшей в 1618-м Деулинское перемирие и в 1634-м, после еще одной войны, Поляновский мир. Шведы отдали Новгород, за ними остался лишь финский берег. Смоленск остался за поляками, но по Деулинскому соглашению они отпустили Филарета, а по Поляновскому – король Владислав отказался от прав на московский престол. Но внутри страны держались установления Грозного. Ради укрепления границ Иван отдал воеводам власть над гражданскими делами в пограничных уездах, при Михаиле они властвовали уже во всех уездах.

Еще Иван III позвал итальянцев строить кремлевские соборы и палаты, восхищающие нас поныне. Иван IV налаживал деловые связи с англичанами, Борис Годунов усердно приглашал западных мастеров, поощрял учение русских в западных странах. Но и после смуты, в ходе которой Польша и Швеция покоряли Русь, от западного опыта не только не отказались, но перенимали его в

военном деле. При Михаиле Федоровиче впервые стали создавать полки по западному образцу. Но царь рано умер. Венец, теперь уже по наследству, перешел к его единственному сыну, шестнадцатилетнему Алексею. Он-то, а потом его младший сын Петр и доделали Иваново дело. От казавшихся безумными порывов они перешли к целеустремленности и последовательности.

Не напрасно спорят, кто сильнее преобразил Русь, отец, тишайший Алексей Михайлович, или сын, названный Великим. Ответить непросто. Дела Петра нагляднее, выстроенный им город кажется титульной страницей новой российской истории. Но Алексею с Ивановым наследством пришлось определяться раньше – то ли возвращаться к старой, догрозенской, традиции, то ли подхватить наследие Грозного. Жизнь предложила жесткий выбор. Хоть Алексей, должно быть, хотел как лучше, да и был человеком, склонным к мягким формам правления, он совершил этот выбор даже и по форме резко. Именно при нем, при тишайшем, по Руси запылали костры, на которых горели отнюдь не одни самосожженцы. Впрочем, и в Испании, о кострах которой мы вспоминаем чаще, чем о своих, сожжение на костре числили проявлением милосердия, поскольку не проливалась кровь.

Усугублялась практика крепостного права. При Федоре Иоанновиче ловить беглого крестьянина разрешалось пять лет, при Михаиле Федоровиче срок был продлен до десяти, но все равно бежали. Ограничивали в перемещениях и посадских людей, да и само право селиться в посадах. Даже переход из одного посада в другой считался нежелательным, и в 1658 году Алексей Михайлович повелел карать за него смертной казнью. То была не личная жестокость, царь сознавал, что без непрерывного насилия его государство нежизнеспособно. Ему сопротивлялись и не только пассивно, но и активно. Семнадцатый век не зря прозвали бунташным.

В 1648 году вспыхнул соляной бунт, толчком к которому был, как считается, непомерный налог на соль, к той поре уже отмененный. И царю пришлось пожертвовать ближайшими своими сподвижниками. В 1662-м последовал столь же бурный, хоть и более краткий, медный бунт, вызванный опять же падением цены медных денег, но требовавший не только их отмены. А в 1665 году казак Степан Разин, после казни своего старшего брата Ивана, стал собирать войско против царя.

Власть, ощущая горевшую под ногами почву, еще при Михаиле подготовила, а при Алексее доработала и в 1649 году приняла Соборное Уложение, то есть свод прежде изданных законов, от Кормчей книги, старого свода постановлений церковных соборов и византийских императоров, бывшей в ходу еще в Киевской Руси, до Судебника 1550 года и царских указов за последнее столетие, а также законов Литовского княжества. Все это было упорядочено, пересмотрено, согласовано под руководством князя Одоевского и представлено Земскому собору, собравшемуся в 1648 году, где Уложение после обсуждения было с ощутимыми изменениями утверждено, а после напечатано и распространено по всей Руси.

Изменения примечательны. Произведены они, прежде всего, в пользу дворянства, которое получило никакими сроками не ограниченное право отыскивать «своих» беглых крестьян, то есть крепостное право стало не только бытовым явлением, но и юридической нормой. Соляной бунт, незадолго перед тем подавленный, не побудил смягчить положение крестьянства, его бесправие, напротив, закрепили еще более жестким новым законом. Бояре, а также духовенство были ущемлены и лишены многих привилегий.

Зато царь по новому закону был еще выше вознесен над подданными, как бы отождествлен со страной, и нанесенное ему оскорбление рассматривается как преступление против государства. Выглядевшая самодурством уверенность Ивана, что русские люди существуют, чтобы быть его рабами, служить ему, при тишайшем юридически воплощается в отождествлении царства с правящей личностью, с царской персоной. В Соборном Уложении 1649 года уже на двести лет вперед просматриваются все принципы российского самодержавия, уже создана почва для правления Петра. Но Алексей Михайлович и сам немало сделал.

Конец другой Руси

Правление Грозного изменило судьбу не только непосредственно ему подвластной Московской Руси, но и другой Руси, входившей в Литовское княжество. Оно долго балансировало между Польшей и Москвой. Даже и соединясь с Польшей личной унией, Литва с ней не слилась. Великие князья-католики и низо-

вая литовская шляхта тяготели к Польше, но литовские аристократы и православные паны не поддавались, и так длилось до Ливонской войны, когда Грозный разорил половину Литвы. В страхе перед опричниной покоряться ему не хотели не только литовские, но и русские жители.

Мысль о преобразении личной унии в объединение двух государств, давно витавшая, стала актуальной, поскольку на Сигизмунде II Августе династия Ягеллонов, наследников личной унии, кончалась. Вынужденные выбирать меж независимостью, пред лицом Грозного не оставлявшей шансов устоять, и союзом с сильной Польшей, бывшие приверженцы Москвы не видели иного выхода кроме как согласиться в 1569 году в Люблине на вечную унию и создание единого с Польшей государства, названного Речь Посполита, от латинского Res Publica (республика). При этом, однако, южные земли Литвы, как раз и заселенные русскими, Киевские, Волынские, Подольские, отошли непосредственно к Польше, а северные остались в отчасти сохранившем автономии Литовском княжестве, имевшем, при общем с Польшей короле, свои законы и своих должностных лиц.

Литовская Русь на этом кончилась. После Сигизмунда Августа короли Речи Посполитой стали выборными, и шляхта, их избиравшая, ощутила свою силу. Она распространила ее на новые земли, что, подобно усилению поместного дворянства на Руси, и здесь повело к росту крепостной зависимости, и хоть польские господа говорили на более понятном, чем литовцы, славянском языке, они хотели уже не добрососедства и дружбы, как завещал Гедиминас, а именно что господства.

Конечно, жители Киевщины или Волынщины, где некогда процветали древние русские государства, уже не были теми русскими, какие жили в царстве Алексея Михайловича. Распадение древней Руси на уделы закрепилось монгольским завоеванием, и различные пути разных земель к его преодолению тоже разобщали эти земли и людей, там живших. Севернее, в Москве и окрест, за четыреста с лишним лет древние русские люди, туда перебравшиеся и смешавшиеся с тамошними финскими жителями, образовали народ, названный потом великорусским. А оставшиеся в южных землях, в Киеве и окрест, обретшие свободу в Литовском государстве тем временем образовали другой народ, названный потом украинским. (Сохранившие более тесную связь

с Литвой образовали севернее еще один народ, названный потом белорусским.) Но общей, помимо родства, осталась православная вера. А новые господа, хоть тоже славяне, были католики и не мыслили единение Речи Посполитой без единения церквей.

Если прежде в Литве католики и православные отлично уживались, то теперь поощрялся переход православных в униатство, сохранявшее прежние обряды, но признававшее духовное верховенство папы. Большинство православных архиереев на это соглашалось, но многие миряне, помнившие жизнь в Литве, сопротивлялись. Собравшийся в Бресте в 1596 году собор раскололся на униатский и православный, и король признал законным униатский. После этого православие стало опальным и подвергалось гонениям. Его оплотом служили монастыри и, прежде всего, Киево-Печерский. Возникали православные школы, а на их основе – Киевское высшее училище по образцу католических академий, позднее известное как Могилянская академия. Там учились и работали образованные православные богословы, позднее сыгравшие важную роль в религиозных событиях Московской Руси.

Покамест же прежняя вера больше служила украинскому крестьянству и днепровскому казачеству знаменем былых свобод, которых не стало в Речи Посполитой. Шляхта захватывала полученные от Литвы окраинные земли, делая зависимыми живших там крестьян и казаков, люди были недовольны и уходили все дальше на юг, за днепровские пороги. По мере наступления шляхты, да еще гонений на православие, сопротивление росло. В конце XVI века одно за другим вспыхивают казацкие восстания, увенчанные в 1648 году восстанием Богдана Хмельницкого.

Его войны с Польшей шли с переменным успехом, и он обратился за помощью к Москве, прося Алексея Михайловича принять Малороссию, как тогда называли Украину, под свое правление. Царь созвал земский собор, понимая, что присоединение Украины опять поведет к войне с Польшей. В конце концов, собор и царь решили Малороссию присоединить, и в январе 1654 года Переяславская рада тоже приняла такое решение. По договору Украина сохраняла внутреннее самоуправление, а ее глава, выборный гетман, даже право внешних сношений. Лишь о сношениях с польским королем и турецким султаном надлежало извещать царя.

Началась новая война с Польшей, в которой русские побеждали, и только конфликт со Швецией вынудил заключить с поля-

ками перемирие, спасшее их от полного поражения. Тем временем Украина, добровольно пошедшая под власть московского царя, ощутила его власть на деле. Вместо самоуправления она получила российские гарнизоны во всех городах, и, как в московском царстве, всюду стали править воеводы из Москвы. Да и малороссийскую церковь, в пору гонений независимую, подчинили патриарху московскому. Это казаков раздражало, они подумывали о новом соглашении с Польшей. Да и Богдан в 1657-м умер.

На Украине началась внутренняя распря, приведшая к ее разделению на Левобережную (но с Киевом), оставшуюся за Москвой, и Правобережную (без Киева) – за Польшей. Возобновившаяся между тем очередная русско-польская война в 1667 году привела измученные страны к Андрусовскому перемирию, по которому Смоленск и Северная земля, потерянные в смутное время, а также Левобережная Украина с Киевом признавались российскими. Но вскоре Левобережье опять отпало и вместе с Правобережьем просило турецкого султана помочь им в объединении и обретении независимости и от Польши, и от Москвы. Так, Украина и не стала при Алексее Михайловиче российской.

Раскол

А вот киевское православие, приняв деятельное участие в начавшемся тем временем расколе русской православной церкви, на Руси преуспело. Раскол часто сводят к упрямству и упорству патриарха Никона и протопопа Аввакума, церковного реформатора и защитника старой веры. Между тем начинали они единомышленниками. Священники Аввакум Петров, Иван Неронов, духовник царя Стефан Вонифатьев и другие составили кружок ревнителей благочестия, с которым, пока не стал патриархом, дружил и Никон. Все они верили, что Русь – единственное на свете прибежище истинного христианства и потому мечтали об еще большем нравственном совершенствовании общества, улучшении его церковной жизни и, в частности, об исправлении церковных книг и точном совершении обрядов.

Прежде книги переписывали от руки, писцы, естественно, допускали описки и ошибки. Еще Стоглавый собор на это указал и советовал священникам править сомнительные книги, сверяя их



*Преображенская церковь
в Кижях.
Начало XVIII века*

с надежными. В 1563 году дьякон Иван Федоров открыл в Москве типографию, чтобы печатать церковные книги с проверенным и единообразным текстом, и в следующем году вышла первая печатная книга на русском языке «Апостол». Но русский первопечатник, которому теперь поставлен памятник в центре столицы, смог поработать в Москве всего два года, потом пришлось бежать в Вильно, оттуда во Львов. После смуты типографию восстановили и под руководством архимандрита Дионисия, возглавлявшего оборону осажденного Троице-Сергиева монастыря, и дру-

гих монахов печатали церковные книги, в которых возникла большая нужда. Но о достоверности текстов спорили так жарко, что Дионисия обвинили в ереси и держали в заточении, откуда лишь через несколько лет его освободил новый патриарх Филарет.

С текстами и впрямь было непросто. Не говоря об ошибках переписчиков, они часто восходили к разным переводам с греческого и, чтобы предпочесть более точный, надо было знать греческий. Опять же, велики были различия в русских и греческих обрядах той поры, и унифицировать их было еще сложнее. Еще патриарх Филарет, а потом патриарх Иосиф были склонны исправлять русские книги и обряды по греческим образцам, для чего в Москву обильно приглашали греческих и киевских богословов, а в южные православные страны посылали русских монахов за старыми греческими рукописями.

Но Аввакум Петров, да и весь кружок ревнителей благочестия, тоже считая унификацию церковных текстов и обрядов необходимой, хотели ориентироваться не на нынешние греческие, а на старинные русские образцы. Они были убеждены, что помощь греков и киевлян ни к чему хорошему не приведет, и верили, что именно в старинных русских текстах и обрядах заключено истинное благочестие. Надо только восстановить старые русские тексты и обряды, убрав искажения. Никон сперва разделял такую позицию.

Ревнителю благочестия исходили из своей веры в истинность русской церкви, в то, что Русь есть как бы новый Израиль, только и сохранивший истину Христова учения. Но даже если глядеть на необходимость унификации священных книг и обрядов глазами свободомыслящего историка, ситуация выглядит не столь просто, как ее обычно изображают, объявляя ориентацию на греков и ученых киевлян, знавших греческие тексты, прогрессивной реформой, а верность старинным русским текстам ретроградством. Ведь христианские тексты на славянском языке, да и обряды, тоже были заимствованы в свое время у греков, и далеко не сразу ясно, где эти тексты и обряды лучше сохранились.

К тому же греческие христианские тексты основных священных книг сами были не оригиналами, а переводами с древнееврейского или арамейского и тоже переводились не раз. Подчас в старом славянском переводе, сделанном с более точного греческого перевода, уцелело от оригинала больше, чем в более позднем греческом переводе. Точно так же и обряды, воспринятые русскими у греков в IX веке, порой на Руси меньше исказились, чем потом в Византии, тем более что и вообще распространение христианства не было делом одного какого-то пропагандистского центра. Вера в распятого Спасителя в древности распространялась многочисленными тайными кружками, и не удивительно, что и тексты, и обряды, которые они передавали друг другу, нередко бывали разными, и позднейшие соборы, много сил и времени посвятившие их унификации, далеко не во всем преуспели.

Спор на самом деле шел вовсе не о том, какие тексты и обряды древнее и должны, когда книгопечатание позволило строже сохранять их единообразие, считаться каноническими. Это видно уже по тому, что, став патриархом, Никон, прежде не менее Аввакума и других участников кружка дороживший русскими древностями, вдруг предпочел считать исконными нормы современной греческой церкви. И стал насаждать их железной рукой. А вчерашних единомышленников, когда они стали противиться и даже жаловаться царю, не дрогнув, отправил в ссылку, — Аввакума в Сибирь, в Тобольск. Никоновы поправки в 1654 году утвердил собор московского духовенства, потом восточные патриархи. Константинопольский патриарх, первый среди православных, даже лично прибыл в Москву, чтобы одобрить Никоновы дела.



*Портрет патриарха Никона
(1605—1681).*

Художник И. Безмин.

Ок. 1683 г.

Конечно, Никон смог все это проделать потому, что был царским любимцем. Ему случилось предстать перед Алексеем еще в бытность монахом Соловецкого монастыря, тот был поражен его речью и обликом и, оставив монаха в Москве архимандритом Новоспасского монастыря, каждую неделю с ним беседовал. Едва освободилось митрополичье место в Новгороде, царь поставил его туда, а потом на освободившееся место патриарха (1652). Но Никон не просто принимал царские милости. Он и патриархом согласился быть лишь после обещания слушать его, как отца. Еще были в памяти отношения царя Михаила и патриарха Филарета, но тот и впрямь был отцом царя,

а Никон получил такой же титул «великого государя», как знак уважения к нему и его сану.

Но патриарх не сразу заметил, что, проведя церковную реформу, он все меньше значил для царя. Разными путями он пытался восстановить свое влияние, но, в конце концов, собор 1666 года осудил гордыню Никона, его лишили патриаршего сана и сослали в Ферапонтов монастырь, откуда выпустили лишь через пятнадцать лет, и он вскоре умер. Но тот же собор осудил и его противников. Иные видные раскольники, правда, покаяться, но упорный Аввакум, возвращенный было из Тобольска, снова был осужден и сослан в Пустозерск. Зато все никоновы нововведения собор подтвердил, и тон в московском православии стали задавать ученые киевляне.

Раскольники не смирились. Соловецкий монастырь открыто отказался от новшеств и восемь лет держался, осажденный царскими войсками, а когда был наконец взят, с монахами жестоко расправились. Да и Аввакум продолжал свою проповедь. Многие староверы, загнанные преследованиями, коллективно себя сжи-



Боярыня Морозова. Картина В. И. Сурикова

гали, хоть это и не сообразно с христианством, не признающим за человеком права самовольно добиваться жизни вечной. Но не таков был Аввакум. Он и попытки царя Алексея подвигнуть его на компромисс отверг и, пережив Алексея, к царю Федору Алексеевичу обратился с призывом отвергнуть никонианство, но «за великие на царский дом хулы» был в 1682 году сожжен, ненадолго пережив Никона. Потомкам он оставил свое жизнеописание, «Житие протопопа Аввакума», побуждающее считать его одним из величайших русских писателей за всю нашу историю. А русская православная церковь так доселе и остается никонианской.

Не удивительно, что умный и проницательный Никон, угадав желание царя унифицировать православие по греческому, принесенному учеными киевлянами, образцу, изменил первоначальным взглядам и отрекся от былых друзей. Не он первый, не он последний. Не удивительно, что тишайший и искуснейший политик Алексей Михайлович предоставил Никону провести железной рукой желанную реформу, а когда Никон сделал свое дело, заключил, что Никон может уходить, и избавился от обуянного гордыней помощника. Не он первый, не он последний. Не удивительно, что российские власти дико и беспощадно, сожжением заживо, уничтожили великого писателя, наперед озарив инквизиционным костром отечественную литературу. Не он первый, не он последний. А вот почему в Москве предпочли киевскую веру московской, все еще не вполне прояснено.

Вроде уже при Василии II Русь перешла к национал-православию, наследником которого и был Аввакум. В проповедях и исповедях, пронизывающих собственное его жизнеописание, в их могучем языке дышит национальная самобытность, и сегодня более ощутимая, чем у любого другого русского писателя. Неужто этого не ощущали современники? Разумеется, ощущали. Явись он при Василии III, когда завершалось собирание русских земель и жаждали национального единения, его бы на руках носили.

Но та пора миновала, из национального государства Русь становилась империей, покоряла не только вчерашних завоевателей или малочисленные народы, но и народы родственные, прежде всего Малороссию. Чтобы ее удержать, силы оружия было недостаточно, а единая, как считалось, вера за долгие годы разошлась довольно далеко. Русские хотели, чтобы казаки ощутили Москву своей, но и поляки отнюдь не прямолинейно их обращали в католичество, а позволяли соблюдать в униатстве все прежние обряды.

В таких обстоятельствах насаждать у них русское национал-православие значило оттолкнуть навсегда, и тишайший и тончайший Алексей Михайлович отлично это понял. Чтобы удержать Малороссию, надлежало совершить шаг назад к христианскому интернационализму. Не то чтобы восстановить единство всех христиан, но хотя бы православных, добрую половину которых уже и составляли тогда жители Руси и Малороссии. Не то чтобы восстановить на деле и вовсе отказаться от московской власти над Малороссией, но хотя бы заменить словесные и обрядовые формы, акцентирующие различия в вере, формами, обозначающими единство в ней. А власть и при этом практически удержат воеводы.

Нет причин думать, что Аввакум был против присоединения Малороссии. Едва ли. Но он был уверен, что малороссийское православие несопоставимо хуже московского, иначе господь не допустил бы разорванности и порабощения Малороссии в то время, когда Москва из худших испытаний вышла и только сильней стала. Аввакум был, выражаясь современным языком, искренним националистом, быть может, последним в России столь ярким. Понятно, что такая откровенность мешала идеологическому утверждению имперской власти, тем более что Российская

империя, в отличие, скажем, от Британской, формировавшейся тогда же, считала свои колонии не завоеванными, а свободно присоединившимися или даже исконными своими частями, пусть русским людям в иных прежде жить не доводилось, разве что путешествовать или бывать по торговым делам.

Русь впервые тогда совершила свойственное ей впоследствии отречение от национального достояния ради национального господства, от сбережения своих сокровищ ради захвата чужих, от национального достоинства ради великодержавного шовинизма, от собственной свободы ради порабощения других. При Алексее Михайловиче это случилось в первый, но, к сожалению, не в последний раз. Пламя, погубившее самосожженцев и сожженных, уничтожило последнюю преграду торжеству феодальной реакции.

Милославские и Нарышкины

Алексей Михайлович скончался в 1676 году, не дожив, подобно отцу, до пятидесяти. Цари из дома Романовых не были долгожителями, за шестьдесят перевалил один Александр II, и его жизнь прервали насильственно. Остальные умирали около пятидесяти, а нередко и много раньше. Федор Алексеевич умер двадцати, единственный успевший у него родиться ребенок – в младенчестве. Остались две семьи Алексея Михайловича: его дети от покойной первой жены Милославской и вдова Наталья Кирилловна Нарышкина со своими царскими детьми. Мальчиков от обеих было двое: пятнадцатилетний Иван от Милославской, считавшийся слабоумным, и десятилетний смысленый Петр от Нарышкиной. Приближенные Федора вместе с Нарышкиными и патриархом Иоакимом Петра и продвинули на престол, не собрав даже земский собор, правомочный выбирать царя.

Милославские подняли стрелецкое войско, и без того недовольное невыплатой жалованья и прочими злоупотреблениями своих полковников, объяснили про измену бояр, чуть ли уже не удушивших Ивана, и стрельцы пришли в Кремль. Хоть им показали обоих царевичей целыми и невредимыми, и сам Иван говорил, что никто ему зла не чинит, стрельцы поубивали «изменников», главным образом Нарышкиных, и потребовали, чтобы

короновали обоих братьев, а правила за них до совершеннолетия сестра Софья.

Власть досталась Милославским, а начальником стрелецкого войска поставили Ивана Хованского. Но стрельцы, им поощряемые, не успокаивались и требовали отменить никонианство и вернуть старую веру. Они вынудили правительницу Софью и царей беседовать с ними о вере в Грановитой палате. Поговаривали, вроде небезосновательно, что это Хованский расчищает себе путь к престолу. Тут уже сама Софья испугалась, раскольников переловили, некоторых казнили, а потом казнили и Хованского с сыном. Стрельцы утихли, и Софья правила семь лет.

Когда же Петру исполнилось семнадцать, и трудно было далее утверждать, что его и еще более старшего Ивана должна замещать правительница, противостояние опять обострилось. Ходили слухи, что Софья ждет от стрельцов, возглавленных после хованщины Федором Шакловитым, челобитной, призывающей ее венчаться на царство. Впрямь ли ждала, неизвестно, но челобитная не поступала, а сторонники Петра не мешкали. Между сестрой и братом уже вспыхивали открытые ссоры, и они боялись друг друга: у Петра было «потешное» войско, а у Софьи – стрельцы. В августе 1689-го до резиденции в селе Преображенском, где жили Петр с матерью, дошел слух, что в Москве собирают стрельцов, и Петр, не одевшись, среди ночи ускакал в соседний лес, а оттуда в Троице-Сергиев монастырь.

Слух был неверен, но Петр остался в монастыре, к нему приехали мать с женой, и понемногу стали перетекать из Москвы недовольные Софьей бояре, дворяне, стрельцы, солдаты регулярных полков и петровы потешные. Софья с Иваном остались в Москве без всякой опоры, и сторонники Петра одержали победу без оружия. Софью заточили в монастырь, а ее любовника и первого помощника, князя Василия Голицына, сослали. С той поры официально правили Иван с Петром, при том, что Иван в государственные дела не входил. Но и Петр еще не слишком ими интересовался, его занимали то любимые с детства потешные войска, то корабельное дело. А Русью правила Наталья Кирилловна с родными и патриархом Иоакимом, а после его кончины в 1690 году – с патриархом Адрианом. Так прошло пять лет до самой ее смерти в 1694 году, когда двадцатидвухлетнему Петру пришлось править.

Правления царевны Софьи и царицы Натальи почти во всем были противоположны, но, вопреки массовому представлению, именно Софья была западницей, ценила европейский опыт и хотела, чтобы Русь его перенимала. Василий Голицын выделялся своей серьезной европейской образованностью и мечтал о глубоких реформах. А матушка царя и патриархи, напротив, иноземцев не жаловали и тяготели к старым обычаям. Патриарх Иоаким полагал, что ученые киевляне чересчур занеслись в своем влиянии и привилегии их были урезаны. Они, как и призвавший их Никон, свое дело сделали и тоже могли уходить. Историк Платонов замечает, что порядки, насаждавшиеся матерью, не могли нравиться Петру, но не слыхать было, чтобы своевольный и властный юный царь поправлял матушку.

Петр

Реформы Петра остаются для историков такой же загадкой, как опричнина Ивана. А разгадка – в прямой преемственности. Петр был идеальным правителем опричного царства. По своим человеческим качествам он даже лучше для этого подходил. Оба были сыноубийцами, но Грозный убил царевича Ивана Ивановича посохом в припадке ярости, а Петр приказал удушить Алексея Петровича, обстоятельно подумав. Оба были люди талантливые. Иван с детства хорошо учился, но был затравленным и потому озлобленным ребенком. Петр, напротив, смолоду ничему не учился, но был всеобщий баловень, его любили и отец, и мать, и сводный брат Федор. Даже Софья не слишком его ущемляла и виновата разве в том, что не позаботилась об его учении, хоть, конечно, сознавала надобность дать образование мальчику, который может занять трон. Но не заводить же лишние споры с мачехой, учения не желавшей.

Ум Петра не чересчур отягощали отвлеченные понятия, какими богат семнадцатый век. Но его одаренная натура жадно воспринимала практические навыки, он набирался их и у русских, и у иностранцев из Немецкой слободы – у Франца Лефорта учился фортификации, у Анны Монс – любви, с юности учился у плотников, корабелов, токарей. И к делам государственным подходил тоже как практик, думая не о предназначениях божьих, а о

конкретных задачах, которые возникали. Главная задача была – побеждать на войне. Начиная с Грозного война – постоянное состояние, то Русь нападала, то на нее нападали. Была нужда в выходе к морю, и считалось естественным отнять его у тех, кто им владеет.

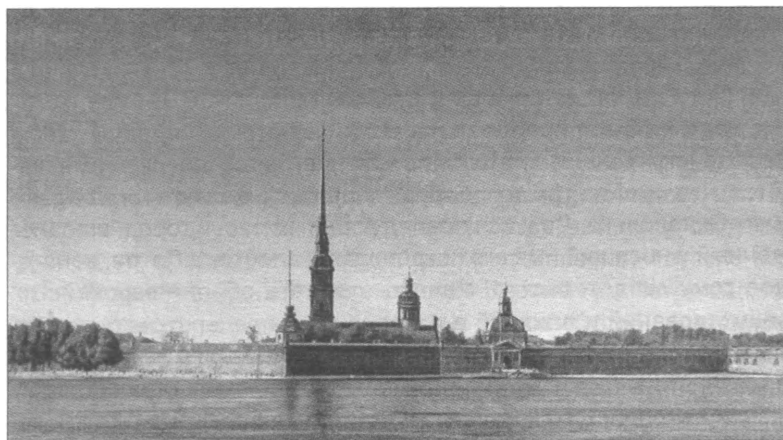
Еще казаки, захватив Азов, турецкую крепость в устье Дона, и вырезав тамошнее население, просили Михаила Федоровича о помощи, а то никак было крепость не удержать. Царь и хотел бы ее заполучить, да обескровленная смутой Русь не могла воевать, земский собор войну не поддержал, и казакам пришлось уйти. Петр сам осадил в 1695-м Азов, сперва безуспешно. Но его это только раззадорило и, настроив в Воронеже кораблей, он спустил их по Дону, опять осадил крепость, и на сей раз она быстро пала.

Теперь вся Россия должна была строить корабли, чтобы, как надеялся царь, правивший отныне в одиночку – брат Иван умер в 1696-м, – в союзе с христианской Европой отогнать от моря турок. Каждым 10 000 крестьянских дворов он велит построить по кораблю, а в Европу посылает великое посольство, в которое включает урядника преображенского полка Петра Михайлова, – то был сам царь. Великое посольство продлилось больше года. Союзников против турок не нашлось. Но на обратном пути польский король Август предложил союз против Швеции, воевать с которой еще по дороге в Европу советовал курфюрст Бранденбургский, позже прусский король Фридрих, и свои мечты о выходе к морю на юге Петр с легкостью и той же энергией перенес на Балтику.

Больше года будучи за границей, Петр без дела не сидел. В Голландии он четыре с лишним месяца работал на верфи простым плотником, потом еще четыре месяца учился строить корабли в Англии, побывал в Вене, повидал свет, познакомился с жизнью европейских дворов и простых людей и, воротясь в село Преображенское, начал преображение Руси с того, что, не повидавшись с женой, приказал свезти ее в Суздаль и постричь в Покровском монастыре, даром что царица Евдокия, в отличие от насильно постриженной там же бездетной жены Василия III Соломонии, за восемь лет до того родила Петру сына Алексея, которому, таким образом, пришлось остаться без матери. Придворным одновременно велено было стричь бороды и носить европейское платье, а годы считать не «от сотворения мира», а, как в Европе, «от Рождества Христова» и не с 1 сентября, а с 1 января.

Не забыл Петр и стрельцов, которых перед отъездом из страха отослал в Азов и на польскую границу, а те, не получая из Москвы вестей, зачем это все и что их ждет, да еще услышав, что и царь-то неведомо куда девался, двинулись к столице, где у них оставались семьи и хозяйство. Против них вышли регулярные войска, и стрельцы разбежались. Их похватили, многих тогда же казнили. Но вернувшемуся Петру было мало. Пытками добились от стрельцов показаний, что к бунту их подстрекала Софья, и хоть показания были сомнительны, Петр приказал постричь Софью в монахини, а стрелецкое войско упразднил. Две тысячи казнили в Москве, царь требовал, чтобы его приближенные, в доказательство верноподданности, тоже рубили головы, и рубил самолично, остальных разогнали, запретив брать их в солдаты. С этим и начали Северную войну.

Осадили Нарву. Карл XII легко разгромил нападавших, но, как и при Азове, Петра это лишь побудило дальше укреплять армию, продолжая войну более двадцати лет, почти все свое царствование. Боевые действия сперва велись совместно с союзными, прежде всего, польско-саксонскими, а временами и датскими, войсками. Одновременно самостоятельно вели бои за Балтийское побережье, которым пытался овладеть еще Грозный. Тут Петр вскоре преуспел и неподалеку от устья Невы в 1703 году поставил Петропавловскую крепость, вокруг которой основал город Санкт-Петербург, укрепив его еще крепостями Шлиссельбург у истока Невы



Петропавловская крепость в Петербурге. Начало XVIII века

и Кроншлот (впоследствии Кронштадт) на острове Котлин перед ее устьем, и никогда чужие войска в новый город не вступали.

Хоть Карл XII легко побеждал союзников Петра, надежда победить и его рухнула уже в 1709 году. Шведский король понадеялся на изменившего Петру украинского гетмана Мазепу, но под Полтавой шведов разгромили. Там кончилась их, прежде громкая, военная слава. А в 1714 году при Гангуте был разгромлен и отличный шведский флот. Война, однако, продолжалась даже и после Карла, умершего в 1718 году, и только в 1721-м окончилась тем, что шведы навсегда признали российскими владениями Лифляндию, Эстляндию и часть Карелии с Выборгом, а им была возвращена Финляндия, захваченная Петром по ходу войны.

Празднуя победу, Петр провозгласил страну Российской империей, принял титул императора всероссийского, а сверх того был провозглашен «Великим» и «отцом отечества». Отца стали чтить выше отечества, в воинской присяге о верности отечество уже не поминали, присягали царю. Минин и Пожарский, вставшие за родную землю, остались в прошлом. Не то теперь было важно, родная земля или чужая, а желание ею обладать. В Северной войне этот принцип восторжествовал. Но судьбу страны изменила не столько сама победа, сколько то, что царь проделал ради победы.

Куда прорубил окно

Петр слывет величайшим русским западником. Спорят, правда, надо ли было преобразать якобы азиатскую страну в якобы европейскую, полезно это было или пагубно. Но редко сомневаются, что именно такое преображение было целью этого выдающегося человека. Да и вся последующая жизнь, и город, им заложенный и носящий имя его покровителя, апостола Петра, наглядное тому свидетельство. Нелепо отрицать обилие европейских заимствований и влияний в петровской и послепетровской России. Но хоть и любопытно, что было целью царя, еще важнее видеть, что он реально сделал. Одно несомненно: оценив достижения европейского хозяйства и созданных на его основе вооружения и флота, он решительней предшественников совершенствовал российскую армию и строил флот.

В военных преобразованиях Петр был прямым последователем отца и деда, превосходя их не так оригинальностью, как размахом и пониманием того, что военное развитие обусловлено хозяйственным, да и общекультурным. Самоучка-прагматик, он оценил важность образования, не отождествлял его со схоластикой и стал его насаждать, успев перед смертью



*Петр I на набережной.
Картина В. А. Серова*

даже основать Академию наук. Не зря Петру приписывают многие европейские начинания царевны Софьи, Алексея Михайловича, Годунова, Грозного или даже Ивана III. Он и впрямь начатому другими «придал мощно бег державный», не стоит это забывать.

Он мечтал, чтобы Россия широко пользовалась плодами европейского развития и набиралась европеизма в деталях. Это, однако, не предопределяло его отношение к основам европеизма, к основам новой европейской жизни, в XVII веке уже обозначившимся, но царя не слишком занимавшим. Простота его поведения, готовность к физическому труду и общению с разными людьми создали ему ореол демократа. Но судить, в какой мере оно так, можно лишь по установившемуся при нем образу жизни.

За четыре года до рождения Петра в Англии произошла так называемая «Славная революция», отстранившая Якова II, возрождавшего абсолютизм. Да и в других странах всё лучше понимали, что государству надлежит защищать интересы не одной королевской фамилии и даже не только правящего класса, но, так или иначе, и других жителей страны. Люди всё чаще задумывались, что составляет их общий интерес. Конечно, к осознанию взаимозависимости людей и на западе Европы при Петре еще не вполне пришли, сочинение Жан-Жака Руссо «Об общественном договоре», где обозначены пределы, за которыми власть теряет оправдание, появилось лишь через тридцать шесть лет после его смерти. Но ощущение взаимозависимости уже отчасти присутствовало в социальных компромиссах, на которых держался не только английский, но и французский абсолютизм. А наш

абсолютизм был заведомо бескомпромиссен, Иван IV считал Русь своей вотчиной, а своих подданных – холопами. Петр называл подданных гражданами, а власть над ними числил принадлежащей не себе, а государству, которому и сам беззаветно служил. Но новые слова мало что меняли в реальном положении людей.

Петр хотел обладать сильной военной державой и преобразовывал страну не затем, чтобы облегчить людям жизнь, как случалось в Европе, а до Грозного и на Руси, но, напротив, понуждал людей жить для державы, забыв о самих себе. Его понятия о власти не отличались от Ивановых при учреждении опричнины. Власть всецело принадлежала царю, хоть он частично и перестраивал ее бюрократическую службу, как теперь говорят, «аппарат». Петровские реформы по преимуществу переодевали власть из кафтанов в камзолы. Только управление церковью было перестроено радикально.

После смерти патриарха Адриана (1700) рязанский митрополит Стефан Яворский был временно посажен патриаршим местоблюстителем и просидел им до окончания войны в 1721 году, когда вместо патриаршества в ряду других петровских коллегий, заменивших прежние приказы, была создана и духовная, названная Синодом, и Яворский стал ее президентом. К Синоду был представлен обер-прокурор. Но, обладая всей патриаршей властью, Синод, наравне с другими коллегиями, находился под надзором Сената и генерал-прокурора. И речи больше не было о равенстве светской и духовной властей, царя и патриарха, двух великих государей, да и царю церковь теперь подчинялась даже не напрямую, а через высшие светские учреждения. К светской власти перешло и управление обильными церковными землями. Монастырский приказ собирал их доходы в казну, а она уже выплачивала духовенству, что считала нужным. Да и прочие льготы ему были сокращены, а то и вовсе отменены.

Но не только церковь потеряла всякую самостоятельность. Светские сословия тоже утратили даже ее видимость. Уже не созывались ни Земские соборы, ни даже Боярская дума. Царь слушал только советы приближенных. В 1711 году он учредил Сенат из девяти человек, решения которого считались законными лишь при единогласии. Но Сенат не стал законодательным органом и лишь наблюдал за точным исполнением царских законов и указов, а также служил верховным судом. В 1722-м была

учреждена уже помянутая должность генерал-прокурора с особой прокуратурой, наблюдавшего за действиями всей администрации, включая Сенат. А сверх того за всеми должностными лицами был установлен еще и тайный надзор фискалов в разных чинах, вплоть до генеральских.

С 1718 года создавались коллегии: военная, морская, иностранных дел, камер-коллегия и штатс-коллегия, ведавшие доходами и расходами, и ревизион-коллегия, осуществлявшая финансовый контроль, а также коммерц-коллегия, ведавшая торговлей, мануфактур-коллегия и берг-коллегия, ведавшие промышленностью, юстиц-коллегия, надзиравшая за судами, Главный магистрат, направлявший жизнь городов, и, наконец, духовная коллегия, Синод. Еще в 1708 году царь поделил Россию на восемь губерний (число которых, впрочем,росло), возглавлявшихся губернаторами или генерал-губернаторами, подчинявшимися Сенату. Во главе провинций, на которые делились губернии, ставились коменданты (воеводы), и при них завели избираемые дворянами ландраты. Вся эта стройность, правда, существовала больше в воображении Петра, чем в реальности, достаточно пестрой и хаотичной.

Обязанности подданных также регламентировались. Поскольку самое важное дело – военная служба, для служилого сословия, дворян, установили всеобщую воинскую повинность, уклониться от которой было невозможно. На службу их теперь принимали нижними чинами, а кто такой службы не прошел, не мог стать офицером. Для остальных сословий, за вычетом духовенства, призыву не подлежавшего, практиковался рекрутский набор – с двадцати дворов брали одного рекрута. Петр создал огромную армию, более чем в 200 000, не считая 30 000 моряков и около 75 000 казаков.

Все прежние служилые сословия были объединены в единое дворянство, как тогда говорили, шляхетство. На службе различие между знатными и незнатными официально упразднилось, и каждый мог выслужиться согласно введенной Табели о рангах от четырнадцатого чина до первого, установленных не только для военной, но и для штатской, канцелярской, службы. Дворянам вменялось также в обязанность учиться чтению, письму и счету, иначе нельзя было не то что чин получить, но и жениться. Свои земли, как вотчины, так и поместья, разница между которыми стиралась, чтобы их не дробить, дворянин теперь мог передать

лишь одному из наследников, как правило, старшему сыну. Продавать земли и вместо службы жить на полученное за них строжайше запрещалось.

Но за службу Петр поместий уже не давал, а платил жалованье. Земли дарили за особые заслуги и тогда уже с крестьянами. Дворяне имели привилегию поступать в гвардейские Семеновский и Преображенский полки, особо любимые царем и стоявшие в столице. Гвардия состояла почти сплошь из дворян, носивших зачастую княжеские фамилии, образуя привилегированный слой дворянства, а тем самым и общества. Верхушка служилого слоя осталась, как прежде, верхушкой общества, но стала, как и все дворянство, менее самостоятельна, больше зависела от царской воли. Знать по наследству заменялась знатью по назначению.

Более зависимы от господ стали и крестьяне. Податная реформа установила вместо подворной подати подушную, которую теперь полагалось платить не за крестьянское хозяйство («двор»), сколько бы в нем ни числилось людей, а с каждой головы. При этом уже не различали зависимых крестьян и холопов, прежде как собственность своих господ, никакого касательства к государству не имевших и податями не облагавшихся.

В 1718 году затеяли перепись тяглых людей, и всех взрослых мужчин записывали в «сказку», потом провели проверку этой переписи, ревизию, и самую перепись стали именовать «ревизией», составленные списки – «ревизскими сказками», а перечисленных там людей – «ревизскими душами». Это наименование крепостных установилось за сто с лишним лет до Чичикова. Поскольку «ревизскими душами» одинаково стали и холопы, и зависимые крестьяне, разница меж ними исчезла – барин, одинаково плативший подать за тех и других, одинаково использовал их на барщине. Зависимых крестьян погнали на барское поле, и фактически крестьянин стал неотличим от холопа.

Посадские люди лишь после 1649 года юридически составили особое сословие. Петр, пораженный ролью городов и горожан на западе, хотел от них и в России столь же разнообразной продуктивности. Он предоставил горожанам ряд льгот, дозволил известное самоуправление. В 1720 году учредил Главный магистрат в Петербурге, призванный определять порядок и для других городов. Но эффект оказался небольшим, а во многом проти-

воположным желаемому. Прежде всего потому, что без внимания осталось различие меж средневековым городом посадских людей, ремесленников и торговцев и промышленным городом, который как раз и возникал у нас при Петре. А создание промышленности, призванной вооружить, одеть и снабдить всем необходимым армию, было опорой всех других свершившихся и не свершившихся перемен.

После поездки Петра за границу за тридцать без малого лет было создано двести мануфактур, то есть в десять раз больше, чем было прежде. Хозяйство совершило прыжок, какого никогда не совершало. Он-то и придал российской армии невиданную силу и позволил ей побеждать. Петр надеялся, что промышленность сотворит из старой Руси сильную военную державу, и этот его ближний расчет вполне оправдался. Можно долго рассказывать, какие земли русская держава в результате завоевала, какие народы покорила. Об этом охотно говорят, этим нередко гордятся, и ведь, в самом деле, завоевала и покорила, и уже не только разрозненным и слабым племенам на востоке, но и старым европейским королевствам пришлось к ней прислушиваться и с ней считаться, а то и покоряться. Другое дело, чем Россия оплатила свой прыжок, что она на него потратила, что из-за него потеряла. Это подсчитывают реже, а говорят еще реже.

Не то, понятно, худо, что по примеру западных держав развивали промышленность, а то, что развивали ее совсем по-иному, делали то, чему учили, да не так, как учили. Петр внимательно изучал в Голландии и Англии технику и технологию производства. Меньше внимания он уделял тому, как оно организовано и устроено. Не придал он значения и тому, что разные мануфактуристы там соперничали друг с другом, стараясь выпускать товары получше и подешевле, чтобы их побыстрее продать и побыстрее заработать. Не задумался он и о том, что простые рабочие, с которыми он трудился рядом, а то и кружку пива или чего покрепче вместе пропускал, были свободными людьми, нуждавшимися в работе, но не привязанными к ней крепостными узами, не принял во внимание, что развитие промышленности создавало там новый, все увеличивавшийся, слой людей, свободных от феодальной зависимости.

Вернувшись домой, Петр создавал у нас то, что видел там, за что ему была бы только честь и хвала, да делал он это, как

исстари повелось. А уже и крестьянская феодальная зависимость к той поре у нас, по сравнению с западом, ожесточилась. Фридрих Энгельс, которого в России долго почитали за пророка, а нынче и не вспоминают, называл это ожесточение «вторым изданием крепостного права». Оно ведь имело место не только в России, но и в Польше, и в Пруссии, и в других странах к востоку от Эльбы, хоть именно у нас зашло дальше всего. О том, как отвечало на это российское крестьянство, речь впереди. Но в Пруссии хотя бы промышленность зажила иной, чем прежде, жизнью. А у нас именно что и новое жило по-старому.

Поскольку развитие промышленности диктовалось военными нуждами, им занималось государство. Оно не просто поощряло, а само создавало предприятия, и уже одно это превращало промышленное производство в государственную монополию. За пять лет построили более десятка металлургических заводов, а имея в достатке металл, наладили производство отличного собственного оружия в Туле, издавна этим славившейся, в Сестрорецке и других местах. Будь речь только об оружии, да еще во время войны, можно бы и закрыть глаза на оборотную сторону такого производства. Но и все вообще производство, так или иначе, становилось объектом государственной монополии или регулирования. Когда вводили монополию на соль, цена ее подскакивала в два раза, а на табак – так и в восемь раз. Купец в этой ситуации был кругом зажат казной и полностью от нее зависел, и петровское время разорило русское купечество. Да и сами торговые компании сколачивались теперь под государственным воздействием.

Петр к тому же норовил подчинить хозяйственные соображения политическим, к примеру, всячески ущемлял торговлю через испытанный порт Архангельск, поощряя зато ввоз и вывоз товаров через Петербург. Архангельск и работавших там купцов он разорил быстро, а петербургскую торговлю наладили далеко не сразу, поскольку не было для нее условий и не так легко было их на новом месте создать. Огромные подати и множество натуральных повинностей не давали частному предпринимателю развернуться. А без конкурентной борьбы, при гарантированном государственном заказе, российская промышленность, начавшая на передовом для той поры уровне, вскоре стала сдавать.

После победы в Северной войне Петр, видя убыточность государственных предприятий, вроде бы пошел навстречу частным

производителям, пошел даже на, так сказать, приватизацию или сдачу госпредприятий в аренду. Но и арендуемым, и даже частным предприятиям приходилось нелегко. Постоянное государственное регулирование, неуклонные указания сверху, что и где производить, что и где покупать, что и где продавать, были разорительны. Петр это даже как бы понимал, ощущал необходимость послаблений и вроде сокращал прямое принуждение, но он создал такую систему регламентов и проверок, что положение по существу не облегчалось даже его вмешательством.

Казалось бы, государственное регулирование в XVIII веке велось повсеместно, но та особая категоричность и жесткость, с которыми оно велось в России, преграждала путь частному предпринимательству и тормозила развитие буржуазных начал. Первое, что им необходимо, это экономическая свобода, возможность для частного человека становиться предпринимателем на свой страх и риск. На западе не так власть поощряла предпринимателей, как они добивались от власти строгого порядка и законов, позволяющих строить и создавать без опасения, что построенное и созданное у тебя вдруг отберут, как в любую минуту могла что угодно отобрать наша власть. А у нас и само разрешение на открытие предприятия именовалось «привилегия», это и была привилегия, доступная не каждому.

Никите Демидову, некогда тульскому кузнецу, умелому оружейнику, Петр в 1702 году – еще война была в самом разгаре – отдал Невьянский металлургический завод потому, что ему верил. А другому кому самому построить такой же завод на собственные деньги не дозволялось. Вот и выходило, что Петр по примеру капиталистической Голландии или Англии строил заводы, а капиталистов не заводил, недаром и Демидовы, и Строгановы, и другие хозяйственные дарования тех лет становились баронами и графами, вращались в дворянское, феодальное сословие. И как служилые дворяне они получали привилегии, но как предприниматели не были свободны.

И точно так же, в отличие от английских и голландских, не были свободны их рабочие. Сперва, да еще после смуты, немало было людей, как говорили, «гулящих», никому ничем не обязанных, или даже беглых, но оторвавшихся от родных мест. Они поначалу и нанимались на заводы, овладевая рабочими профессиями, как везде и бывало. Но уже с введением подушной подати

начали отлавливать беглых, ведь помещику за них приходилось платить подать, а они не у него землю пахали, а работали где-то на уральском заводе неизвестно на кого. Ситуация сложилась острая: выловишь беглых – заводы придется остановить, а ежели их не ловить – служилые владельцы земель обидятся, а их обижать не годится, не то верность государю ослабеет.

Петр своим незаурядным умом это противоречие вполне сознавал и издал один за другим два указа. По первому, от 18 января 1721-го, владельцам мануфактур разрешалось прежде дозволенное только дворянам – владеть крепостными и прикупать их к своим заводам хоть целыми деревнями. Настроив заводов, Петр должен был определить, какова их социальная природа, не тянут ли они страну к новому, буржуазному порядку, и он действовал предельно ясно, обратив своим указом всякий завод как бы в разновидность феодальной барской запашки, на которой крепостные выполняют барщину.

А год спустя, 15 марта 1722 года, последовал и второй указ, которым царским ревизорам предписывалось беглых крестьян, обнаруженных на заводах, записывать за теми помещиками, от которых они бежали, но с заводов все же не увозить. Пусть на заводе работают, но из зарплаты своей скудной пусть выплачивают оброк прежнему барину. Этот указ, в отличие от первого, не так строго соблюдался, переписав беглых, их часто все-таки увозили, хоть Петр и бывал недоволен, но его окружение и подчиненные больше сочувствовали помещику, чем заводчику. Да и завод, по их понятиям, уместен был при вотчине, а сам по себе, как самостоятельное занятие предпринимателя, его затеявшего, или рабочих, у него работавших, в их головы не укладывался.

Петр Великий, сознававший нужду в этих заводах и усердно их строивший, так и не отвел им в своей империи законного места, а предпочел приравнять к привычным поместьям и вотчинам. Это и было торжеством феодальной реакции в самом прямом смысле. Она дала себя знать уже при Иване IV, когда прежние феодальные зависимости превратились в наново установленное крепостное право, в безграничное отягощение гнета, подтолкнувшее смуту. Но тогда феодальная реакция бесчинствовала еще как бы на своей феодальной, сельско-хозяйственной территории. При Петре она навязала свои установления новым промышленным предприятиям, по природе буржуазным, скрутила

их в бараний рог и наперед переиначила, переиначив этим всю нашу последующую жизнь.

Нам все объясняют, что Русь изначально отстала от западных стран, но (не возвращаясь к тому, что не так Русь и отстала) почему Англия, отставшая в развитии феодализма, опередила других в развитии капитализма? Да потому, что там никто это развитие искусственно не тормозил. Вот и беда России не в отставании, а в торможении, и, как это ни парадоксально, самые эффективные тормоза на пути к европейским порядкам установил Петр. Поздней (указом 1723 года) он фактически даже запретил свободный наемный труд и работать на заводах дозволил лишь собственным крепостным владельца да еще направленным туда специально для выполнения госзаказов. На временную работу допускались крестьяне-«отходники», имевшие на то особое разрешение своего владельца и паспорт. Никакого тебе пролетариата, а без него и никакого капитализма.

Заводчики Демидовы преуспели не только прямыми милостями государя, но и подневольным трудом крепостных рабочих, которые не могли перейти к конкуренту, платившему больше. Подчас это были прекрасные мастера. Левша, изображенный Лесковым, демонстрировал умение подковать блоху уже в XIX веке, но такие искусники бывали на демидовских и подобных заводах уже в XVIII, да только и у них механические блохи нередко переставали ходить, и российская промышленность росла, да все оглядывалась на запад, что там новенького, что бы еще перенять. Вот и вся Россия стала при Петре гигантским демидовским заводом.

Военный пример частной жизни

Петр не зря еще мальчиком вел «потешные» бои, а потом всю жизнь воевал. Армия была его идеалом на все случаи жизни. Убеждение, что армия, если ее хорошо вооружить, снабдить и верно направить, способна разгромить любого противника, переросло у него в убеждение, что таким же образом можно одерживать победы в хозяйстве, культуре и даже духовной жизни. Не случайно простые люди порой считали его антихристом – главная забота Христа, душа человеческая, была ему глубоко чужда и постоянно мешала.

Человек, верующий в армию, в методы, иногда плодотворные для экстенсивного развития, он надеялся стимулировать ими развитие интенсивное. Побывав и в Голландии, и в Англии, он не заметил, что достижения, которыми он там восхищался, были плодами самодеятельности людей, а отнюдь не выполнения спущенного сверху указания, вроде тех, которые он сам рассылал по России. Демидовские заводы тоже ведь были частями трудовой армии. Историк Ключевский заметил, что Петр «хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно». Но, строго говоря, и эта надежда посещала его лишь в минуты просветления, а жил он в убеждении, что русские люди «никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают», и риторически вопрошал: «из всех дел не все ль неволею сделано?»

Проще всего сказать, что консервативная матушка Наталья Кирилловна не те навыки привила любимому дитяти, и в глубине души реформатор оказался консерватором. Но какой он консерватор, если страна вскоре оказалась в первом составе европейского концерта, и не только по силе оружия, но и по бурному развитию искусства и научным достижениям, и наново заблистал ее давно, казалось, сношенный европеизм. Нельзя не признавать, что Петр принес в Россию прогресс. Да только построил этот прогресс на фундаменте глубочайшей реакции, отчего поздней долго спорили, считать ли петровский прогресс реакционным или, напротив, насажденную Петром ради прогресса реакцию прогрессивной.

Однозначного ответа не было, только время могло рассудить, плодотворен ли прогресс, кормящийся реакцией, и сводится ли общественный прогресс к техническому, и состоит ли только в заимствовании колеса, или паровой машины, или компьютера и овладении новой техникой. Петр явно был убежден, что дело за этим, а какими способами будут техника и владение ею внедряться, значения не имеет. Едва ли он, упреждая Маркса, верил, что развитие производительных сил само, революционным или иным путем, преобразит под стать себе формы общества, но, подобно Ленину, он явно верил, что никакие формы общества не препятствуют максимальному использованию техники, что крепостное состояние или как-то иначе оформленный принудительный труд – всеобщему счастью не помеха.

Петр искренне считал себя реформатором и, в самом деле, был им, да только жизнь, к которой он мечтал привести страну,

была не той реальной несовершенной, даже трудной, но плодотворной, жизнью, какую он увидел на западе, а ее усовершенствованным утопическим преобразованием, в котором сложное взаимодействие побуждений и стимулов, приведшее к тамошней реальности, царь намеревался возместить указаниями и насилием. Как всякая утопия, по-иному, чем ждали, реализовалась и петровская утопия военного примера частной жизни. После него правила гвардия, сажавшая на троны «царей, а более цариц».

Умирая, он, согласно легенде, на грифельной доске или на бумаге написал, а по другой версии сказал: «Отдайте все...» — и лишь не успел дописать или договорить имя. Создатели легенды велят нам думать, что Петр знал, кому «отдать все», да вот минутки не хватило сообщить. Между тем Петр долго думал, издал даже Указ о престолонаследии, чтобы никакие обстоятельства, кроме его императорского величества собственной воли, на выборе преемника не сказались. Но не мог определить собственную волю.

Это тоже объясняют случайностями. Сын Алексей, которому царь запрещал даже видаться с матерью, отправленной в монастырь, «почему-то» вырос таким, что нельзя ему было оставлять все. Стал не бесчеловечным, как отец, а слабым и безвольным невропатом. Пришлось любящему отцу его убить. Но и другие возможности не обольщали. Ну, понятно, внук, сын убитого сына, которому и без Указа о престолонаследии все бы досталось, мог, памятуя о своем отце, вырасти противником Петра и в наследники не годился. Опять же Екатерина, жена, — которую вроде бы царь и намечал в наследницы, как ни мало она для этого подходила, и менее чем за год до смерти, весной 1724, даже особо короновал, — как осенью выяснилось, изменяла державному супругу с родным братом его первой любовницы, Анны Монс. Красавца-любовника царь казнил, но доверия к жене это не прибавляло. Была, конечно, старшая дочка, Анна, которую отец и впрямь любил, и сама она была в отца, разумная и с твердым характером. Всем бы хороша, возможно, именно ее имя и стояло в уничтоженном поздней завещании, но когда отец умер, ей едва исполнилось шестнадцать — не лучшая пора, да еще тогда, для женщины стать самостоятельным политиком.

Но и выходя за пределы семейного круга, мы не обнаружим никого, кому царь мог бы — а это по Указу зависело лишь от него —

безбоязненно доверить царство, и это уже не случайность. У Петра не могло быть индивидуальных наследников. Роль, которую он исполнял в построенной им государственной машине, никто другой исполнять не мог, поскольку Петр был ее движущей силой, мотором, а наследник, в лучшем случае, стал бы хранителем. Но хранить нетронутую машину, принесшую не только достижения стране, но и разорение народу, было невозможно. Первое, что стали делать преемники еще не погребенного Петра, – хоть как-то облегчать подати. Платить их было некому и нечем.

И все же наследник царю сыскался, он был частью его наследства, состоявшего не только из молодого города и новых кораблей. Петр вырастил и сформировал новый общественный слой – опору империи и, одновременно, смысл ее существования, хоть, возможно, и не ставил это своей целью и даже не думал об этом. Его естественным наследником стала гвардия, обладавшая силой оружия, не только побеждавшего на полях сражений, но и разрешавшего внутренние проблемы и противоборства. Конечно, гвардейцы Петра в этом качестве не отличались от опричников Ивана и были их преемниками и продолжателями, хоть и более благовидными. Но те на поле боя ничего не стоили, а эти и впрямь нередко бывали героями и одерживали победы в нескончаемых войнах, чем и прославились. А заслуженная слава обернулась легендой, будто бесстрашный герой, то и дело жертвующий жизнью для блага отечества, тем более послужит его благу, когда в подобных жертвах нужды нет.



*Историк
Василий Осипович
КЛЮЧЕВСКИЙ
(1841–1911)*

*Глава
пятая*

НЕУДАЧА КНЯЗЯ ГОЛИЦЫНА

Гнездо Петрово

Время после Петра именуют временем временщиков. Или временем государственных переворотов. Или переходным периодом. Конец его обозначают то возведением на трон Елизаветы, то Екатерины II, что, пожалуй, верней. Екатерина II завершила начинания Петра по объективному их смыслу, хоть и не совсем так, как виделось ему самому. Но уже в промежутке между 1725 и 1761 годами обозначились существенные черты новой России, сотворенной Петром. То были еще только наброски, рядом прорезались и несвершившиеся варианты развития, еще возможного после деяний, поднявших страну на дыбы. До Екатерины II ни современники, ни позднейшие историки, не очень-то еще различали, к чему дело клонится.

Крупные реформы обычно не просто переустраивают и расширяют страну или укрепляют ее армию – и то и другое Петр сделал, и очень лихо, – но придают ей новые импульсы самодвижения. Это не вышло. Чтобы страна развивалась, чтобы в ней возникало что-то новое и живое, надо было и дальше ее непрерывно подталкивать. Петровская империя знала один импульс – могучую царскую волю. Когда ее не стало, выяснилось, что сама по себе новая система не только не работает, но постоянно подсекает собственные опоры. Меншиков заставил других соратников царя обсуждать проблемы престолонаследия в присутствии Преображенского и Семеновского гвардейских полков и этак возвел на трон Екатерину, при которой стал первым человеком. Но ни он, ни, тем более, другие в разоренной стране с неэффективной

властью не могли придумать лучшего, чем припоминать, как шли дела до Петра, и возвращаться к прежнему порядку.

А не то чтобы намерения Петра были плохи! Вводя, к примеру, коллегиальное управление, Петр полагал, что мнения складывающиеся при обсуждении разногласий, полнее учтут нужды реальности. И был бы кругом прав, кабы члены созданных им коллегий были независимы, представляли разные интересы общества, которые надлежало соразмерно совместить! Людская независимость держится не одним лишь моральным долгом, ее вскармливает социальное устройство. А в петровском служилом государстве, нацеленном на исполнение единой царской воли, как не смотреть президенту коллегии в рот? Фактически торжествовало единоначалие, да только людей стало занято несоборно много, а всем плати жалованье. Вот после смерти Петра и сокращали коллегии.

Не вполне было ясно, зачем вообще платить чиновникам, имеющим дело с людьми. Прежде приказные не от царя, а от челобитчиков кормились, и взяточниками их считали, только если, взяв деньги или борзых щенков, они поступали не по закону. Таких, понятно, осуждали. Но ежели все по закону, за что казне чиновнику платить? Прежние власти не считали это нужным. А Петр, насмотревшись на запад, стал им платить, чтобы работали на государство. Но кто взятки брал, тот и будет брать, взяточничество не от повышения жалованья сокращается, а от того, что сокращаются возможности чиновников разрешать и запрещать, а в петровском служилом государстве они, наоборот, еще больше возросли.

Вот и выясняется, что содержанием петровских реформ было не создание новой системы хозяйственного развития, не придание ей самодвижения, а ожесточение в новых формах и под новыми названиями старой системы. Петр, будучи по-своему идеальным государем, самоотверженно трудившимся над построением государства, способного безотказно выполнять его волю, был убежден, что дело лишь за тем, чтобы и государственные служащие трудились не менее самоотверженно. Он и подумать не мог, что осуществлению царской воли препятствует что-то кроме нерадивости.

Его супруга и сама не была на троне столь усердна и от приближенных не требовала невозможного. Она отлично пила и

ела и в сорок с небольшим великолепно проводила время с Рейнгольдом Густавом Левенвольде, бывшим почти десятью годами моложе и в государственные дела не вникавшим. От своей приятной работы он разве что иногда уставал. Государыня даже признала своих родственников, при жизни Петра тщетно ждавших от нее помощи, и сделала братьев графами Скавронскими.

Ей было не до страны, страной правил старый друг Меншиков. А он понимал, чем держится, и всегда заботился, чтобы распоряжения либо прямо исходили от государыни, либо ею подтверждались. Меншиков не претендовал заменить в государственной машине Петра. Человек из низов, взлетевший ввысь по знакомству с будущим царем, он был реалистом – его беспокоила собственная участь. Он сознавал, что государыня государя не заменяет, и старался ладить с людьми заметными.

Как бы императрице в помощь в феврале 1726-го создали Верховный Тайный совет, куда наряду с Меншиковым вошли президент Адмиралтейской коллегии Апраксин, канцлер Головкин, вице-канцлер Остерман, а также, по желанию императрицы, не разделявшемуся Меншиковым, герцог Голштинский, к тому времени уже супруг царевны Анны, и, сверх прочих, князь Дмитрий Михайлович Голицын, далекий от служившей царице компании.

Самый состав Совета, потом пополнявшийся и менявшийся, говорит о компромиссе разных групп правящего слоя и – что было важно Меншикову – о взятии ими на себя известной ответственности за происходящее. Понятно, заметнее стали и споры их меж собой, особенно остро шедшие меж герцогом Голштинским, поддерживаемым позднее включенным в Совет главой Тайной канцелярии Петром Толстым, и самим Меншиковым, которого уличали в казнокрадстве. Но сторонники Меншикова были в большинстве, да и Совет был лишь помощником императрицы, без одобрения которой его постановления не имели практических последствий.

Но здоровье царицы, а его она сама с приятностью разрушала, – пугало



*Князь
Дмитрий Михайлович
Голицын (1665—1737)*

Меншикова больше, чем споры в Тайном совете, поскольку тайной не оставалось, но его деятельный ум нашел спасение. Прежде Меншиков и сам помнил и другим императорским сановникам неустанно напоминал об их участии в убийстве царевича Алексея, отца царевича Петра. Но поняв, что после смерти Екатерины у царевича не будет сколько-нибудь серьезных соперников, светлейший князь решил одолеть терзавший его страх перед расплатой неожиданным способом: женив Петра на своей дочке.

Дочка, правда, была обручена с Петром Сапегой, сыном видного польского вельможи, да и мысль стать царским тестем даже для Меншикова была дерзка. Подтолкнула случайность, дочкин жених приглянулся императрице и пребывал у нее в спальне, пока Екатерина не умерла. Зато, когда Меншиков заговорил с царицей о браке дочери с царевичем, чувство справедливости побудило ее согласиться.

У других претендентов гнезда Петрова, начиная с Толстого, это, как и сам переход Меншикова на сторону царевича, воодушевления не вызвало. Намерение передать трон Петру II было не по душе и принцессе Анне с мужем, они умоляли царицу завещать престол младшей дочери Елизавете.

Но Меншиков не бездействовал, он лично арестовал петербургского генерал-полицимейстера Девиера, приходившегося ему зятем, тот под пыткой показал на Толстого, которого обвинили в заговоре. 6 мая царица наказание одобрила, заменив, правда, смертный приговор пожизненной ссылкой. И вечером умерла.

Внук

Но перед смертью она успела подписать еще один документ, именовавшийся Тестамент, завещание, по которому царевич становился наследником, а на время его малолетства править надлежало Верховному Тайному совету, включавшему не только Меншикова, но и герцога Голштинского, а также царевен Анну и Елизавету. Там же было указано, что если царевич умрет бездетным, трон переходит к царевне Анне и ее мужским потомкам, а буде таковых не окажется, то к царевне Елизавете. Впрочем, Анну с герцогом Голштинским Меншиков к лету уже выжил из России, а на коллег по Тайному совету не чересчур оглядывался.

Еще в конце мая совершилось обручение его шестнадцатилетней дочери с новым царем, без малого двенадцатилетним. А еще раньше, через неделю после смерти царицы, светлейший князь получил, наконец, долгожданный чин генералиссимуса.

Меншиков поселил царь-мальчика у себя во дворце, но как ни старался привязать его к себе, ничего не вышло.

Не нравилась ребенку и невеста. Он проявлял своеволие, на лето поехал в Петергоф, а не, как звал Меншиков, к нему в Ораниенбаум и в сентябре не вернулся к Меншикову, а поселился в Летнем дворце. 8 сентября Меншикова подвергли домашнему аресту, а на следующий день лишили всех чинов и орденов и сослали в Сибирь, в город Березов, где он через два года и умер. А двор вскоре перебрался в старую столицу, в Москву.

На юного царя теперь все больше влиял молодой человек из родовитой фамилии – Иван Долгорукий, обольщавший ребенка соблазнами юности, не отягощенными моралью. По-прежнему его торопились женить, но уже на Екатерине Долгорукой, бывшей лишь годом моложе Марии Меншиковой, зато дело не ограничилось обручением, а шли поспешные приготовления к свадьбе. Долгорукие торопились, поскольку не совсем еще заглохла идея женить Петра на цесаревне Елизавете, этого, впрочем, не желавшей. А мальчику нравилась охота, которой он отдавал много времени. Но в январе 1730-го у него вдруг обнаружилась оспа, и четырнадцати лет юный император неожиданно скончался.

Анна Петровна, по завещанию Екатерины наследница, к тому времени уже больше года как тоже умерла, оставив младенца, через тридцать лет ставшего-таки российским царем Петром III. Но в тот момент мысль о нем или о следующей, по завещанию, наследнице, его тетке Елизавете, не владела ни знатью, ни гвардией, поскольку их воцарение явно означало приход новых лиц, которые станут за них править. А Долгорукие, чтобы не упустить почти обретенную власть над империей, но-



*Меншиков в Березове.
Картина В. И. Сурикова*

ровили посадить на трон так и не состоявшуюся императорскую супругу из своей фамилии. Даже подделали завещание в ее пользу, будто бы подписанное умирающим подростком. Но в их собственной семье некоторые, как фельдмаршал Василий Владимирович, понимали, что такое не пройдет, и не поддерживали родню.

Тем более это понимали другие, и хотя вместе с законным наследником, полуторалетним Петром III, могли нахлынуть голштинцы, было очевидно, что совсем новую династию на трон не посадить. Здесь-то неожиданно и сыграл не предполагавшуюся роль Верховный Тайный совет. В царствование Петра II он был все тем же подсобным инструментом, что при Екатерине, хоть решал больше дел. Верховодили там Долгорукие. Но поскольку их надежда сделать государеву невесту государыней рушилась, споры о престолонаследии оживились, и новую инициативу проявил старейший по возрасту член Совета, князь Дмитрий Михайлович Голицын.

Кондиции

Голицыны были гедиминовичи и уже не раз подавали голос в трудные для России часы. Один в смутное время был среди кандидатов на трон, другой – фактически правил страной при царевне Софье. Трудно судить, в какой мере князь Дмитрий, тогда уже старик, внося свои предложения, рассматривал их как дорогу наверх для себя, но он, конечно, хотел иного, чем настало. Он был человек начитанный, владелец едва ли не лучшей тогда в стране библиотеки, по его распоряжению, еще в бытность его при Петре Великом киевским губернатором, ему специально переводили книги с разных языков. В частности, он усердно читал шведскую конституцию. Голицын предложил, поскольку мужская линия рода Романовых со смертью Петра II пресеклась, перейти к женской, начинать которую, по старшинству, следовало с дочерей царя Ивана.

Старшая, Екатерина, выданная дядей Петром за Мекленбургского герцога Карла Леопольда, давно разъехалась с мужем и жила с дочкой Анной в Москве, но нечеткость семейного положения подрывала ее позиции. Между тем ее сестра Анна, хоть и была на год моложе, еще раньше стала женой герцога Кур-

ляндского Фридриха Вильгельма, через два месяца после свадьбы умершего, и теперь в качестве вдовствующей герцогини проживала в Митаве. Ее-то Голицын и предложил венчать на царство, и все его поддержали. Но Дмитрий Михайлович на этом не остановился, а заговорил о том, что не худо бы и ограничить самодержавие определенными условиями, «кондициями». И члены Совета стали набрасывать текст кондиций, которые будущей императрице надлежало предварительно принять.

Стремление ограничить царскую власть не просто совещательным Земским собором, который цари, если хотели, созывали, а не хотели, как Петр, не созывали, а действенным органом, часто выдают за стремление заменить самодержавие олигархией и уверяют, что олигархия, то есть власть нескольких соперничающих, хоть и вынужденных считаться друг с другом, правителей, не в пример хуже власти одного, ничем и никем не ограниченной. По отношению к кондициям, предложенным Голицыным, это, прежде всего, прямая неправда, поскольку они предполагали, что императрицу ограничит не только Верховный Тайный совет, перестававший быть тайным, но и палата шляхетства из двухсот депутатов, охраняющая дворянские интересы, и еще палата горожан.

Противники Голицына, а самыми яркими оказались князь Алексей Черкасский и Василий Татищев, числимый первым российским историком, критиковали кондиции за то, что недостаточно демократичны. Они требовали не сохранять Верховный Тайный совет как особую аристократическую палату, но преобразовать его в состоящее при государыне правительство, а всеми правами наделить единую дворянскую палату. А права у Верховного совета предполагались немалые, – это и согласие на объявление войны или заключение мира, и на установление податей, и на производство в чины. Новая царица обязывалась не тратить на себя деньги из казны и никому больше не жаловать вотчины.

С этими кондициями в Митаву и отправился член Тайного совета Василий Лукич Долгорукий, но до него у Анны уже побывали гонцы и от К. Г. Левенвольде, и от других сторонников крепкой власти, и, принимая князя Василия, она уже знала, с чем он прибыл, и знала о настроениях московского дворянства. Она без колебаний приняла все условия, подписала кондиции и отправилась с

Долгоруким в Москву, куда прибыла 10 февраля. А 25-го от имени дворянства к ней с челобитной обратился Татищев, еще как бы принимая кондиции, но прося свести на нет роль Верховного Тайного совета, и Анна приказала дворянам обсудить высказанные и другие соображения. Сама же села обедать с верховниками, отстраненными таким образом от обсуждения, а гвардейцы, приведенные родственником царицы по матери Семеном Салтыковым, шумели о неизбежности самодержавия.

Сторонники сугубо дворянской палаты и сторонники бывшего самодержавия сошлись на челобитной, просящей отвергнуть кондиции. Ее после обеда государыне от имени всего дворянства подал Антиох Кантемир, и Анна разорвала кондиции, сохранив самодержавие в неприкосновенности. А Дмитрия Михайловича Голицына, хоть и не сразу, заточили в Шлиссельбургскую крепость, где он, не продержавшись и полугодом, скончался и был похоронен на берегу Ладожского озера. К величайшим русским людям, делающим честь своей стране, его тоже поныне официально не причислили.

Между тем – хоть и наивна была надежда Голицына изменить государственное устройство простой интригой по секрету от большинства правящего слоя – в понимании того, каким новому государственному устройству надлежит быть, князь Дмитрий оказался серьезен и глубок. Разве что опоздал. То было последнее в России столкновение аристократии и дворянства, и победа дворянства как раз и была следствием правления Петра. Строго говоря, такой победой было уже воцарение Екатерины, но Семеновский и Преображенский гвардейские полки Меншиков держал под рукой еще в их прямом, боевом качестве, хоть в ход их пускать не понадобилось. А Голицыну противостоял не один подполковник Салтыков, но дворянская интеллигенция, Василий Татищев и Антиох Кантемир.

Порой говорят, откуда в России быть аристократии, бояре, дескать, тоже были люди служивые. Но и среди бояр, и помимо них на Руси были потомственные княжеские роды. Княжата, которых уничтожил Иван, не всегда были титулованными владельцами жалких клочков земли. Не стало и княжеских фамилий, некогда героически боровшихся с Ордой, и многих еще других. Иван да и Петр их унижали сознательно, и можно их понять – только аристократия и способна тягаться с царями, служилый

дворянин кругом от царя зависим и всем ему обязан. Порой уверяют, что чем больше людей допущено к влиянию на власть, тем она демократичней. В идеале всеобщего голосования так оно, конечно, и есть. Но когда к власти допущены еще не все граждане, но лишь часть, важна ее социальная природа, ее терпимость к другим позициям и разнообразие своих.

Служилое дворянство по природе службы тяготело к единоначалию, не к парламенту, а к царю. Другое дело, что оно хотело доброго, а не злого к дворянству царя и вполне уже сознавало, чего от доброго царя ждет. Совершенно так же и крепостные крестьяне хотели порой не столько освобождения, сколько доброго барина и в конечном счете тоже доброго царя. «Царистские иллюзии» дворянства возникали в царистской реальности, которую дворянство не знало, как преодолеть, и не очень хотело преодолеть, дорожа возможностями, которые такая реальность ему давала.

Мечта Татищева о дворянской палате на деле была мечтой о нерушимости самодержавия, признавал это будущий историк или нет. Семеновский и Преображенский полки как раз и служили такой дворянской палатой. Когда гвардейцы Салтыкова ратовали за всевластную царицу, Татищев и слова не сказал им поперек. Но не только России, а и Польше, где дворянская палата существовала, она демократии не принесла. Конкретная значимость социальных лозунгов не всегда соответствует значимости слов, их выражающих.

А князь Дмитрий Голицын понимал, что сильный и родовитый аристократ, предки которого не уступали знатностью и богатством предкам царя и даже соперничали с ними, как при избрании на царство Василий Голицын с Михаилом Романовым, скорее возразит царю, чем царский служащий, пусть причисленный в высшему сословию. Он понимал, что никакого другого ограничителя самодержавия в сложившемся после Петра обществе до поры нет, а дворянство, сколь бы искренне не сетовало на неограниченность самодержавия, хотело лишь послаблений в тех обязанностях, которые на нем, как служилом сословию, лежали. Дворянство было многоголовым воплощением единообразия, аристократы – разнообразия, и то, что сидевшие в Верховном Тайном совете Голицыны и Долгорукие меж собой не слишком ладили, было залогом объективности Совета, а отнюдь

не слабости, как уверяли опасавшиеся избытка демократии дворяне. Другое дело, что аристократов почти не осталось, и князь Дмитрий был, возможно, последним.

Но в Швеции или Англии, на которые он равнялся, демократия, то есть открытое изъяснение разных позиций и компромиссы между ними, потому и утвердилась, что утверждали ее аристократы, сохранившие силу, не растворившиеся среди простых дворян и горожан, но стоявшие за существование и у тех своей палаты. В Англии палата лордов до поры сдерживала короля посильней, чем палата общин. Сегодня она выглядит пережитком и ее даже собираются упразднить вовсе. Но Великую хартию вольностей у короля Джона Безземельного вырвали бароны, а не рыцари, аристократы, а не дворяне, стоит это помнить.

В России понятия смешались, бывший дворянин мнит себя аристократом, старые фамилии потонули в служилых. Но родовая аристократия существовала и в России, только цари ее выбили. Не стоит гадать, как жила бы страна, не рухнул замысел Голицына в самом начале, сложись у нас представительная система не в начале XX, а в начале XVIII века, пусть даже такая же куцая, — было бы все же два века впереди. Но известно, как правила Анна Иоанновна, заточив Голицына в Шлиссельбург.

Бироновщина

Это время редко называют по имени царицы, говорят обычно «бироновщина», по имени ее любовника Эрнста Иоганна Бирона, вывезенного из Митавы. Не занимая руководящих должностей, он стал реальной альтернативой пугавшей дворянство олигархии. Говорят, что время царицы Анны отличается бесчинствами Тайной канцелярии, то есть политической полиции, и засильем иностранцев. И то и другое правда, но этим оно не отличается от предшествующего и последующего. Засилье иностранцев началось при Петре, поскольку заимствование иностранной техники без иностранных специалистов было невозможно. И в новом русском флоте, и в армии, и в строительстве, и в других сферах объявилось множество иностранцев, нашедших себе применение в России и усердно работавших на нее. При Анне их даже стало меньше, хоть оставалось немало, даром что льготы для

иностранцев, большее жалование и другие привилегии как раз Анна с Бироном и отменили.

Тайную канцелярию с ее изощренными пытками тоже не они придумали. Ее многолетний глава Андрей Иванович Ушаков, кстати сказать, вполне русский человек, начал работать по этой специальности еще при Петре, а сама Тайная канцелярия во главе с П. А. Толстым, тоже русским человеком, возникла в ходе допросов и казни царевича Алексея. Конечно, при Анне пытки и доносительство практиковались широко, но не учащались. Уже по указу Петра священник, узнавший на исповеди о хуле на власть или каком подобном прегрешении, за недоносительство подлежал смертной казни. Ни Анна, ни Бирон так далеко не заходили, хотя петровскому примеру следовали и даже с расколом боролись. Особо в этом усердствовал Василий Татищев в бытность свою на Урале.

Бироновщина, вопреки распространенному мнению, не отход от петровских традиций, а, скорее, возвращение к ним после Петра II. Что ни говори, внук Петра вернул столицу в Москву, а племянница, от которой этого меньше всего ожидали, воротила ее в Петербург и поощряла там дальнейшее строительство. Да и другие начинания Петра при ней продолжались. Память об этом перечеркнул не столько ход истории, сколько порядок престолонаследия, при Елизавете Петровне, совершившей государственный переворот именем великого отца, реальность позабыли. Позднейшие историки повторяли пропагандистские выдумки. Другое дело, что и самый верный продолжатель, даже буквально следуя предначертаниям, подчас коренным образом меняет или, лучше сказать, проясняет смысл заданного основоположником. Не только с Петром так было.

Под навязанной Петром одеждой страна во многом осталась прежней и даже укрепила прежние повадки. Считать Петра великим человеком его дела велят не сами по себе – о них можно судить, да и судили, по-разному, – а вместе с его великим замахом. Но замах проходит, а дела делятся, и мы видим их в новой и неожиданной полноте. Не так становится существенно, что Трезини стал при Петре строить Двенадцать коллегий и Петропавловский собор, кстати сказать, завершенные и открытые как раз при Анне, как то, что при Петре сложился новый общественный слой, новое сословие, дворянство.

Еще для Меншикова, как и для Петра, оно было только служебным, служилым, инструментом, сперва и не мыслившим себя иным, и еще не помыслившим в краткие царствования Екатерины I и Петра II. Но уже при воцарении Анны и потом при ней, при Елизавете, при Екатерине II оно ощутило себя особенным слоем людей, и царицы вынуждены были по-новому строить с ним отношения, учитывать его стремления, с которыми Петр не считался. Дворяне служили, а он им платил, вот и весь сказ, пока они были наемниками, а не сословием.

Анна и Бирон уже в полемике вокруг кондиций ощутили силу объединенного дворянства, ощутили, что это их опора и с ней не стоит ссориться. Черкасский и Татищев, ратовавшие за дворянскую палату, так и не дозволенную, не только не пострадали при Анне, подобно Голицыну или Долгоруким, но успешно делали карьеру. Черкасский стал даже членом тройственного кабинета министров, подобно прежнему Верховному Тайному совету, управлявшего страной согласно с волей Бирона. Сперва в него входили канцлер Головкин, вице-канцлер Остерман, самый активный из троих, и Черкасский, самый пассивный. После смерти Головкина Черкасского сделали даже канцлером, то есть формально первым после царицы лицом в государстве. Освободившееся место занял близкий к Петру I Ягужинский, а когда он заболел – Артемий Волынский, тоже приближенный Петра I. И Головкин, и Ягужинский, и Волынский, и борец за дворянскую демократию Черкасский попадали в кабинет как противовесы немцу Остерману, которому немец Бирон не вполне доверял. Волынского, правда, Остерман в конце концов переиграл, и тот окончил дни на плахе.

Служилому сословию были даны ощутимые послабления. Служба перестала быть бессрочной и длилась отныне лишь 25 лет. Поскольку начиналась она лет в 18–20, дворяне до старости еще успевали похозяйничать в своих имениях. Да и служить стало обязательным не для всех – один из братьев, если их было несколько, мог теперь изначально заниматься имением. Различие между вотчиной и поместьем официально упразднили, поместья тоже признавались наследственными фамильными владениями, хоть за государем сохранялось право «отписать их на себя». При этом был отменен закон о единонаследии и дозволялось оставлять наследство всем сыновьям. В Петербурге был

также открыт кадетский корпус, по окончании которого дворянские дети получали сразу офицерские чины, то есть больше не обязаны были начинать с солдатской службы. Положение дворян явно улучшилось, хоть обязательность службы, уже и не бесспорной, их тяготила.

Ощутив себя привилегированным слоем, они ревновали к тем, кто получал те же привилегии, не принадлежа к их слою, отсюда и ревность к немцам, не выплескивавшаяся при Петре, когда служившие государю, русские они были или немцы, выделялись рвением к службе, а на свое происхождение напирали сторонники исконных порядков. Служебное рвение петровских времен, хоть и принесло немалые плоды, обнаружило ограниченность своих возможностей, флот совершенствовался, а государство разорялось. Идеальное петровское государство не принесло счастья даже служилым людям, даже их большинству, и они стали рьяно печься о собственном и семейном благополучии, чем и определялись теперь их понятия о должном.

Их не занимало, что укрепление дворянства ухудшает положение крестьянства, поскольку государство не поддерживало с крестьянами никаких отношений мимо помещика, чего дворянство и хотело. Помещик теперь отвечал за своевременную уплату крестьянами податей и обретал над ними необъятную власть. Без его согласия люди и шагу ступить не могли, а помещик волен был переселить крестьянина. Мало того, указ от 7 января 1736 года предписал фабричным рабочим, овладевшим соответствующими профессиями, быть вечно при фабриках.

В силу переориентации Петром промышленности на крепостной труд, свободных людей в стране практически не оставалось, человек либо платил государству подати, либо служил, либо был крепостным. Кто ни в одном из трех состояний не числился, уже поэтому считался преступником. При Анне зачистили остатки прежней вольности, некогда свободных наемников приравнивали к несвободным.

Движущей силой системы, установленной Петром и продолженной Бироном, почитали регламент. Но стимулом соблюдения регламента стало постоянное насилие, другого стимула его соблюдать не было. А утверждавшиеся на западе буржуазные отношения держались тем, что не власть, не насилие, а объективные обстоятельства вынуждали свободного человека нани-

маться на нелегкую работу, чтобы жить. Не скажешь, что пользоваться этими обстоятельствами очень уж нравственно, но силе еще более безнравственно и менее эффективно. Так или иначе, в сельском хозяйстве и промышленности, в науке и искусстве свободный человек, пусть и вынужденный обстоятельствами, работает лучше и достигает большего.

За десятилетие Анны Иоанновны производство чугуна и железа выросло примерно на треть. Но несвободный труд таит в себе вдруг обнаруживающиеся пределы развитию. Это не свалить на Петра или на Бирона, им такое и в головы не шло, они уповали на порядок, на регламент, и даже создали и упорядочили сословие, кормящееся от регламента. Между тем и оно хотело для себя свободы, но как нормы не для всех, а для себя одного. Получая поместья за службу, дворяне мечтали избавиться от службы, удержав поместья.

Бирон не слишком удовлетворил их мечтания, хоть и первым стал это делать. Когда Анна умерла, оставив по завещанию наследником Ивана Антоновича, внука старшей сестры и сына племянницы, а Бирона регентом, фельдмаршал Миних, не встретив сопротивления дворянства, арестовал Бирона и объявил регентшей мать царя-младенца Анну Леопольдовну. Но и она правила недолго. 25 ноября 1741 года дочь Петра Елизавета, опять с гвардейцами, арестовала ребенка и его родителей и стала царицей.

Дочь

Елизавета правила двадцать лет, но в стране мало что всерьез переменялось, разве что регламент стал помягче, хоть в Тайной канцелярии при ней побывало чуть не 80 000. Царица обещала править без кровопролития, и громких казней при ней не было, но пороли, бывало, и до смерти. Немцы с авансены ушли, Остерман и Миних сосланы в Сибирь, а Бирон, в свое время обходившийся с опальной царевной милостивее других, возвращен из Сибири, но поселен в Ярославле. При Елизавете вышли вперед братья Алексей и Кирилл Разумовские (с Алексеем она вскоре после коронации даже тайно обвенчалась), братья Иван и Петр Шуваловы, семейство Воронцовых, но и немцев в правящей

элите оставалось немало, да остзейские немцы уже были российскими подданными.

Елизавета хотела выглядеть продолжательницей дела отца, но была ею не больше, чем Анна Иоанновна. Да и как иначе, если ее привела к власти дворянская гвардия, не отменять же было послабления дворянству, которые дали Анна и Бирон. Она могла лишь пойти дальше и еще больше сократила срок службы. Было также разъяснено, что владеть населенной землей вправе только дворяне. Принадлежность к дворянству теперь определялась не службой, а происхождением и земельными владениями.

При Елизавете заботами Ивана Шувалова, человека образованного, был открыт университет в Москве и, при Академии наук, в Петербурге. Последний, впрочем, по отдаленности от мест проживания дворянства тогда захирел, а Московский процветал. Открыли новые школы в столицах и в губернских городах. Но говорить о реальном возвращении к петровской утопии было невозможно, да никто, и менее других сама Елизавета, уже толком не знал, как шли дела при Петре и чего он добивался.

Царица распустила кабинет, правивший при Анне, и передала эту роль Сенату, как бы петровскому учреждению, но роль его несообразно выросла. Елизавета, как и ее предшественницы и подросток Петр II, сама не правила и тоже нуждалась в учреждениях текущего правления, а Петр правил сам, и созданный им порядок без такого правителя, не говоря о прочем, существовать не мог. Но дворянству жить становилось легче, и по своей жизни оно судило о жизни народа. А народу жилось тяжелей уже потому, что росла зависимость от барина.

Елизаветинское время зато богато победами русского оружия в Семилетней войне. В ту пору обострилось противостояние Австрии и Пруссии, в которой почти одновременно с Елизаветой стал править Фридрих II, подобно Петру набиравшийся опыта более развитых стран и даже выстроивший у себя в Потсдаме голландскую деревню, отчасти напоминающую немецкую слободу в Москве. Фридриха, как и Петра, более всего занимали военные перспективы хозяйственного развития, тем более что он был талантливый полководец. Россия в противоборстве двух немецких государств, хоть и не без колебаний, взяла сторону Австрии, которая от нас подальше. Под Кунерсдорфом генерал Салтыков чуть не уничтожил прусскую армию, сам Фридрих едва

не попал в плен, а год спустя был взят даже Берлин. Но 25 декабря 1761 года, в Рождество, Елизавета умерла, а сменивший ее на троне племянник Петр был почитателем Фридриха. Он сейчас же прекратил войну, возвратил прусскому королю утраченное и заключил с ним союз. Плоды войны России не достались.

Говоря о незадачливом правлении Петра III, чаще всего только это и вспоминают. Но необразованный и, как уверяют, не любивший Россию, а склонный к картам и вину, Петр III за полгода успел во внутренних делах изменить больше, чем его тетушка за двадцать лет. При нем была упразднена Тайная канцелярия и прекращены преследования раскольников. Земли церкви перешли под контроль государства. А главное, был издан Манифест о вольности дворянской, полностью освободивший дворян от обязанности служить. Петр выражал надежду, что дворяне станут служить добровольно, но от обязанности служить они стали свободны.

Дед наново создал служилый корпус, у него на службе получали жалованье те, чью потомственную службу уже прежние цари как бы наперед оплатили, передав их дедам и отцам в наследственное владение земли и труд живших там крестьян. Через полвека с небольшим внук избавил служилых от службы, оставив им и крестьян, и землю. Он продолжил то, что Анна и Елизавета делали более робко. Так завершился «переходный период» от деда к внуку. Петр Великий подумать не мог, что племянница, дочь и внук придут к такому, а они между тем шли единственной дорогой, которая оставалась в созданных им условиях, сбиваясь с предуказанной им, поскольку та существовала лишь в его воображении.

Не стоит бранить Петра Великого за недалекость, а его преемников за измену делу Петрову. То-то и оно, что занятые своей конкретной жизнью люди не могут устроить перерыв для самозабвенной отдачи высшим целям, если это не сопротивление внешней агрессии. Повседневная реальность выдвигает собственные требования, ответить на которые удастся лишь в пределах, оставленных для этого предшественниками. Поэтому история не знает заведомо переходных эпох, хоть задним числом их часто так именуют. Жизнь не знает наперед, к чему переходит, вернее, как правило, переходит не к тому, к чему ее призывали,

что, по мнению современников, предстояло. История и есть жизнь, и тоже полна неожиданностей – и для народов и государств, и для людей, и частных, и державных.

Петр III не любил гвардейцев, называл их янычарами, турецким войском и не скрывал, что опасается их непомерного влияния на российскую монархию. Как и его великий дед, он хотел, чтобы войско выполняло волю царя, а не царь волю войска, и собирался расформировать гвардию, передав гвардейцев армейским полкам. Покамест же он передел их в прусскую форму, Пруссия воплощала его идеал послушания и доблести армии. В Семилетней войне прусская армия доблестью явно уступала русской, но молодого царя, видимо, больше заботило послушание. И ведь как в воду глядел! 28 июня 1762 года гвардейцы, возглавленные Алексеем и Григорием Орловыми, привезли его жену Екатерину из Петергофа в Петербург, провозгласили императрицей, и на следующий день Петру, проводившему лето в Ораниенбауме, пришлось подписать отречение. А через неделю было объявлено, что государь скончался от геморроидальной колики. И похоронили, как императору положено.



*Историк
Павел Николаевич
МИЛЮКОВ
(1859—1943)*

*Глава
шестая*

КАК СОФЬЯ СТАЛА КАТЕРИНОЙ

Немецкая девочка

Во дворце, превращенном в музей, неподалеку от голштинского городка Эйттин, мне дали поддержать дневник восьмилетней немецкой девочки, который она вела по-французски, и я навсегда запомнил крупный и твердый почерк. Звали девочку София-Августа-Фредерика, отцом ее был, как у нас пишут, принц Ангальт-Цербстский. Слово «принц» по-русски обычно обозначает высшую ступеньку перед самой высшей властью, принцы, хоть и не всегда, становятся королями и императорами. Ни отцу девочки, ни, тем более, ей самой такое не светило. Немецкое «принц» скорее соответствует русскому «князь», а князья у нас бывали и мелкие, и совсем захудалые. Одно слово: «княжата». Вот и у немцев, которые и в другом с нами схожи, то же самое. Принц Ангальт-Цербстский служил в армии прусского короля и дослужился до генерала.

После того как Елизавета провозгласила наследником племянника, четырнадцатилетнего голштинского герцога Карла-Петра-Ульриха, сына сестры Анны, которая (а за ней и ее муж) к той поре успела помереть, мальчика привезли в Россию. Через три года, в семнадцать, надумали его женить и сыскали пятнадцатилетнюю Софию-Августу-Фредерику. Тогда-то, в 1745 году, она и попала в Россию, перейдя, как в таких случаях велось, в православие и получив при крещении имя Екатерина и по крестному отцу отчество Алексеевна.

Отношения с мужем счастья не принесли, но через девять лет, в 1754 году, она все же родила наследника, сына Павла, которого, впрочем, тут же у нее забрали, чтобы воспитывать под

надзором императрицы, как будущего русского царя. Елизавете племянник не очень нравился, она звала его «голландский чертушка» и оставлять ему Россию не хотела. Рождение Павла сулило иную возможность. Елизавете было всего 45, и она надеялась дожить до совершеннолетия новорожденного, но переписать завещание не торопилась. Умри она раньше, если с отцом что-то случится, кому же как не матери стать опекуном малолетнего, а отдать власть Екатерине царица тем более не хотела.

Но одаренная девочка время зря не теряла, она усердно учила русский язык, регулярно посещала православные службы и, в отличие от мужа, выказывала приверженность и даже любовь к стране, в которой судьба положила жить. Она усердно читала и по-русски, и по-немецки, и по-французски, читала Монтескье, Вольтера, Дидро, вчитывалась в философию французского Просвещения, не пренебрегая, однако, и знакомствами с русскими дворянами, среди которых стала даже популярна, что и привело ее, в конце концов, на трон. Но до того желанного дня ей предстояло прожить в России не только год невестой, но еще шестнадцать лет великой княгиней и потом полгода супругой царя.

Просидела она на троне тридцать четыре года с небольшим, чуть поменьше Петра Великого, но тот считался царем с десяти лет, да еще вместе с братом, и правила за него сперва сестра, а после матушка, но если считать его реальное самостоятельное правление, примерно то же и выходит. Сопоставлять их, впрочем, надлежит не только по длительности царствования, но и по его значимости. Петр еще был царем бурной поры, смуты и реформ, Екатерина – царицей порядка. Петр обозначил будущее страны резким негативом, Екатерина пропечатала настоящее чуть размытой фотографией, местами черное стало белым, белое – черным, но прояснился общий облик. Пожалуй, за триста лет с введения опричнины до освобождения крестьян царствование Екатерины было, хотя бы по видимости, самым спокойным и благополучным, если, впрочем, забыть, что именно при ней вспыхнуло самое мощное крестьянское восстание. Не будь его, верилось бы, что и впрямь можно вечно так жить, как казалось вспоминаям благословенные екатерининские времена.

Главное деяние эпохи, Манифест о вольности дворянской, наперед определившее благополучие царствования, свершилось до Екатерины, и ее незадачливый супруг совершил его не просто



*Памятник Екатерине II.
Автор М. О. Микешин.
1873 г.*

по прихоти. Едва великий Петр оставил сей мир, шляхетство, им выпестованное, усмотрело свой общий интерес не в одних царских милостях, за которые Татищев и князь Черкасский отказались от попыток ограничения самовластья, но в освобождении от обязательной царской службы. Какой, в самом деле, служилому человеку прок от его земли и мужиков, коли жизнь отобрана бессрочно и надо доверяться нерадивым приказчикам, нет, чтобы самому наладить хозяйство для семьи. А не будь служба обязательной,

кто захочет – и отечеству лучше послужит, земля-то в родных руках останется, будет плодоносить, не пропадет.

Екатерина, устранившая мужа от власти, осталась верна мужнину манифесту и тем на практике спустила с небес на землю мечту его великого деда, продолжательницей которого слыла. Мечта была роскошная: царь – первый радетель о царстве, дворяне, жизни своей не жалея, служат царскому делу, а чтобы служили хорошо, им служат мужики, уже не просто, как в давние времена, зависимые, а накрепко привязанные.

Оно, конечно, и не всякий царь после Петра особо радел о царстве, его вдова, племянница и дочка дорожили другими радостями. Но Екатерина II, до них тоже охочая, хоть и не родня Петру, а чужая, приезжая немка, как раз оказалась подобна ему тем, что царство занимало первое место в ее незаурядной голове. Не то что мальчишка Платон Зубов, но даже Григорий Орлов, которому, как-никак, она была обязана царствованием, ею не руководили. Даже и сам Григорий Потемкин, выдающийся государственный человек, с которым она, по слухам, еще и тайно обвенчалась, был лишь исполнителем ее воли, ее помощником и до конца своих дней ее первым советчиком, но решающее слово оставалось за ней.

Она-то сама могла бы и дальше поддерживать петровское государственное устройство. Но у захудалой немецкой принцес-

сы, да еще прожившей при богатом русском дворе пятнадцать лет, не зная любви мужа, равно как и его тетки-царицы, с чувством реальности было куда лучше, чем у великого царя. Она сознавала, что если интересы царства и у сидящих на троне не всегда на первом месте, то состоящих у них на службе мысль о личном и семейном интересе, за редкими исключениями и в редкие минуты, не оставляет никогда. Она не спорила с этим личным интересом, шла ему навстречу, даже потакала, не вовсе безосновательно рассчитывая, что дворяне, видя щедрость и широту царицы-благодетельницы, будут отвечать доброй службой, и в известной степени оказалась права.

Освобождение помещиков от обязательной службы, при сохранении за ними собственности на землю и крепостных, кажется выведением их за пределы феодальных отношений, они как бы уподобились заокеанским владельцам плантаций и рабов, да только без буржуазных отношений вокруг. Русский помещик мог либо усерднее ориентировать крепостное хозяйство на собственные потребности, вплоть до крепостного театра, либо активно выходить с продуктами своего крепостного хозяйства на рынок, не только российский, но и зарубежный. Наш рабовладелец отличался от американского современника не тем одним, что держал в рабстве единоплеменников и единоверцев, а американец — людей иного цвета, которых он и за людей-то не считал, что не делало его более нравственным. Куда важней, что соседней американского плантатора, фермеров и фабрикантов, уже тогда связывали буржуазные хозяйственные отношения, и он в них вовлекался в собственной стране. Из повседневного противоречия между этими отношениями и плохо совместимым с ними рабством и выросла гражданская война за освобождение рабов. А в умах противостояние рабства и свободы очертилось еще раньше, и беглый раб, становясь бедным наемным рабочим, вполне сознавал различие прежней и новой социальной позиции.

А у нас традиционность феодальной зависимости мешала своевременно углядеть, что, выйдя уже при Грозном за традиционные пределы, преобразаясь в крепостничество, эта зависимость обретала новую роль. То, чего другие страны добились хотя бы частичным высвобождением из феодальных пут, наша достигала их ожесточением. Феодальная реакция в дворянском царстве Екатерины зашла еще дальше, чем при Петре, и

благодаря ей дворяне обрели для себя свободу. Впервые после Грозного кто-то стал у нас свободен, хоть и за чужой счет, и плоды дворянской свободы видны не только в сельскохозяйственном производстве.

Единая и неделимая

Екатерининская треть века – время резкого взлета русской культуры как европейской. Появляются Державин, Фонвизин, Карамзин, Крылов, Рокотов, Левицкий, Боровиковский, Захаров, Баженов, Казаков, Воронихин. Не только Петербург или Москва обретают прекрасные здания, которыми по сей день восхищаются, но по всей стране строятся помещичьи усадьбы. Россия привлекает зарубежные таланты, ей частично, а то и полностью, отдают себя Растрелли, Камерон, Кваренги, Фальконе, Анджолини. Создается Эрмитаж, в котором, не говоря о прочем, было тогда 35 полотен Рембрандта, и по примеру государыни многие знатные люди собирают живопись. Страна обретает новое художественное, а с ним и человеческое лицо. С этой поры Россия не только географически и политически вновь принадлежит Европе, но становится важным участником ее культурной жизни. А крепостнический фундамент культуры побуждает искать подобия не в провинциальной тогда Америке, а, сообразно с утверждающимся при Екатерине классицизмом, в древнем Риме, тоже, как известно, рабовладельческом.

Москва, давно величавшаяся третьим Римом, в делах духовных равнялась преимущественно на второй, православный, Рим – Константинополь. Иисус, правда, родился, проповедовал и погиб отнюдь не в первом и не во втором, и не то что на Руси об этом не помнили. Властный патриарх Никон не зря построил Новый Иерусалим. Но Иерусалим, не говоря уже, что раньше Константинополя попал под власть мусульман, был столицей не империи, а рядового царства и на верховенство, если считать его совместимым с учением Иисуса из Назарета, не претендовал. А Рим, принявший христианство через триста лет после Христа, был прежде всего древней державной столицей.

Правда, и мечта об утверждении креста на Святой Софии в Константинополе, обращенной завоевателями в мечеть, обрела

тогда земной оборот. Екатерина понимала мечты практически. Вот и назвала второго внука Константином. Ему надлежало занять в Константинополе трон Греческой империи, которую она намеревалась воссоздать. Эта мысль овладела ею к концу царствования. Но уже в самом его начале царица расширяла империю Российскую и старые слова о третьем Риме понимала тоже в земном смысле. Еще Петр провозгласил Россию империей, еще Иван, покоритель Казани, Астрахани и Сибири, сделал ее империей. Но различие метрополии и имперских колоний еще держалось, и Екатерина стирала внутренние границы, чтобы сделать империю единой и неделимой.

Оно, конечно, еще Грозный и даже его дед железной рукой вырубали новгородские вольности, присоединяя старейший из русских городов к своему царству, но то все же был русский город, и рассуждения о пользе единообразия ради единства в XVI веке могли казаться убедительными. Они и при Екатерине были в ходу, когда уничтожались вольности Смоленщины, обретенные под властью Польши. Но при Грозном начался переход от объединения русских земель к собиранию нерусских, к империи, вошедшей множество народов, и покоренных, и добровольно связавших судьбу с Россией.

Украина пришла к России добровольно, большинство ее жителей, во всяком случае, на левом берегу Днепра, в 1654 году явно сочувствовало решению Переяславской рады о воссоединении с Россией. На него шли, чтобы сохранить существовавший на Украине образ жизни, уберечься от польских захватов и от навязываемой перемены религии. Богдан Хмельницкий специально оговаривал, что Украина сохранит свое устройство, и выборного гетмана, и генеральную старшину, и военную демократию. Казалось, возникает своего рода федерация самодержавной России и автономной Украины, и сперва на Украине продолжали действовать прежние законы, больше способствовавшие ее благополучию и развитию, чем неограниченное самовластие.

Но вскоре выяснилось, что при всей привлекательности такой федерации для Украины, и при всей выгоде ее для России, самодержавная власть органически неспособна к стабильным союзническим отношениям и жаждет обратить союз в послушание союзника. Его самостоятельность хоть в чем-нибудь тотчас кажется ей стремлением к сепаратизму и даже измене. Уже

Петр говорил, что все гетманы были изменники. А Екатерина II в 1764 году и вовсе упразднила гетманство.

Она поставила во главе Украины генерал-губернатора Петра Румянцева, поручив ему пресечь тамошние вольности, что он успешно и делал. А в 1783 году был дан указ о запрете и на Украине крестьянских переходов от одного владельца к другому, о которых в России и думать забыли. То есть и на Украине было установлено крепостное право. Читая у великого украинского поэта Тараса Шевченко обильную хулу и проклятья Богдану Хмельницкому за такой итог Переяславской рады, будем все же помнить, что Богдан его не предполагал. Помнить не ради оправдания, но чтобы ощущать ограниченность политических расчетов, в которых решение насущной задачи заслоняет свои непредвосхитимые последствия, лишь задним числом признаваемые неизбежными. Не то что это плод лишь злой воли царицы и генерал-губернатора. Верхи украинского казачества и через сто лет после Хмельницкого непрочь были врасти в русское дворянство и владеть зависимыми мужиками на общих с ним основаниях. Но при этом они по-прежнему высказывались за восстановление гетманства, за избрание гетмана. То есть мысль о союзничестве, единстве, даже братстве, в их умах не означала отказа от самостоятельности, которой их лишила царица. Что говорить о прикрепленных ею к земле мужиках.

Если так вышло с родственной Украиной, не удивительно, что инородцы и иноверцы подвергались дополнительным ограничениям. Вроде бы от ограничений отчасти можно было освободиться, приняв крещение, татарский мурза порой и становился русским дворянином, немало инородцев и иноверцев ассимилировалось, иных народов даже и не стало. Вроде бы крещение и культурная ассимиляция поощрялись, порой даже проводились насильственно, – крестившись, коренной сибиряк обретал право платить казне не обильный ясак, а подворную или даже личную подать, куда меньшую. Но если всё же ассимилировались не все, дело не только в приверженности людей своему народу и своей вере, но и в политике властей. Инородец, даже и крещеный, уже не переставал быть инородцем, а в начальную пору Московской Руси переставал.

При Екатерине установили и черту оседлости для евреев. До присоединения Украины и Белоруссии в Московской Руси практически не было ни сколько-нибудь значительного еврейского населения, ни еврейского вопроса. Имели разве что место проти-

вопоставления иудейской и христианской религий, особенно, когда христианство отрекалось от своего еврейского происхождения, что православие, по тяготению к этнической адекватности, делало даже чаще, чем универсальный католицизм, тоже отдавший этому дань. А царица запретила евреям, за немногими исключениями, переселяться в другие области ставшего единым государства, что дозволялось не только украинцам, но и католикам-полякам, и мусульманам. Культурная ассимиляция евреев была задержана на сто с лишним лет и стала массовой лишь после отмены в 1917 году Временным правительством черты оседлости.

С екатерининских времен двойственность отличала российскую колониальную политику от колониальной политики других стран, не менее жестокой, но более определенной. Британская империя не включала свои колонии, не только Индию, но даже Ирландию, в состав собственно Англии. И там, и во Франции, и в Голландии, и даже в Испании или Португалии метрополия сохраняла отдельное от своих владений существование. У нас Украина и все другие присоединившиеся или завоеванные земли включались в состав собственно России, не имевшей особого статуса.

И вместе с тем, как бы вопреки государственному устройству, инородцы, отнюдь не одни евреи, подвергались ограничениям. Ограничивались в правах не территории, а их колониальное население, пусть по-прежнему составлявшее там большинство. Считалось, что Сибирь, Поволжье, Украина, Крым, Прибалтика, Польша, а потом и Кавказ, и Средняя Азия – все это не просто русские колониальные владения, как Индия и Нигерия для Британии или Алжир и Мадагаскар для Франции, а сама Россия, на территории которой в изобилии развелись инородцы. Одни чиновники относились к ним враждебно, другие терпимо, но представление о единой и неделимой стране, даром что она даже официально именовалась империей, было общим у тех и других.

Слава русского оружия

Уже поэтому завоевательная политика, которую в ту пору не менее рьяно вели и другие страны, носила у нас особенный характер, при Екатерине более всего и проявившийся, – Петр воевал за выход к морю, как за окно в Европу, а Екатерина рас-

ширяла пространство империи и весьма в этом преуспела. При ней военные успехи были впечатляющими. Территория ощутимо приросла, и не ледяными степями Сибири, а цивилизованными землями. Это сделали выдающиеся полководцы, начиная с Румянцева, Суворова, Кутузова, и умелые дипломаты, начиная с Панина и самой Екатерины. Дворянство, освобожденное от обязательной службы, но превращенное в откровенно привилегированное сословие, проявило себя на военной службе лучше, чем прежде.

То была эпоха побед русского оружия и русской дипломатии. В 1764 году при нашей поддержке польским королем стал Станислав Понятовский, прежний любовник Екатерины. После ввода в столицу соседнего суверенного государства русских войск сейм вынужден был установить равноправие православных с католиками, какого в самой России между тем не было. А по договору 1768 года Екатерина стала гарантом государственного строя польско-литовского государства, тем самым суверенитет терявшего. Если некогда при обсуждении возможного появления на русском престоле польского королевича особо оговаривалось, что Россия и Польша не станут единым государством, то полтора века спустя русская царица сама вела к этому, уверенная, что править будет она.

Сопrotивление не заставило себя ждать. Сторонники независимости переносили недобрые чувства к России на местное православное население, и оно в ответ бунтовало. Когда началось гайдамацкое движение Железняк и Гонты, Екатерина по просьбе Понятовского опять послала в Польшу войска. С гайдамаками они легко справились, но польские сторонники независимости упорно сопротивлялись. Тут войска в Польшу ввели еще Австрия и Пруссия. Суворов поляков разбил, но иностранные войска не ушли, и в 1773 году было договорено, что Пруссии остается Померания и часть земель Великой Польши, Австрии – Галиция, а России – Белоруссия. То был первый раздел Польши.

Тем временем началась война с Турцией, с самого начала успешная. Румянцеv одерживал одну победу за другой, русский флот во главе с Алексеем Орловым, посланный из Балтийского моря в Черное, под руководством Спиридова и Грейга парализовал противника, блокировав турецкий флот в Чесменской бухте. Затем Румянцеv перешел Дунай и дошел до Балкан, а Долгоруков овладел Крымом. Россия приобрела Черноморское

побережье, а Крым остался от нее зависимым и в 1783 году тоже был присоединен.

Ликвидация турецкой опасности, прежде постоянной, побудила Екатерину в 1775 году покончить с Запорожской Сечью, вольность которой прежде приходилось терпеть, поскольку она ограждала от набегов Крымского ханства. Туда ввели войска, которые разогнали запорожских казаков и провели расказачивание, но часть казаков ушла на Кубань. Захваченные и освобожденные от казаков земли усердно заселялись. Их называли Новороссией, центром ее стал новопостроенный город Екатеринослав, а наместником царицы – Потемкин.

Турция, однако, не смирилась с утратами, тем более что идея воссоздания «Греческой империи», Византии, не осталась тайной, и ради нее Екатерина уже заключила союз с Австрией. Не дожидаясь, пока Россия подготовится к завоеванию Малой Азии, где некогда располагалась Византия, Турция сама начала войну, на сей раз более успешную, но когда русские овладели Очаковым, а затем Суворов победил при Фокшанах и на реке Рымник (за что получил титул графа Рымникского), а потом взял Измаил, турки запросили мира, да и Екатерина уже его хотела, поскольку не получала помощи от австрийского союзника. От «Греческой империи» она отказалась, но и Очаков, и земли меж Бугом и Днестром, и право на Крым Турция за Россией признала.

Но Польша продолжала существовать, и в 1791 году ущемленный разделом сейм принял новую конституцию, по которой необходимость единогласия при принятии решений, прежде делавшая сейм бессильным, отменялась, и многое в государственном устройстве переменялось с учетом интересов не одной шляхты, но и других сословий.

Противники перемен обратились к Екатерине, прося по договору 1768 года защитить прежний строй. Россия, а за ней и Пруссия, ввели войска, и по договору 1793 года обе оставили за собой новые польские земли: Россия – Волынь, Подолию и Минскую область, а Пруссия – Данциг и еще земли Великой Польши. Осколок Речи Посполитой, в котором восстановили прежний порядок, оказался в полной зависимости от России. В Варшаве стояли русские войска, а король обязался не заключать договоры и не объявлять войну без согласия русской императрицы.

Борьба за независимость стала еще активней. Вскоре польские патриоты взяли короля в плен, объявили войну России и Пруссии, главнокомандующим избрали популярного Тадеуша Костюшко и выбили русских из Варшавы. Екатерина послала туда Румянцева и Суворова, который и возглавил подавление восстания.

Генерал Фрезен захватил Костюшко, а сам Суворов после кровавого штурма взял предместье Варшавы Прагу, и польская столица сдалась. В 1795 году состоялся третий и, как тогда казалось, окончательный раздел Польши. Россия получила Литву и Курляндию, Австрия – Краков и Люблин с окрестными землями, а Пруссия – Варшаву. Польский король перебрался в Петербург, где вскоре и умер. Екатерина могла торжествовать. Ни один из русских царей не имел сопоставимых успехов, да еще в такой мере являвшихся плодом его собственных действий.

Крестьянская война

Перебирая внешние и внутренние удачи Екатерины, можно подумать, что историки ее недооценили. А они знают, на каком фундаменте она, как теперь выражаются, «обустроила» империю – не только в завоеванных, но и в собственно русских землях. Большинство жителей всюду составляли крестьяне. Не то что прежняя жизнь вызывала у них восторг – побеги и бунты шли и при Алексее Михайловиче, и при Петре Великом. Но прежде крестьяне были хоть и зависимыми, а все же людьми. Они знали, что служат барину, чтобы барин служил государю и государству. Они сознавали свое отличие от холопов. Когда же с установлением вольности дворянской крестьянин остался в возрастающей зависимости, равнявшей его с холопом, выросло и чувство протеста. Коли от службы освободили бар, естественно было и крестьян освободить, а на них еще больше навалили. Отношений с баринком без участия государя крестьянство не принимало – не оттого ли столь крепки были в нем царистские иллюзии?

То тут, то там, и прежде, и при Петре III, и при Екатерине вспыхивали бунты. Самым значительным за всю нашу историю стала крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Он – донской казак, из той же Зимовейской станицы, что и

Степан Разин, а казачество еще было очагом противостояния государству, даром что донское казачество уже при Петре лишили самостоятельности. Казачество – и донское, и запорожское, и волжское, и уральское (яицкое), и сибирское складывалось с конца XV века преимущественно из крестьян, бежавших в поисках воли.

Казачи участвовали и в смуте, и во многих бунтах, чем внушали власти беспокойство, но, располагаясь у границы, они одновременно противостояли внешней опасности, и в этом качестве власть их не только терпела, но поощряла и к концу XVI века даже брала на службу, где, теряя казачьи вольности, они сами обретали крепостных. О казачьем сословии пишут разное, порой даже утверждают, что оно соперничало со служилым дворянством и стремилось его заместить, почему и бунтовало. И за Пугачевым, объявившим себя чудесно спасшимся Петром III, казаки, жившие на реке Яик, пошли будто бы тоже в надежде превратить Россию в казачье государство и стать его правящим слоем.

Отрицать существование в казацких умах такой утопии нет нужды, хоть осуществление ее едва ли было возможно. Но антидворянский дух, преобладавший среди казачества, преобладал и среди закрепощенного крестьянства, отчего казаки, лучше владевшие оружием, и становились часто вождями крестьянских восстаний. Пугачев начал осенью 1773 года с осады Оренбурга и хоть город не взял, войска, шедшие городу на подмогу, разбивал. Его армия осаждала Яицкий городок, Кунгур, Уфу, Челябинск. В марте его вроде бы разгромили. Но уйдя с пятью сотнями на Урал, в мае он опять вел многотысячную армию, захватившую вскоре Воткинск и Ижевск, Елабугу, Сарапул и Казань. В июле его опять разбили, выбив из Казани, и он опять ушел с несколькими сотнями. И вскоре опять во главе огромной армии двинулся к Саранску, потом к Пензе, Саратову и Царицыну. В сентябре, то есть через год, наша блестящая в ту пору армия наконец победила плохо вооруженных крестьян и обильно к ним примыкавших инородцев, и Пугачева казнили.

Царица правила еще двадцать с лишним лет, но крестьянская война обнажила язвы, на которых царствование стояло, дополнила ими единую картину с гениальными стихами Державина и блестящими победами Суворова, и чтобы рассматривать одно без другого, надо закрывать глаза. К сожалению, это

делали не только современники Екатерины и она сама, но и наши современники. До 1917 года пугачевская революция обычно рассматривалась как «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Потом – как справедливая борьба угнетенных, ступень восхождения по лестнице прогресса. А ныне – порой уже как реакционное действо, подрывавшее благородные замыслы мудрой царицы.

Но и к прогрессу, и к реакции пугачевщину причисляют по старым советским понятиям о революции, якобы наперед имеющей замысел и задачи. Вот и спешат подчеркнуть, что казаки, крестьяне, башкиры и поляки хотели совсем разного, что, несомненно, правда, но свидетельствует лишь о размахе народного недовольства, при котором грандиозный камнепад начинался со случайно задетого камешка. Рассуждают и о том, что пугачевцы разрушали крепостные заводы, ломали машины и тем самым тормозили переход к капитализму, словно демидовские крепостные заводы страну к нему приближали, а не отдаляли от него. Писатель Борис Васильев уверял даже, что и в случае победы Пугачев бы не освободил всех крепостных, поскольку «кому-то все равно пришлось бы кормить страну». Он только не поведал читателям, как все же кормилась хотя бы соседняя Пруссия, где крепостное право было сильно помягче нашего, или страны вроде Франции, его и вовсе не заведшие.

Возможные результаты победы Пугачеву особенно ставят в вину. Он ведь готов был в угоду низам вернуться к архаичным формам бытия, к русскому платью, к длинным бородам, к старобрядчеству, да еще, говорят, разрушил бы правопорядок, состоявший среди прочего в праве помещиков по своему усмотрению отправлять крепостных в Сибирь. И не то что предположения о плодах его победы, кроме все же удержания крепостных в рабстве, вовсе безосновательны. Безосновательно, прежде всего, предположение, что он мог победить. Известные нам революции побеждали лишь в тех случаях, когда регулярная армия уклонялась от их подавления или переходила на сторону восставших.

Но еще важней, что пугачевская революция, как и другие, не совпадает с умозрительной схемой, революция – не волевая акция по преобразованию порядка, а выплеск социальной стихии, взрыв социального порядка. Даже революция, провозгласившая наперед свою программу, редко ее осуществляет, во всяком слу-

чае, в полной мере и так, как провозглашалось. Обычно, начинаясь, революция толком не знает, чем окончится, к чему приведет, и если она, тем не менее, захватывает широкий круг людей, как у нас говорили, массы, значит, существующий порядок неблагоприятен, а правители не заботятся о переустройстве.

Нелепо объявлять пугачевщину реакционной или прогрессивной, но ее участники жертвовали собой ради облегчения жизни, если не своей, то детей, близких, соседей, даже если это улучшение виделось им возвращением к прошлому, – сама эта мечта о прошлом означала, что нынешнее, его сменившее, невыносимо.

Екатерининская империя, прекрасная для дворянства, позволившая ему сотворить значимое не для одного дворянства, но для всего отечества, которое без стихов Державина и портретов Рокотова оказалось бы другим, была невыносима для миллионов людей, державших ее на своем горбу. Пугачевщина обнажила искусственность, хрупкость и недолговечность такого порядка.

Разум и привилегии

Не то что Екатерине без Пугачева это не приходило в голову. Еще в начале царствования, да и до того, она считала российские порядки дурными и намеревалась установить новые, сообразные с велениями разума. Это желание выросло из чтения французских философов. Да она и сама смолоду верила в твердость воли, в возможность пересилить объективные обстоятельства – не зря искренне почитала Петра. Программу разумных преобразований царица изложила в виде «Наказа», адресованного Комиссии, которую собиралась учредить для сочинения нового Уложения вместо действовавшего со времени Алексея Михайловича. Наказ она сочиняла года два и наполнила либеральными пожеланиями. Потом приказала созвать выборных депутатов от дворян, горожан и свободных сельских жителей, – крепостные представлены не были, а духовенство представляли архиереи. Всего депутатов было немногим менее шестисот, и все они прибыли с наказами избирателей.

Летом 1767 года в Грановитой палате московского Кремля Комиссия начала работать, а полгода спустя переехала в Пе-

тербург, где работала еще год. Маршалом Комиссии поставили А. И. Бибикова, того самого, которому потом было поручено укротить пугачевский бунт. При большой Комиссии создали малые, еще долго рассматривавшие отдельные вопросы, а большая в 1768 году была временно распущена и больше никогда уже не собиралась. Для издания нового законодательства царица менее всего хотела заводить парламент, а настроения и нужды населения, которые, так или иначе, при сочинении новых законов надлежало учесть, еще полней звучали в прениях малых комиссий, чем в большой.

С новым законодательством царица, однако, не спешила, а через пяток лет после роспуска большой Комиссии еще пришла пугачевщина. Но указы, данные после нее, в 1775 и 1785 годах, недвусмысленно показали, какой порядок царице представлялся разумным. По первому указу решительно менялась структура правления. Царица разом укрепила централизованное управление провинциями и увеличила роль местного дворянства в управлении. Теперь страна делилась на губернии, примерно по 400 000 жителей в каждой, а губернии на уезды, примерно по 30 000 в каждом. Число губерний к концу царствования выросло с двадцати чуть не до пятидесяти. В каждой заводилось губернское правление во главе с губернатором, осуществлявшее власть от имени царицы по установленным ею законам. Соответственно уездом правил нижний земский суд, являвшийся не судебным, но административным органом, в подчинении которого была полиция. Уездный суд составляли исправник и два заседателя. Править городом назначали городничего.

Администрация была отделена от финансового и хозяйственного управления – в губерниях им занималась казенная палата во главе с вице-губернатором. Отдельно существовали и судебные органы, особые для каждого сословия. Для дворян – уездный суд и губернский верхний земский суд, для горожан – городской и губернский магистраты, для свободных крестьян: в уезде – нижняя расправа, в губернии – верхняя. Следующими инстанциями в губернии были судебные палаты гражданского суда и уголовного суда. Не удовлетворенные их решениями могли обращаться в сенат. Суды избирались по сословиям, дворян судили дворяне, но и горожане, и свободные крестьяне в судах, которые судили их, имели своих заседателей.

Дворяне выбирали и уездную администрацию, то есть уездным землевладельцам принадлежала власть в уезде. На низовом уровне возникла своего рода дворянская землевладельческая демократия, действовавшая под присмотром губернского правления. Власть, таким образом, в большой мере переносилась из центра в губернии, при этом старые коллегии упразднялись, к концу царствования остались лишь военная, морская и иностранных дел. Не просто в ущерб столичному разрастался провинциальный административный аппарат, но росло влияние местных дворян на правление, и столичные чиновники становились не столь всемогущи. Екатерина чутко отозвалась на пожелания дворян, своей опоры.

Указ 1785 года шел еще дальше. По нему дворяне открыто составляли элитарные корпорации, в которые объединялись на уездном и губернском уровне, получали право собраний и избирали уездных и губернских предводителей дворянства, только из дворян назначались должностные лица губернии. Дворянин освобождался не только от обязательной службы, но от податей и телесных наказаний. Лишить дворянства мог только сенат, и то лишь с согласия царя. Дворянин всецело владел своей собственностью, включая и крепостных, и в то же время был вправе торговать и заводить фабрики. Вместе эти права и давали ему законную возможность покупать и продавать крепостных людей. Создание открыто привилегированного слоя и было результатом реформ, призванных создать в России царство разума.

Некоторые права тогда же были даны горожанам, но крепостное крестьянство становилось все более бесправным. Царица вроде бы подумывала об освобождении крестьян, хотела совершить его постепенно, без обострений, и даже сама говорила, что через сто лет крестьяне будут свободны. Историк Каменский считал даже возможным заметить: и так ведь в самом деле вышло! От воцарения Екатерины в 1762-м до Манифеста об освобождении крестьян в 1861 году и впрямь прошло сто лет, да только даже Александр II не освободил крестьян сразу, а еще оставил их «временно-обязанными», поскольку никто из его предшественников на троне для их освобождения не сделал ничего. А Екатерина много сделала для дальнейшего закрепощения.

Не только на Украине. Она щедро раздавала казенные земли с живущими на них людьми, попадавшими из государственных крестьян в личную собственность получателей таких подарков.

Если в порядке секуляризации церковных владений она и перевела монастырских крепостных в государственные, трудно этим обольщаться, не выяснив, кому их потом подарили. Она расширила права помещика, позволив ему, если захочет, ссылать своих крепостных в Сибирь на каторжные работы. А жаловаться на помещиков запретила еще в 1767 году, до пугачевщины.

Отдельные косметические указания не повод отказывать крепостнической политике Екатерины в цельности. Никто ей не мешал, если она хотела постепенного освобождения, взять на него курс, хотя бы, как одно время обещала, признать свободными крестьянских детей, родившихся после манифеста о вольности дворянской. А ничего подобного не сделала – сама понимала, что без дарового крестьянского труда ее государственная элитарная система не будет работать. Зачем же тогда, особенно поначалу, поощряла она осуждение крепостного права? С чего бы создательнице феодально-элитарного консервативного порядка увлекаться философами, желавшими изменить социальные порядки у себя во Франции?

Просвещенное рабовладение

Противоречие царицыной практики теориям французских философов, которых она охотно читала, часто объясняют боязнью революции, наподобие Французской. Но революция там вспыхнула на двадцать седьмом году правления нашей царицы, а короля казнили на тридцать первом, всего за три года до ее смерти. Было время не бояться. Ссылки на страх обходят причины ее стойкого увлечения французами, а оно было главным подспорьем в стремлении изменить не только реальность, но и сознание подданных, образ их мыслей.

Нормативный образ мыслей прежде определялся православием, старообрядческим или никонианским. С традиционным феодализмом оно отлично уживалось. Феодальная Европа вся жила христианским сознанием. С феодальной реакцией стало сложней, и Петр не зря избавился от патриарха, поставив управлять церковью обер-прокурора синода. Иисус из Назарета, проповедник равенства людей, с екатерининским ожесточением рабства сообразовывался совсем плохо, и царица, хоть усердно посе-

щала православные службы, ощущала нужду не просто в новых, но в светских доводах, которые бы рационально объясняли необъяснимое хотя бы временной целесообразностью, что религии с четкими моральными постулатами – «не укради», а не то что «не воруи по воскресеньям», – сделать трудней.

Подходящая доктрина давно существовала. Еще голландец Гуго Гроций в начале XVII века полагал, что государство – отнюдь не божественное установление, что оно создано людьми, вступившими в общественный договор и по нему отказавшимися в пользу государства от части своих прав ради более разумного и безопасного устройства жизни. То есть во имя общего блага разумно каждому чем-то жертвовать. Царице, убеждавшей в этом своих подданных, такая теория вполне бы подошла, будь жертвы с обеих сторон хоть как-то соизмеримы, а при матушке-царице одних как раз освободили от службы государству, а других заставили жертвовать собой вдвойне. К тому же представление о государстве как человеческом творении не вязалось с божественным происхождением царской власти, без которого не объяснить, почему царь всегда прав, а если подданные этого не признают, царствовать трудно. Государство Петра I и Екатерины II, олицетворяющее непререкаемую правоту царской воли, явно не было государством, державшимся на компромиссе меж его жителями и их разными интересами, каким уже была Англия.

Франция с абсолютистским правлением, но без крепостничества находилась тогда как бы посередине. Теория общественного договора лишь у Руссо дошла до оправдания революции, поначалу просветители больше думали о мирных путях преобразования и правовых гарантиях порядка, иначе шедшего – и, действительно, пришедшего – к революционному взрыву. Самой крупной фигурой в старшем поколении был Шарль Монтескье, у которого царица особенно усердно списывала, сочиняя свой «Наказ». Различая три формы правления – тиранию, монархию и республику, он решительно отвергал первую, какой представлялась ему тогда Франция, но считал правомерной монархию, оговаривая, чем они различаются.

Ему тем проще было это сделать, что именно он разработал теорию разделения властей, по которой законодательная, исполнительная и судебная власти должны быть взаимно независимы. Если в тирании произвол единственного правителя не ограничен ничем и пагубен для страны, которой он правит, то в монархии, где

тоже один правитель, его должны ограничивать нерушимые законы. Мало того, Монтескье видел необходимость контролировать соблюдение монархом законов, а законы принимать сообразные нуждам страны, каковые, прежде всего, состоят в благоденствии граждан. В монархии, отличающейся от тирании, согласно Монтескье, должно действовать представляющее разные территории законодательное собрание. А сверх того – независимый от монарха суд.

Екатерина хотела выглядеть таким монархом. Но даже Комиссию по созданию законов упразднила, не дожидаясь пугачевщины, а решения нового, независимого на низовых ступенях, сословного суда корректировались вполне зависимым от государыни сенатом. Что же до третьего сословия, права которого не раз и не два оговаривает Монтескье, то, кроме общих слов, царица ничего и не могла в его пользу сказать, поскольку все, что она делала, было не просто в пользу первого сословия, дворянства, но в пользу дворянства именно крепостнического.

Общественная постройка, учрежденная Екатериной, была несознаваемой попыткой обойтись без буржуазных начал, которым способствовали просветители, и смешно говорить, что ее правление двигало Россию к капитализму, – оно двигало ее как раз в обратном направлении. Однако Монтескье считал, что республиканский строй пригоден лишь для маленьких стран, а большим надобна монархия. Но страна становится большой, подчиняя себе другие, большая страна – обычно империя, а империи монархическое правление, конечно, больше с руки, как более откровенно силовое. Вот царица и хотела выглядеть разумным монархом, какого желал француз Монтескье.

Пушкин не зря писал о праведном негодовании, которое охватывает при чтении лицемерного царя «Наказа». Француз Дидро, с которым Екатерина усердно переписывалась, посетив Россию и обнаружив явное несоответствие писем императрицы и реально происходящего, сказал ей это в лицо. Но неискренность государыни все же менее любопытна, чем ее желание выглядеть участницей общественного прогресса.

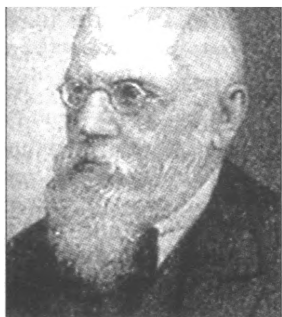
Петр в начале века, сознавая надобность в техническом прогрессе, верил, что технику можно заимствовать и насадить силой. Мысль, что Россия, не разорви она при Иване с подобным прежде остальной Европе социальным развитием, могла быть соучастницей общего прогресса, его не занимала. Екатерина в конце века,

когда плоды разрыва становились все явственней, верила в возможность не просто заимствовать станки, как Петр, а создать иной общественный порядок, чем традиционно европейские, но не менее способный к техническим и производственным успехам. Так сказать, решающий те же задачи, но самобытным путем, не приростом свободы, а нарастанием рабства. Екатерине это вроде даже удалось, что подтверждается триумфальными военными победами и культурными достижениями. Вот и важно ей было публичное признание тождественности общеевропейских задач и того, что русская царица отвергает лишь радикализм в их решении, почему и следует умеренному Монтескье, а не радикалу Руссо.

На деле, однако, она боялась именно умеренных, но конкретных социальных преобразований, посягающих заменить абсолютизированный подневольный труд работой из личного интереса свободного человека. Потому и Радищев казался ей бунтовщиком хуже Пугачева. А Радищев-то был единомышленником Монтескье. Обличая крепостничество, он именно и хотел не бунта, а законных преобразований, открывающих простор частному человеку.

Он был умеренным российским реформатором. Это потом не желавшие признаться в родстве с Пугачевым сделали родоначальника революционной традиции из Радищева. Но Радищев и Пугачев обозначили два разных, даже противоположных, пути преодоления крепостного порядка. А царица утверждала, что выбор один – либо ее дворянское царство, либо пугачевщина, и нам по сей день порой твердят, что третьего не дано.

Смешивая с революционером Пугачевым последователя умеренных французских просветителей, Екатерина упорно твердила, что она сама их последовательница. Впервые, пожалуй, в русской истории слова и дела разошлись так резко. Ее дела – вызвали Пугачевщину, а ее цитаты из классиков Просвещения – порой поныне актуальны. Тут не просто личное лицемерие к случаю, а система несоответствий – не вполне, возможно, создаваемых – меж делом и словом, составившая целую идеологию. Весьма по тем временам прогрессивную, в которую, однако, у нас рядилось ожесточение реакции. Сознательно или нет рядила ее царица в одежды прогресса, реакция в них нуждалась. Иначе дворянское рабовладение было бы менее устойчиво. Но слишком плохо оно сообразовывалось с тенденцией к техническому развитию, чтобы екатерининский эффект действовал достаточно долго.



*Историк
Михаил Николаевич
ПОКРОВСКИЙ
(1868—1932)*

*Глава
седьмая*

ОТ БОРОДИНА ДО МАЛАХОВА КУРГАНА

Надежды воспитателя

Французская революция ужаснула Екатерину, она решила, что страна Монтескье и Вольтера перешла к пугачевщине. Чтобы отличить французскую революцию от пугачевщины, надо было отличать французский абсолютизм от русского и положение французского крестьянина от положения русского, а царице это не было любопытно, она предпочитала отождествлять. Между тем французский феодализм еще во времена Жакерии и Столетней войны отступал, и в конце XVIII века французский крестьянин был лично свободен, его нельзя было продать или купить, да и хозяйство он держал неплохое. Слова короля Генриха IV о курице, которой надлежит быть в супе у каждого крестьянина, не пустая фантазия. Но денежные поборы, заменявшие прежние привилегии феодала, росли и становились невмоготу. Французский абсолютизм — дитя компромисса сеньоров, шедших на уступки, с наступавшим третьим сословием, и когда король поставил Тюрго министром финансов, — а было это как раз, когда у нас схватили Пугачева, — можно было ожидать, что компромисс продлится. Но реформы тяготили сеньоров, король к ним прислушался и реформатора уволил. Вот революция и лишила короля головы, да и сеньоров большего, чем предлагал реформатор.

А екатерининский абсолютизм, напротив, дитя бескомпромиссной феодальной реакции, плод атаки свободного дворянства на крестьян, у которых отняли последние остатки личной свободы и принудили к барщине. В России не то что не было третьего сословия, но ликвидировались условия, надобные, чтобы ему сложиться.

Революция вроде французской нашему дворянскому государству не грозила, а восстания рабов успешно подавлял еще древний Рим. Он погиб не от революции рабов, а от того, что иссякли их источники и не было новых. Германские и другие племена защищались, и Рим продлевал себе жизнь послаблениями рабам.

Екатерининские дворяне в большинстве не ощущали нужды в послаблениях, они еще только наращивали натиск, и Российская империя, подобно Римской, возможно, тоже прожила бы в послаблениях еще не один век, не явись на свет злейший враг рабства – паровая машина, Риму не грозившая. А и машина Джеймса Уатта явилась в тот же год, когда схватили Пугачева, и через десять лет уже была запатентована. Никто еще не подозревал, к чему это приведет. Но люди крепки не только задним умом и не раз предвосхищали запросы завтрашнего дня. Христианство, заменившее собой революцию рабов, возникло прежде, чем вполне обнаружилась ограниченность возможностей рабства, и за много столетий до того, как хозяйство вообще ощутило ценность каждой души, а не только рабочих рук.

При Екатерине появлялись люди, сознававшие неплототворность самодержавия и рабства. Один из них, Никита Панин, много лет руководивший потом внешней политикой, еще Елизаветой был поставлен воспитывать наследника Павла Петровича, которому стал внушать свои идеалы, надеясь, что наследник сохранит стремление к ним и на троне. Никита Иванович Панин и близкий ему писатель Денис Иванович Фонвизин, а также брат и племянник Панина, генерал Петр Иванович и возглавивший уже при Павле внешнеполитическое ведомство Никита Петрович, считали необходимым ограничить самодержавие твердым законом и блюдушим его учреждением и постепенно освобождать крестьян, то есть перейти от феодальной реакции к европейскому просвещенному феодализму. По их понятиям это было бы возвращение к добрым старым российским нравам, и не то что они тут сильно ошибались. В «Недоросле» Фонвизин противопоставил Простаковым и Скотнину Стародума, ратующего за патриархальные ценности, что у прогрессивного просветителя, каким писателя заслуженно считают, как бы даже странно.

Но ускоренный «прогресс» при Иване и Петре насаждала как раз ожесточившаяся феодальная реакция. Противопоставить насильственному «прогрессу» органичное развитие феодального

общества, шедшее, как на западе, на компромиссы с возникавшими и на Руси новыми социальными силами, значило показать мнимость насильственного «прогресса». Державная деятельность, торопливо толкающая людей к благой цели, не давая свободно к ней продвигаться, движима убеждением, что цель оправдывает средства. Это убеждение, однако, ложно не только по своей аморальности, но еще больше потому, что не всякие средства приведут ко всякой цели. Насилие не возбуждает инициативу, разве что инициативу сопротивления. Оттого и насаждение свободы плетью реакционно, сколько бы слов о привлекательности свободы при этом не было сказано.

Противостояние реакционному «прогрессу» считается консерватизмом, и не то что всегда и полностью от него свободно. Однако умеренный консерватизм не исключает общественного развития, тогда как насильственный «прогресс» такое развитие поворачивает вспять. В сознании тех лет сильны консервативные мотивы. «Просвещенные консерваторы», вроде князя Михаила Щербатова, отвергают и реальный прогресс, но остро обличают пороки мнимого. Желая умерить самодержавие влиянием аристократии, Щербатов отождествлял мнимый прогресс с «повреждающим нравы» влиянием запада, забывая, что как раз аристократии, причем именно на западе, удавалось создавать представительные органы, в которых нашлось место и другим сословиям, а екатерининский «прогресс» был западным лишь по форме, но не по существу.

Европеизм, западничество, не только желанная многим в России цель, путь к которой то и дело преграждали, порой даже уверяя, что к ней-то и движутся, но и ее собственное давнее прошлое. Наше европейское прошлое противостоит не столько живому европейскому прогрессу, сколько нашему подражательному и мнимому его заменителю, уводящему от европейских перемен. Лучшее будущее не приходит без являющихся в настоящем людей будущего. Панин, и Фонвизин, и Радищев как раз и были такими людьми. Они добивались свободы не только для дворян. Панин ждал, что его воспитанник, взойдя на трон, ее провозгласит.

Но если надпись «Петру первому Екатерина вторая» все же подразумевает некую дистанцию, то в надписи «Прадеду правнук» на другом памятнике тому же царю очевидны претензии на близость и намерение возобновить традицию.

Романтический император

Павел Петрович, занявший трон сорока двух лет, ненавидевший мать, похитившую трон у отца, при этом еще убиенного, и у него самого, искренне хотел быть продолжателем дела петрова. Из уроков Панина он усвоил критическую часть. Павел понял, что рабовладельческий фундамент непрочен. Став царем, он сразу решил облегчить участь крестьян и дал указ об ограничении барщины тремя днями в неделю, чтобы люди могли и на себя (и на повинности перед государством) поработать. Указ плохо соблюдался, но намерение кажется недурным, если забыть, что оно было частью возрождения системы всеобщего рабства снизу доверху.

Давая послабления крестьянству, Павел одновременно отнимал у дворянства послабления, данные Екатериной. Оно привыкло считать ее царство своим и любило матушку-царицу, так славно все устроившую. А Павел опять обращал дворянство в служилый класс, пусть более богатый, но, подобно своим крепостным, тоже несущий повинности.

При Павле запретили не только танцевать вальс или носить бакенбарды, но и по собственному желанию поступать на гражданскую службу вместо военной. Пропала и свобода дворянства от податей, с них теперь взимали различные сборы. Сократилась их роль в провинциальном управлении. И самое показательное – не стало личной неприкосновенности, дворянину запросто могли дать полсотни палок, да и другие наказания, аресты и ссылки, широко практиковались. Но не ради упразднения дворянского сословия, преимущества которого в продвижении по службе и поступлении на нее даже росли, а чтобы помнили свое назначение – служить.

Едва ли не впервые в русском государстве понятия о целях и средствах столкнулись с такой остротой. Благополучие дворянства было целью екатерининской державы, которая затем и укреплялась, и росла, чтобы это благополучие обеспечить, что и побуждало дворян всем сердцем служить державе. Павел же видел в дворянстве лишь средство крепить благополучие державы, имея в виду ее неограниченного повелителя, самодержца. При Петре Великом соотношение целей и средств было таким же, но он и себя, самодержца, видел средством обновления державы и, действительно, состоял таковым.



*Павел I.
Скульптор
Ф. И. Шубин. 1797 г.*

А главное, если петровская утопия сперва толкала к реальным переменам, то вскоре обозначились пределы державного хозяйствования, и Екатерина, поощряя инициативы свободного дворянства, эти пределы как раз и преодолевала. Преодолевала, понятно, лишь отчасти, но Павел, возрождая утопию централизованных инициатив, не только раздражал дворянство, а и державу тянул не к тому, что смолоду рисовал ему Никита Панин, а в обратную сторону. Сам Павел, как прадед, трудился не покладая рук, указов и предписаний дал куда больше матери. Но эффект был посромней.

А не все его побуждения нелепы – смеются над тем, что он на прусский манер переобучал солдат победоносной екатерининской армии, но иные внедренные при нем навыки пошли на пользу в 1812 году. Не откажешь ему и во внешнеполитической чуткости. Сперва, следуя за матерью да и по идейным соображениям, он был враждебен революционной Франции, никак Россию не задевшей. Даже послал на подмогу антифранцузской коалиции Суворова, поразившего Европу военным искусством в Альпах.

Однако после переворота 18 брюмера (ноябрь 1799-го), когда Бонапарт провозгласил себя Первым консулом, Павел прозорливо ощутил новую ситуацию и стал налаживать с ним отношения. Тем самым он, естественно, превратил вчерашних союзников, и прежде всего Англию, в противников, которые потом сочувствовали его свержению. Но дальнейший союз с Наполеоном, к тому же поглощенным борьбой со своими врагами, в то время как Россия оставалась бы вне войны, едва ли грозил ей ущербом.

Павла объявляли безумцем, хоть признаков безумия он не проявлял, прямых действий в ущерб своей персоне не совершал и, если не считать неуравновешенности, часто свойственной людям, обладающим непомерной властью, был вполне нормален. Но на смену Просвещению с его надеждами на разум уже шел романтизм, упершийся в неразумность прямолинейного разума,

в кровавые катаклизмы при попытках следовать его велениям. Романтизм вел от общественных надежд к невзгодам личной судьбы. А Павел принимал запоздалый удел править державой за судьбу и романтически гальванизировал безумную идею всевластного государства, переступающего через людей, государства как самоцели, а не регулятора равновесия общественных сил.

Этим он восстановил против себя не только людей, желавших расширения социальной опоры государства. В противостоянии Павлу противники сугубо дворянского царства соединились с приверженцами екатерининской традиции. В ночь с 11 на 12 марта он пал жертвой заговора, в котором петербургский генерал-губернатор Пален соединил самых разных людей, от наследника Александра до Никиты Петровича Панина, к тому времени высланного из столицы.



*Алексей Андреевич
Аракчеев
(1769—1834)*

Прекрасное начало

Александр, взойдя на трон, обещал править по заветам воспитавшей его бабушки и вскорости отменил большинство отцовских указов. Но золотые времена рабовладения прошли. Поздней поэт назовет век девятнадцатый – железным. Это не только метафора, но и реальность. Машины делали из железа. В России еще не начался промышленный переворот, но, коль скоро страна замахнулась быть равной и даже первой среди европейских держав, не довольствуясь участью Турции или Персии, сохранявших видимость могущества, потребность в машинах нарастала. Она уже не зависела от политических взглядов, это во взглядах приходилось обозначать и уточнять отношение к машинам.

В преддверии века возникло слово «промышленность», и ввел его в употребление убежденный противник реформ Николай Михайлович Карамзин. Объективная потребность воплотилась в языке прежде, чем в жизни. Машины все еще не много в России

значили, но уже ощущалось, что раб работает хуже свободного. Непреложность этой истины пробивала себе дорогу трудно. Если у англичан, творцов промышленности, в ходу пословица: лошадь можно привести к водоему, но нельзя заставить пить, у нас говорят: заяц, ежели его бить, спички может зажигать. В этом суть расхождения запада и России со времен Грозного.

«Дней александровых прекрасное начало» потому и казалось прекрасным, что в те годы впервые в истории отечества не только благородные одиночки задумывались о пределах достижимого битьем. По слухам, царь, прочитав ходившие в списках строки Пушкина «Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный и рабство, падшее по манию царя...», отнесся к юному поэту одобрительно, хоть напечатать стихи полностью удалось лишь пятьдесят лет спустя. Александр в ту пору далеко уже ушел от намерений облегчить крепостное право. Но не рассыпать неопределенные надежды на то, что царь по-прежнему об этом думает, было уже невозможно.

Не то чтобы новый царь и в самом деле хотел преодолеть бабушкин порядок. Но, как человек неглупый и образованный – а его воспитателем был швейцарский республиканец Лагарп, – он ощущал потребность эпохи и понимал, что привлечет сердца, желающие всерьез идти такой потребности навстречу, если намекнет, что и сам того же хочет. Он даже примеривался, можно ли себе позволить конкретные шаги в эту сторону. Обсуждал их сперва лишь в беседах с ближайшими друзьями – Новосильцевым, графом Строгановым, графом Кочубеем и князем Чарто-рыйским, обсуждал в глубокой тайне, отчего кружок его друзей именовали «негласным комитетом». Впрочем, и негласно, и гласно считалось, что трудности страны вызваны дурной системой управления, а в крепостном праве видели важную, но совсем не главную, и к тому же неразрешимую, проблему. Инициатива негласного комитета свелась к изданию в 1803 году указа о вольных хлебопашцах, то есть о статусе крестьян, которых помещики захотят освободить, наделяя землей. Желающих нашлось немного.

А управление страной и впрямь стали перестраивать. Сочли, что коллегиальность, предполагавшаяся Петром, все равно не утвердилась. Да к тому же при Екатерине многие функции коллегий ушли в губернии. Коллегии заменили министерствами, строящимися на единоначалии (сперва их было восемь – военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, юстиции,

финансов, просвещения и коммерции, потом прибавились министерства полиции, путей сообщения и государственного контроля).

Но уже при Екатерине Потемкин, самостоятельно распоряжался военными делами, хоть назывался не министром, а президентом военной коллегии. Да и при Петре коллегиальность держалась в той мере, в какой он дарил членам коллегий право говорить царю в лицо, что думаешь. Никакой независимой опоры, чтобы делать это, ни у кого из них не было.

Учреждение министерств, оформленное как реформа, на деле развивало павловскую тенденцию к централизации, к возвышению государственного аппарата. Тут царю повезло. Среди близких сотрудников графа Кочубея, ставшего министром внутренних дел, сыскался Михаил Сперанский, сын сельского священника, выпускник духовной академии, отдавший, однако, свой выдающийся административный талант гражданской службе. В 1806 году он попал в поле зрения Александра, был приближен и вскоре стал как бы первым министром. Ему и было поручено предложить план преобразования государства, над которым работа шла вплоть до Отечественной войны.

По мысли Сперанского, существующие сословия следовало свести к трем: дворяне, люди среднего состояния и народ рабочий, однако уже не крепостной. Всем гражданам надлежало быть свободными, хоть и не равными в правах. За помещиками, дворянами, оставалось исключительное право владеть населенной землей без обязанности служить. Люди среднего состояния могли владеть лишь землей без живущих на ней крестьян.

Править полагалось царю с помощью назначаемого им Государственного совета. А в подчиненных им властях предполагалось сверху донизу разделение на законодательную, исполнительную и судебную. Предлагалось всем землевладельцам волости раз в три года образовывать волостную думу, депутатам от волостных дум — окружную, депутатам от окружных — губернскую,



*Михаил Михайлович
Сперанский (1772—1839)*

а от губернских – государственную, каковой и надлежало обсуждать законы, поступавшие затем в Государственный совет и лишь потом на усмотрение монарха, сохранявшего право их утверждать или не утверждать, независимо от обсуждений. Подобным же образом власть спускалась от министерств в губернские правительства, а сенат как высшая судебная инстанция увенчивал череду волостных, окружных и губернских судов.

Государственный совет и впрямь был учрежден с 1810 года, а Сперанский назначен при нем государственным секретарем. Но на том и остановились. Царь передумал, тем более что Карамзин подал ему известную записку «О древней и новой России», где винил Сперанского в стремлении установить у нас французские порядки, хотя Сперанский справедливо отрицал связь своих предложений с Францией и Наполеоном, которого опасались.

Александр отстранил Сперанского от дел, затем сослал в Нижний Новгород, а после в Пермь. При том, что ни один из предлагаемых представительных органов и в малости не ущемлял власть царя, лишь увеличивал легальность общественного мнения, да и то преимущественно дворянского, землевладельческого, и покончить с крепостным правом предполагалось не вдруг, а постепенно, и говорилось об этом не слишком конкретно, царь на деле и шага реального сделать не хотел. А централизованное бюрократическое правление Сперанский наладил и укрепил, не зря Государственный совет действовал до 1917 года.

Гроза двенадцатого года

Внешняя угроза как бы заслонила нужду во внутренних реформах. Налаженные было, испортившиеся сразу после Павла, отношения с Наполеоном становились все напряженнее, он хотел от России большего послушания. Но грозившее нашествие изменило свою природу. Еще недавно вторжение французов в Рейнскую долину заражало немцев жаждой социальных перемен. Наполеон казался, да и в самом деле был, сыном революции, и благоразумные монархи спешили наперед сократить в подданных готовность сочувствовать иноземному освободителю. К 1810 году министры Штейн и Гарденберг полностью упразднили в Пруссии крепостное право, и без того не столь жесткое, как

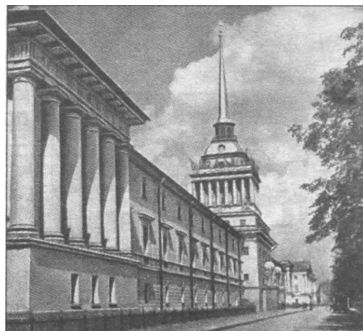
наше, понимая, что иначе прусские крестьяне будут рады принять свободу из рук французов.

Переpravляясь через Неман, Бонапарт был уже в большей мере императором Наполеоном, чем сыном революции. Никто не знает, что бы случилось, объяви Наполеон наперед русских крестьян свободными. Но, как известно, он не рискнул это сделать, и не потому, что верил, будто русские свободы не хотят. Он сам уже опасался непредсказуемой свободы не только русских, но и французов.

А это решительно меняло российскую ситуацию в сравнении с германской. Там антифеодальные надежды расходились с оборонительным патриотизмом, и Бетховен сочинил Героическую симфонию в честь Бонапарта, а посвящение снял, лишь когда тот провозгласил себя императором. А в России и повода к подобному уже не было. Напротив, крепостные люди опасались, что иноземный гнет окажется еще тягостней привычного, и русскому царю не было нужды упреждать нашествие послаблениями.

Россию тогда охватил невиданный с 1612 года дух самозащиты. Спорили только, как лучше совладать с Наполеоном, не подвергая малейшему сомнению жизненную необходимость с ним воевать. Многие опасались, что двор пойдет на уступки, и, действительно, вдовствующая царица и наследник Константин Павлович хотели скорейшего мира на любых условиях. Но царь, клонившийся к тому же, все же ощущал людские настроения и главнокомандующим назначил Кутузова, перед тем еще раз явившего полководческие и дипломатические таланты в победоносной войне с Турцией.

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов стал национальным героем в самом прямом и глубоком смысле этих слов, не просто отличившись воинской доблестью, изобретательностью или одержав крупную победу. Россия знала талантливых военачальников. К их числу принадлежал и предшественник Кутузова Барклай де Толли, понимавший сильные стороны французской армии и точно определивший стратегию, необходимую для по-



*Главное Адмиралтейство
в Петербурге.
Архитектор А. Д. Захаров.
Начало XIX века*



*Памятник
М. И. Кутузову
(1745—1813).*

*Скульптор
Б. И. Орловский. XIX век*

беды. Мнения обоих совпадали и в замысле, и на совете в Филях, где решалось сдавать ли Москву, да и поздней расходились, главным образом, в деталях.

Преимущество Кутузова было не просто профессиональным. Сознывая, что вместе с генералом Багратионом более активных действий хочет большая часть его армии, да и всей России, не отдающей себе отчета, что они кончатся поражением, Кутузов дал бой у Бородина, хоть не хуже Барклая видел наперед, что решающей победы не будет. Но он, в отличие от Барклая, остро сознавал, что без такого боя невозможно оставить Москву ради сбережения армии, что

было не только для Барклая, но и для Кутузова главным. А изгнав Наполеона из России, Кутузов умолял царя остановиться, не тратить российские силы на европейские дела, опять же сознавая, что России недостает сил для самой себя. А его занимала не слава, не карьера, а судьба страны, и если искать в новой России человека, которого без высокопарности, но и не в насмешку, можно назвать патриотом, это прежде всего Кутузов.

После Парижа

Кутузов умер, русская армия вошла в Париж, в Вене состоялся конгресс победителей, Францией стал править Людовик XVIII, Россия, Австрия и Пруссия заключили Священный союз на случай чьих бы то ни было новых революционных попыток. Но внутренние российские проблемы никуда не делись. Александр помнил, что под угрозой наполеоновского нашествия ему пришлось обращаться к дворянам с призывом вступать в ополчение и просить их поставлять в армию своих крепостных. Всеобщей воинской повинности тогда не было, она эффективна лишь по отношению к свободным гражданам.

Царь стал строить армию из крестьян, согнанных в военные поселения. Расчет был на то, что, продолжая обрабатывать землю, они сами будут себя содержать, избавляя государство от военных расходов. И при этом будут непрерывно совершенствовать воинские умения и навыки. А их детей обучали военному делу сызмальства.

Во главе всех поселений был поставлен граф Аракчеев, верный сподвижник Павла, после победы в Отечественной войне, не им одержанной, ставший самым доверенным лицом Александра. Военная утопия, в которой крестьяне не могли по-настоящему быть ни земледельцами, ни солдатами, армию не укрепила. Напротив, регламентация жизни лишь ожесточала людей и вела к непрерывным беспорядкам. Одновременно князю Александру Голицыну было поручено покончить с вольнодумством в просвещении. Аракчеев и Голицын изменили лицо страны, и следующий царь, Николай, которому обычно это преображение приписывают, лишь продолжал начатое старшим братом, после победы считавшим возможным перейти от лицемерных посулов бабушки к жестким нормативам отца.

Помня все же, что его империя стоит на непрочном фундаменте крепостнического порядка, царь велел все тому же Аракчееву думать о путях его преобразования, и тот придумал выкупать крестьян, продающихся с торгов, отпуская на это по 5 миллионов рублей ежегодно, – глядишь, за двести лет, к 2018 году, крепостное право бы и кончилось. Не было правда уверенности, что в казне каждый год найдутся свободные пять миллионов. Присоединив к империи Польшу и Финляндию, Александр был вынужден сохранить за обеими частичное самоуправление и, даруя Польше конституцию, обмолвился, что намеревается даровать ее и России.

Сочинить основной закон, «Государственную уставную грамоту Российской империи», царь поручил старому другу Николаю Новосильцеву, привлеченному к работе князя Петра Вяземского. К 1821 году Конституция была готова. В отличие от предложений Сперанского представительный орган предполагался двухпалатным, верхнюю царь назначал целиком, а нижнюю частично, предоставляя ей пополняться в ходе многоступенчатых выборов, право участвовать в которых получали даже не все свободные, не говоря о крепостных. Всё же там провозглашались неприкосновенность личности, свобода печати и наказание лишь по суду.

Новосильцев с Вяземским еще меньше, чем Сперанский, хотели ограничить самодержавие, но и их наметки могли бы по-

служить какому-то развитию независимых сил. Однако царь, познакомившись с конституционными предложениями, в очередной раз положил их в стол. Нельзя даже сказать, что, как перед войной, все осталось как было, – Аракчеев и Голицын делали свое дело. Да и сам царь не плошал, в начале двадцатых годов его распоряжения резко ухудшили положение крестьян, а в 1822 году особый указ снял все ограничения права помещиков по своему усмотрению сослать крепостных в Сибирь.

Между тем в ходе войны множество русских солдат и офицеров побывало в Европе и увидало совсем иной достаток и иные права тамошних людей. Чтобы изменить русскую жизнь, офицеры образуют тайные организации, в 1816-м – Союз спасения, в 1818-м – Союз благоденствия, в 1821–22 годах возникают Северное и Южное общества. Намерения северян обозначились в проекте конституции Никиты Муравьева, южан – в «Русской правде» Павла Пестеля. Сопоставляя проект Муравьева с проектом Новосильцева и Вяземского, поражаешься их сходству. И по тому и по другому сохранялась монархия с двухпалатным представительным собранием, избираемым людьми не беднее установленного ценза. Конечно, Муравьев оставлял царю поменьше прав, а представительному органу давал больше, но различие в государственном устройстве не так уж велико.

Однако по Муравьеву крепостное право безоговорочно отменялось, хоть предлагали дать лишь по две десятины земли на двор, на семью. Аракчеев предлагал при выкупе давать по две десятины на каждого человека, но и это фактически было бы освобождением без земли. К освобождению без земли, если помещики шли на превращение крепостных в безземельных, пусть лично свободных, арендаторов или батраков, царь был готов. На таких началах он в мае 1816 года упразднил крепостное право в Эстляндии с согласия тамошних помещиков.

Но то-то и оно, что русские помещики хотели удержать не только землю, но и бесплатный труд. Принудительный труд был фундаментом Российской империи, и более скромный земельный надел при немедленном отказе от принудительного труда по Муравьеву был бы для людей и страны предпочтительней, чем чуть больший надел через двести лет по Аракчееву при сохранении до той поры рабства.

Сходство тайных замыслов царя и тайных замыслов его противников показывает, что революционность стремлений заговорщиков не стоит преувеличивать, что такие стремления были присущи достаточно широкому кругу дворянства, пусть и не большинству. Порой даже сетуют, что царь не ведал, сколь широко сочувствие его начинаниям, а то бы тотчас решился. Оснований так думать, однако, нет. Различие в том и состояло, что Муравьев и его товарищи действительно хотели перемен и хотели вынудить власть приняться за дело, а Новосильцев с Вяземским не перечили, когда царь клал их разработки в долгий ящик.

Проект Пестеля был радикальнее, монархия по нему упразднялась и Россия становилась республикой, а крестьянам при освобождении передавалась половина всей земли. Но сделать это, по Пестелю, надлежало диктатуре революционного правительства, тогда как Муравьев предполагал вынести свои предложения на Учредительное собрание. Более смелый по целям проект Пестеля по средствам ближе к самодержавной традиции, чем более умеренный проект Муравьева.

Дворянское движение росло из ощущения обреченности сугубо дворянского государства. Его участники не просто желали России лучшего, увиденного в Европе быта, они помнили про Пугачева и знали, что, если не прийти к компромиссу с крестьянством, рано или поздно неизбежен новый Пугачев. Это дворянское движение парадоксально, оно затеяло революционную борьбу с дворянским сословным государством ради расширения не так собственных прав, как прав других сословий, необходимых для постепенной эволюции общества. Но иначе и быть не могло, коль скоро наша феодальная реакция почти не давала прав другим сословиям, так или иначе, развивавшимся в других феодальных странах, не совершивших реакционного переворота, как мы при Грозном. Он все больше сказывался на хозяйстве страны и на будущей судьбе правящего класса.

Восстание 14 декабря для самих восставших было неожиданностью не только потому, что и будущий царь точно не знал, ему ли быть царем. Декабристы – название пошло от месяца восстания – предполагали выступить в 1826 году, но соблазнились удобным, как показалось, случаем. Однако само вооруженное восстание более дальновидной части сословия против менее дальновидной несло в себе что-то столь же невыносимое

для восставших, как потом их осуждение и каторга для не участвовавших в восстании. Отсюда общая нерешительность на Сенатской площади и откровенность на допросах. Лишь единицы вроде Каховского совершали решительные, хоть и бессмысленные шаги вроде убийства генерала Милорадовича, отнюдь не приверженца нового царя. Но и Николай, повесив не только Каховского, а послав на каторгу или поселение сотни людей, не сделал и шага к примирению с либеральной частью дворянства, чем надолго отсек политические и социальные преобразования и стал, по выражению Тараса Шевченко, «неудобозабываемым тормозом».

Неудобозабываемый тормоз

А тормозить было что. В николаевском царстве застоя работали величайшие художественные таланты России Пушкин, Баратынский, Тютчев, Глинка, Александр Иванов, Гоголь, Даргомыжский, Лермонтов и начинали Тургенев, Некрасов, Фет, Достоевский, Островский, Толстой, Лесков, все их судьбы известны и почти все невеселые. Но, пожалуй, еще наглядней состояние хозяйства. Помещикам было мало возможности как-то прокормиться чужим трудом, они хотели большего и на хорошей земле увеличивали барскую запашку и, соответственно, барщину. От этого положение барских крестьян, то есть половины русского крестьянства, ухудшалось даже по сравнению с крестьянами государственными, состоявшими на оброке и от барщины практически свободными, или с удельными, принадлежавшими царской фамилии, хоть положение тех тоже ухудшалось. Да и немалая часть помещиков уже не благоденствовала, как при Екатерине, а брала ссуды и закладывала имения. Бесплатный труд маскировал убыточность большинства крепостных хозяйств, затягивая их разорение.

Не лучше шло и с промышленностью, хоть с тридцатых годов производство ширилось. В Россию проникла паровая машина, можно бы говорить о начале промышленного переворота. Распространялся наемный труд. Но подавляющее большинство вольнонаемных рабочих составляли крепостные на оброке, отпущенные на заработки. Владельцы крепостных паразитировали даже

на промышленности, к которой не были причастны, но в которую как бы вкладывали принадлежавший им живой капитал в виде крещеной собственности.

Порой появление таких новых фабрик с оброчными рабочими выставляют доказательством буржуазного развития. Но отличие буржуазности от феодальности не в самом по себе уровне техники или характере организации производства, а в том, что рабочая сила действует не по принуждению, не в силу личной или иной зависимости, а, подобно другим товарам, на конкретный срок с конкретной целью куплена у ее владельца, персонально ею обладающего и желающего продавать ее и впредь. Разумеется, уровень техники вынуждает нанимать людей должной квалификации, каковой люди зависимые, как правило, не обладают в достаточной мере, и все равно продолжают попытки сочетать машину и развитие техники с подневольным трудом, пока, охватывая хозяйство страны целиком, убыточность и неэффективность не становятся неотвратимы. Именно это и происходило в николаевской России.

Царю было ясно, что его победоносная держава отнюдь не процветает, что кругом беззаконие, финансы расстроены, да и земельные отношения требуют вмешательства. Подбирая себе сотрудников, он Аракчеева отставил, а незадолго до восстания назначенного братом министра финансов Канкрин оставил и, отнюдь не будучи либералом, пригласил работавших некогда с братом Сперанского, Кочубея и других. Он всерьез намеревался действовать и кое в чем, казалось, добился успехов. Под руководством Сперанского был составлен Свод законов и стало возможно их соблюдать и требовать их соблюдения. Канкрин вместо обесценившихся при Александре ассигнаций ввел в обращение новые бумажные деньги, равноценные серебряным и золотым. Существенен был и труд графа Киселева во главе Министерства государственных имуществ, он улучшал положение казенных крестьян.

Но все эти разумные меры не изменили общую картину, Сперанский умер, Канкрин, безуспешно пытавшийся удержать царя от непомерных расходов на бесконечные войны, и особенно на затянувшуюся войну с горцами в Чечне и Дагестане, ушел в отставку. Граф Киселев – едва ли не единственный здравый человек, служивший до конца царствования. А новые способные люди в разросшейся собственной его величества канцелярии,

поделенной на несколько отделений, включая прославленное Третье, ведавшее политическим сыском, не появлялись и, во всяком случае, карьера им не давалась. Государственный аппарат рос, власть его росла и все более сосредоточивалась в центре. Николай однажды испуганно воскликнул: «Россией правят столоначальники», но не мог даже себе признаться, что бюрократизация государства – дело его рук.

Восстание декабристов побудило царя думать о враждебности дворянства если не вообще самодержавию, то царской политике. Он эту враждебность, конечно, преувеличивал, но не то что ее совсем не было. Да и взлет великой литературы едва ли не более всего шел от потребности дворянства, эту литературу создавшего, разобраться в происходящем. Николай не доверял дворянам и возвышал чиновников, не очень интересуясь их происхождением, тем более что хороший чин давал потомственное дворянство, и чиновники не слишком оглядывались на прежнее дворянское общество. Да и оно, потрясенное масштабом репрессий, не рвалось в казенный николаевский аппарат.

На смену землевладельческому дворянству шло бюрократическое, и это меняло характер государства. Землевладельцы, приходя во власть, хорошо или худо, дальновидно или близоручо, служили интересам своего сословия, с реальностью хоть как-то связанного. Бюрократы сами стали сословием, они отстаивали интересы власти, как таковой, и, заботясь о том, как ее сегодня удержать, не считались с объективной реальностью.

Страх перед людскими знаниями владел Николаем не потому, что он не понимал их значимости для страны. Будь так, не открывал бы вовсе гимназии и институты. Но вынуждаемый жизнью их открывать, он старался ограничить и предлагаемый учащимся запас знаний и их распространение то сословными барьерами, то особым надзором за учебными заведениями, то сокращением числа студентов, то отменой преподавания философии, то отказом от посылки выпускников в зарубежные университеты для подготовки к профессорскому званию. Что ему было делать, – просвещение открывало глаза на несообразность позиций власти с реальной жизнью.

Характерно уже то, что цензура находилась тогда в ведении Министерства просвещения и свирепствовала отчаянно. Общественная жизнь, литература и даже наука были ею почти задав-

лены. Царь не ошибался, считая, что свобода мысли разъедает несвободу людей. Но, как многие у власти, он упускал из виду, что самоотверженное пренебрежение реальностью само окажется губительным для страны и смертельным для власти.

Еще Екатерина, осуждая крепостное право, полагала, что разом отменять его опасно, надо постепенно. Павел об отмене не рассуждал, но пытался регламентировать барщину, тоже безуспешно. Александр поручал тайным комитетам и важным персонам думать, как с этим убыточным позором постепенно покончить. Николай тоже прямо говорил, что крепостничество – зло, но избавляться от него надо не торопясь. Тайные комитеты работали и при нем.

Так прошло почти сто лет – ни шагу к быстрому или постепенному освобождению сделано не было. То его насущность размышлялась победой в войне, то революцией где-нибудь в Испании, то восстанием в Польше, причины для промедлений всегда находились. Возможно, цари говорили искренне, но Николай знал, что так говорят уже почти сто лет, а тоже ничего не делал.

Утопическое сознание

В крепостном праве воплотилась самая суть феодальной реакции. Отказ от него означал бы отказ не обязательно от монархии, но от всевластия монарха, от самодержавия. Даже дворяне, получив вольность, стали вольничать и разошлись с царем. Стань вольными все, самодержавию бы не удержаться. Вот самодержцы и медлили. За очевидностью угрозы они не замечали, что при нарастающем отрыве от насущных потребностей удержаться будет еще трудней. Николай держался, как его великий пращур, которому он упорством и трезвостью был и впрямь по слову Пушкина «подобен», но все же не «во всем». Петр питал свою утопию обилием плодоносящих заимствований, Николай их страшился, чем и довел страну до края. Общественное мнение, в той мере, в какой оно пробивалось сквозь умственные плотины, желая отвести отечество от бездны, ждало и требовало прекращения крепостничества.

Исследователи общественной мысли той поры напирают на разделявший ее водораздел, на пробудившиеся споры «западников» и «славянофилов». Казалось бы, действительно, Хомя-

ков, братья Киреевские, братья Аксаковы, Самарин, Кошелев стояли на том, что русский народ самобытен, что учиться ему в Европе нечему, – он сам бы служил ее народам примером, да все испортил Петр, растоптавший национальные традиции ради пустой переимчивости. А Грановский, Соловьев, Белинский, Герцен, Кавелин, Тургенев, Боткин утверждали, что человеческие понятия и ценности едины и как раз Петр сделал Россию цивилизованной. Одни говорили, что надо возрождать древние нравы, другие – что надо чутко внимать развитию Европы и слиться с ней воедино. Нечто подобное различало уже Фонвизина и Радищева, но потомкам видней их сходство.

Между тем противники были схожи не только общим отрицанием крепостничества. Образ мыслей тех и других был заимствован у немецких философов, поскольку и немцев, тоже еще не вышедших из феодального мира, терзали проблемы, подобные русским. Славянофилы исходили из Шеллинга, западники – больше из Гегеля, но оба философа и на родине понимались по-разному и наши их последователи свободно трактовали учителей. И те и другие не слишком держались фактов отечественной истории. Хорош был Петр или дурен, но нельзя утверждать, что он по прихоти повернул Русь к Европе, коль скоро Русь, и Киевская, и Новгородская, изначально принадлежала к Европе. Можно было Русь от нее лишь оторвать, что и пытался сделать Батый, а потом Иван Грозный. А Петр остается витязем на распутье, и доводов за то, что он вернул Русь в Европу, не больше, чем за то, что он-то и закрепил противостояние и разрыв.

Трудно подчас разграничить и взгляды славянофилов и западников на современную им жизнь, и это еще существеннее. И те и другие наблюдали жизнь западных стран, разъедаемую, как они выражались, «язвой пролетариата», и пугались вопиющей нищеты на фоне богатства. Как-то забывается, что и в западных странах возникал при переходе к буржуазным порядкам подобный страх, отчего новым порядкам и противопоставляли социалистическую утопию англичанин Томас Мор, итальянец Томмазо Кампанелла, французы, современники революции, Гракх Бабёф, Клод Сен-Симон или Шарль Фурье. Но там, где еще в недрах феодализма успешно развивались новые отношения, которых так или иначе хотело большинство отвергавших феодальный порядок, утопия влекла немногих.

Совсем иначе формировалось сознание при феодальной реакции, тормозившей не то что буржуазные перемены, но и органичное развитие самого феодального строя. Если англичане или французы могли противопоставить утопиям реальность, трудную, но поддающуюся улучшению, то русские новых положительных реальностей в своей жизни не находили и склонны были их искать в прошлом или в мечтах. Это утопическое сознание было присуще и славянофилам, и западникам, движимым добрыми чувствами.

Как раз бесспорный вроде западник Герцен, вторую половину жизни проведший в эмиграции, создал теорию русского социализма, выводящую лучшее устройство общества из сельской общины, уцелевшей, если не искусственно воссозданной, при наших крепостнических порядках в качестве организации крестьянской взаимопомощи, тогда как на западе она с развитием товарных отношений распалась раньше. Самый яркий и блестящий западник, предлагая Европе российский опыт в качестве примера, выступил как славянофил.

Утопии европейских социалистов, особенно Фурье, и сами вызывали в России интерес, в частности в кружке Петрашевского, и хотя кружок не был тайной организацией, ни покушений, ни восстаний не готовил – его участники читали книги и обменивались мнениями, виднейших его членов, в том числе Достоевского, уже известного писателя, приговорили к смертной казни. Когда они стояли на эшафоте, пришла весть о царской милости – каторге. Для власти были одинаково неприемлемы и утвердившиеся в Англии и Франции буржуазные порядки, и противостоящие им тамошние социалистические утопии, и отечественные, отвергавшие крепостничество.

Важнее различий меж западниками и славянофилами то, что и тем и другим противопоставили официальную народность, как именовалась светская идеология самодержавной бюрократии, оформленная Сергеем Уваровым, занимавшим пост министра просвещения. По Уварову русская жизнь была выше всяческих похвал и ни в каких реформах не нуждалась, поскольку безупречна ее основа: самодержавие, православие, народность. Смысл идеологических формул заключен не так в прямом смысле слов, их составляющих, как в обретаемых ими дополнительных значениях.

Самодержавие, прежде означавшее независимость страны, именно после Уварова все отчетливее обозначало самовластие, неограниченность власти, свободу правителя от учета каких либо суждений или нужд подданных. Православие в идеологической триаде обозначало не просто ветвь христианской религии, а господствующую нормативную идеологию, наперед не признающую истинными суждения, отличные от собственных, оно служило как бы воплощением морально-политического единства. Самое расплывчатое из трех понятий «народность» обозначило единство самодержца с народом, а точнее, народа с самодержцем и постоянную народную готовность следовать царской воле.

Оборона Севастополя

А воля царя не знала пределов не только в границах империи. Еще Священный союз как объединение великих держав присвоил себе обязанность поддерживать законность и порядок в других странах, а точнее, сообразно со своими интересами вмешиваться в их дела. Николай оставался убежденным сторонником такого вмешательства, когда другие державы от него уже отказывались. Россия усмиряла в 1849 году восставших против Австрии венгров. А раньше, напротив, ратовала за освобождение от Турецкой империи греческих земель и за автономию Сербии, Молдавии и Валахии.

И тут и там мы вмешивались, преследуя собственные интересы. Войны с Персией и Турцией шли с переменным успехом, расширяя русские владения на Кавказе и усмиря непокорных горцев. Но когда на Балканах Россия перешла от борьбы за автономию и независимость покоренных Турцией народов, в чем ее поддерживали и другие европейские державы, к утверждению там собственной власти, и в 1853 году Николай, нарушив шаткое равновесие, ввел войска в Молдавию и Валахию, не только Турция объявила ему войну, но на Босфоре появились английские и французские корабли.

Ощувив противодействие, Россия ушла с Дуная, но другие державы, со времен Венского конгресса опасавшиеся политики вмешательства и вторжения русских войск, этим уже не удовлетворились. Они стали задевать Россию не только на Черном,

но и на Балтийском и Белом морях, и даже у берегов Камчатки. Но основные события произошли в Крыму у Севастополя. Парусному русскому флоту невозможно было сражаться с англичанами и французами, имевшими много паровых кораблей, и они без боя высадили у Евпатории шестидесятитысячную армию, двинувшуюся к Севастополю.

Его осада длилась почти год. Нахимов и Тотлебен явили образцы военного искусства, русские солдаты сражались героически, но в отличие от двенадцатого года или войн с персами, турками или горцами решающим здесь стало промышленное развитие сражающихся сторон, и николаевская Россия этого испытания не выдержала. В январе 1855 года царь умер, а в августе французы захватили возвышающийся над городом Малахов курган, и нашим пришлось уйти из Севастополя.

По Парижскому мирному договору город остался за Россией, но держать на Черном море флот ей было запрещено, море объявили нейтральным. Территориальные уступки свелись к передаче Молдавии дельты Дуная, но от претензии на протекторат над Балканами пришлось отказаться, христиане, проживавшие в Турецкой империи, были провозглашены состоящими под защитой всех великих держав, тоже, в отличие от Турции, не мусульманских.

Падение Севастополя воспринималось как национальная катастрофа, даром что поддержавшие Турцию великие державы хотели не разгромить Российскую империю, даже не остановить ее расширение в других направлениях, но лишь пресечь ее захватническую политику в Европе и, победив, проявили умеренность. Даже право держать в Севастополе флот через пятнадцать лет было восстановлено дипломатическим путем. Но это и в самом деле была катастрофа для государства феодальной реакции. Несовместимость рабства и развития стала неопровержима. Настала новая пора.



Историк
Александр Евгеньевич
ПРЕСНЯКОВ
(1870—1929)

Глава
восьмая

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «СВОБОДА»

По манию царя

Царь Александр II вошел в историю как Освободитель. Не, по обыкновению, Грозный или Великий, но по делу, которое совершил. Дело это было – освобождение крестьян, отмена крепостного права. Спорят, добровольно он действовал или вынужденно, был ли последователен, да и в какой мере дело удалось, но факт остается фактом, он его совершил, и именно благодаря его личной решимости оно совершилось. В учебниках советской поры Александра Николаевича Освободителем не называли. И неспроста – назвать его так означало признать, что 19 февраля 1861 года окончилась эпоха феодальной реакции, начатая Иваном Грозным, и настала новая. А в ходу был другой календарь, по которому в октябре 1917-го началась новая эра, он избавлял от нужды анализировать происходившее прежде. Но именно 19 февраля 1861 года Россия вернулась, пусть запоздало, к надолго прерванному органичному феодальному развитию.

Проще всего объяснять реформы личными качествами царя, и не то что те ничего не значили. Как-никак, его воспитателем был Василий Андреевич Жуковский, человек с образованием, умом, добрым сердцем и душевной тонкостью, да еще и великий поэт, один из составляющих бессмертную славу России, и повседневное общение с великим человеком не могло не оставить хоть какой-то след в воспитаннике, и по природе здравом, способном и не злом.

Известную роль в готовности приняться за реформы сыграло и то, что новый царь смолоду был причастен к государственным делам, видел, что в стране происходит. Существенно и то, что он сел на трон в зрелом возрасте, тридцати шести лет. Но даже

чисто психологически важнее всего, что случилось это в пору не оконченной еще Крымской войны. Для его отца поражение было плодом собственных ошибок, и поневоле веришь не подтверждающимся слухам, что смерть Николая была сознательной. Александр Николаевич испил чашу позора без личной вины, и это побуждало его иначе думать о причинах поражения, ощутить, что Россию губит крепостничество и, если не дать людям волю, совсем погубит.

Камнем преткновения была, однако, не столько воля, сколько земля. Признать, что личность крестьянина и даже его труд – не собственность помещика, новый царь, вслед за своим дядей и тезкой, был наперед готов, и по его инициативе помещиков даже побуждали обращаться с прошениями об освобождении крестьян без земли. Но желающих находилось немного. Только в Виленской, Ковенской и Гродненской губерниях усилиями генерал-губернатора прошения подали. Российские помещики дорожили бесплатным трудом, а уж землю и царь считал их собственностью, ведь ее давали дворянам за службу, от которой, правда, потом освободили.

То, что раздаваемая земля не всюду была пуста, что на ней хозяйствовали феодально зависимые, но не закрепощенные, крестьяне, выпадало из помещичьего и царского сознания. А освобождение крестьян без земли стало бы юридическим оформлением конфискации феодальной, то есть общей с крестьянами, собственности помещиков и обращением ее в их буржуазную собственность, практически осуществленным еще указом о вольности дворянской.

Считая дворянство главной опорой царства, новый царь началу хотел именно этого. Когда в апреле 1858 года «Современник» опубликовал ходившую по рукам «Записку об освобождении крестьян» К. Д. Кавелина, номер журнала изъяли из продажи и запретили, а Кавелина отстранили от участия в подготовке реформы и заодно от должности наставника наследника. А либерал Кавелин, рассмотрев трудно примиримые интересы крестьян и помещиков, всего лишь писал, что, освобождая крестьян, надо сохранить за ними землю, которой они фактически распоряжаются, но непременно компенсировать помещикам утрату земли выкупом, который надлежало наладить властям, что, в общем, потом и сделали. Но еще весной 1858 года царь и слышать о таком не хотел.



*Александр II
(1818—1881)*

А слышать приходилось уже многое. С воцарением Александра и его сперва туманными намеками на предстоящие перемены настало время гласности. Говорили и писали разное, открыто спорили. Эмигрант Герцен в 1855 году стал издавать в Лондоне альманах «Полярная звезда», а летом 1857-го – газету «Колокол», проникавшие в Россию. Но созданный царем в том же году Негласный комитет по крестьянским делам, в атмосфере гласности переставший вскоре быть секретным и названный Главным, по воле царя готовил освобождение без земли. Большинство же помещиков, и этого не желая, откровенно противилось отмене крепостного права, с

чем царь, думавший не об отдельном поместье, которому ничто еще не грозило, а об уже униженной державе, согласиться не мог.

Он предложил удельным, то есть принадлежавшим царской фамилии, крестьянам немедленную свободу без земли, но на указ об открытии такой возможности отозвались единицы. Крестьяне не хотели свободы без земли. Выходило, что дать им свободу можно, только согнав их с земли силой. Тогда же в Эстляндии, где крестьян как раз освободили без земли еще при Александре I, начались волнения. Войска их усмирили, но царь посылал туда личного посланника из свиты, и тот доложил, что корень мятежа в безземельной свободе. Это тоже подорвало доверие к желанному варианту.

Ситуация казалась безвыходной, хотя само крестьянство освобождаться еще не порывалось. «Революция» совершалась сверху, движимая не так давними крестьянскими невзгодами, как общим кризисом крепостнического государства. Дать крестьянам волю и хотя бы находившуюся в их распоряжении землю, просто отобрав ее у помещиков, царь не мог. Но не мог он и не дать крестьянам волю и, хотя бы отчасти, землю. Ему надлежало найти компромисс, который заведомо не устроит ни ту, ни другую сторону, то есть проводить реформу, не имевшую опоры ни в ком. Как неограниченный самодержец, он мог это сделать, но признавал пределы, за которые опасно выходить.

19 февраля

Уточнив свои намерения, царь доверился людям, в отличие от него желавшим серьезных перемен не только в силу необходимости. В отцовскую бюрократическую машину, прежде успешно тормозившую перемены, он ввел людей, не всегда ему лично приятных, как назначенный товарищем министра внутренних дел Н. А. Милютин. Большинству же либеральных бюрократов, начиная с министра внутренних дел С. С. Ланского, он вполне доверял, они и подготовили реформу. В Главный комитет стекалось множество проектов, предложений и замечаний из губерний. Необходимо было все их рассмотреть и выработать закон. С этой целью создали Редакционные комиссии во главе с Я. И. Ростовцевым, которому царь тоже всецело доверял.

В прошлом Ростовцев дружил с декабристами, но не был членом общества и не принял участия в восстании, а, напротив, накануне сообщил о предстоящем восстании царю, хоть не назвал имен, и поставил своих друзей, Рылеева и Оболенского, в известность о доносе. Сперва и он стоял за безземельное освобождение, но возвращение декабристов, в том числе Е. П. Оболенского, из ссылки и то, что его бывшее поведение осудил «Колокол», а это стало известно его сыновьям, возможно, побудило его выступить за освобождение с землей. Он изложил свой новый взгляд в четырех письмах к царю, а тот приказал Главному комитету их обсудить, и, вопреки мнению большинства, царь, согласившийся с Ростовцевым, в декабре 1858 года велел положить в основу реформы выкуп крестьянских наделов и создание класса крестьян-собственников. Ростовцев был политическим руководителем комиссий, а практическую работу возглавил Милютин, обсуждавший проект и с западником Кавелиным, и со славянофилом Ю. Ф. Самариным,

К августу 1859-го проект был готов, и в Петербурге стали его обсуждать с представителями губернского дворянства, не собирая, впрочем, всех вместе. Представители черноземных и нечерноземных губерний критиковали проект за разное. Последним было жаль не малоплодородную землю, а оброк, который крепостные платили, зарабатывая в других местах. А владельцы черноземов не хотели отдавать именно землю. И те и другие требовали исправить проект. А тут еще Ростовцев умер, и пред-

седателем комиссий стал министр юстиции граф Виктор Панин, реформе не сочувствовавший.

Проект подвергся натиску, в ходе которого отчасти пострадал, но царь назначил председателем Главного комитета своего брата, великого князя Константина Николаевича, и прежде поддерживавшего Ростовцева, и основные положения устояли. На последнем заседании в Государственном совете царь сам их защищал и 19 февраля 1861 года подписал законы и Манифест, две недели спустя прочитанный по всей России в церквях после обедни.

Крестьянам и помещикам надлежало прийти к соглашениям о выкупе земли, на что отводилось два года, а по достижении согласия установленный надел становился собственностью крестьянина, однако сохранялось общинное землепользование и круговая порука. Размер надела был в разных местах разным – от одной до 12 десятин. Понятно, уплатить выкуп сразу могли лишь немногие и его, как только оформлялись отношения с крестьянами, помещик мог немедленно получить от казны, а крестьянам надлежало потом расплачиваться с государством сорок девять лет.

Разом изменили систему местного управления, провели сперва земскую реформу, потом аналогичную в городах, реформировали просвещение, отменили рекрутчину, установили всеобщую воинскую повинность и, соответственно, реформировали армию. Не бы-

ло, кажется, такой стороны жизни, которая бы больше или меньше по форме не приблизилась к европейским нормам. Самой удачной была судебная реформа, покончившая с сословным судом, учредившая суд присяжных и состязательный процесс с участием адвоката. Конечно, не все было гладко, даже судебная реформа не изменила, к примеру, работу Сената как высшей судебной инстанции, но, по слову Льва Толстого, все переворотилось, и можно бы ожидать, что дальнейшая эволюция выведет страну из тупика. Ведь отныне ее жители становились гражданами, а не рабами.



*Грачи прилетели.
Картина А. Г. Саврасова*

За двадцать пореформенных лет при Александре II вывоз зерна из России вырос втрое, мы держали тут первое место в мире, хоть еще главным образом за счет распашки новых земель, а не роста урожайности, да и по преимуществу силами помещичьих хозяйств. В стране произошел промышленный переворот, строительство железных дорог обрело огромный размах, и далекие друг от друга края соединил общий рынок. Металлургия, хоть и не сразу, технически перевооружалась, создавалось машиностроение, обозначились крупные промышленные районы. В науке и культуре совершились ощутимые шаги. Земства помогали крестьянству, и суд стал справедливее. Нужно быть слепым, чтобы не заметить успехи пореформенной России. Да и войны, которые она тогда вела, шли успешнее, и дипломатия немалого достигла. Все это принимают как нечто само собой разумеющееся. Но именно в эту пору нарастает социальное напряжение.

Земля и воля

Конечно, напряжение стало заметней потому, что жизнь стала более открытой. Реформа, оставившая крестьянство малоземельным, его, естественно, разочаровала, в ряде мест вспыхивали массовые беспорядки, каких перед реформой не было. Бунтовать призывали и возникавшие подпольные организации. «Великорусс» в 1861 году звал вернуть крестьянам отрезанные у них куски земли, а выплату выкупа возложить не на одних крестьян, а на весь народ и сверх того установить конституционный порядок и устранить Романовых. В конце 1862 года в Петербурге создается «Русский центральный народный комитет» организации, назвавшейся «Земля и воля», в который вошли братья Серно-Соловьевичи, В. С. Курочкин, Н. И. Утин.

«Земля и воля» требовала создания республики, созыва всенародного собрания, передачи всей земли крестьянам, областного самоуправления и равноправия женщин. Занималась она по преимуществу пропагандой, помощью ссыльным и готовилась выступить в 1863 году, когда истекали переходные два года и ожидалась крестьянская революция. Революция, однако, не состоялась, поскольку, при всем своем несовершенстве, реформа, если не развязала, то все же чуть отпустила некоторые узлы. Но многое,

происходившее после реформы, не только нам сегодня остается непонятным, но не вполне было ясно и жившим тогда людям.

Великие русские реформы воспринимались как ведущие к буржуазному порядку, к европейскому устройству, что с известной натяжкой можно сказать лишь о реформе судебной. Остальные, и прежде всего главная, крестьянская, лишь возвращали страну от феодальной реакции к традиционному феодализму, каким Европа жила прежде. Конечно, это способствовало предпринимательству, успешно развивавшемуся и в феодальной Англии или Франции, а у нас до реформы скованному феодальной реакцией. Реформы активизировали буржуазное развитие в недрах сбросившего реакционный пресс русского феодализма. Но пореформенная Россия отнюдь не стала буржуазной страной.

Правивший ею Александр II трезво понимал социальную природу своего царства. Не случайно, едва реформа была утверждена и оглашена, царь отстранил от власти готовивших ее либеральных деятелей. Через полтора месяца после провозглашения Манифеста он уволил Ланского и Милютина, многим их соратникам пришлось уйти в отставку. Воплощать реформу в жизнь поручили ее противникам, царь ни в коем случае не хотел, чтобы социальные сдвиги явочно перетекли в буржуазный порядок.

Страх перед этим и толкал арестовать Чернышевского, до конца дней изъятый из публичной жизни, М. Л. Михайлова, Н. А. Серно-Соловьевича, Н. В. Шелгунова, Д. И. Писарева и других открытых критиков реформ, как недостаточных. Французский или английский крестьянин и при личной свободе, пока там не свершились буржуазные революции, тоже оставался опутан множеством повинностей. А наш крестьянин не только продолжал во многом зависеть от помещика, но и стал еще должником государства. Доля крестьянства и после реформ была тяжелой, и сознание этого побуждало власти опасаться революционных вспышек.

Нищий барин

Гораздо хуже, однако, общество сознавало, что не менее глубокий социальный кризис настиг дворянство, треть которого, несмотря на выкуп, оказалась разорена. Прежде оно кормилось благодаря феодальной реакции, искусственно его поддерживав-

шей как опору трона. Когда же помещику пришлось хозяйственно определяться в соседстве с богатеющей частью крестьянства и буржуазными предпринимателями, даже сохранявшиеся привилегии и государственная помощь не всякому помогали устоять и, тем более, богатеть. Некрасов тогда же заметил, что великая цепь крепостничества, порвавшись, ударила «одним концом по барину, другим – по мужику». Но поэта услышали вполнину.

Бытует легенда о русской непрерывной революционной традиции. Но Радищев и декабристы, прямая преемственность меж которыми, кстати, тоже преувеличена, стремившиеся, раньше, и более глубоко, осуществить именно те преобразования, которые совершил Александр II, отнюдь не предшественники позднейших пореформенных революционеров, реформами недовольных не только из-за их неполноты. Радищев да и декабристы хотели буржуазных преобразований. Великие реформы, хоть и не будучи еще буржуазными, освобождали феодализм от реакционного торможения, расчищали дорогу буржуазности. Но это не радовало пореформенных революционеров.

Они хотели, напротив, воспрепятствовать буржуазному развитию, противопоставив ему совсем иной порядок, нигде до того не виданный. Они тоже глядели на запад, читали тамошних социалистов, сперва Фурье, а потом и Маркса, но на свой лад перерабатывали их утопии, плохо прилагавшиеся даже к реальностям западного буржуазного общества, а к реальностям русского феодализма и вовсе неприложимые. Собственно, уже Герцен и Чернышевский разорвали с революционерами предшествующей эпохи.

Сознавая значимость либеральной крестьянской реформы – Герцен боролся за нее в «Колоколе», а Чернышевский как раз и напечатал записку Кавелина в «Современнике», – оба они выступили как инициаторы русского социализма на основе сельской общины. Между тем, когда крепостное право отменили, община-то больше всего и тормозила буржуазное развитие деревни, а с ней и всей страны. Несовместимость и противоборство буржуазных и социалистических надежд эти незаурядные люди еще ощущали как личную трагедию. Они сознавали, что правопорядок, защищающий человека, способствует мирной эволюции общества. Не говоря о Герцене, и Чернышевский мечтал об обществе, которое «дает самостоятельность индивидуальному лицу, так что оно в своих чувствах и действиях все больше и больше

руководится собственными побуждениями, а не формами, нала-гаемыми извне».

На этом раскололась социальная мысль пореформенной Рос-сии. Не только столичные либеральные бюрократы, в которых царь, казалось, уже не нуждался, но и земские деятели, ощущая недостаточность реформ, жаждали их продолжить, чтобы спо-собствовать развитию страны и, как на западе, благосостоянию все большего числа людей. А новые революционеры уже отда-вались антибуржуазному идеалу и жаждали любой ценой поме-шать буржуазному развитию.

В начале шестидесятых революционеры критиковали рефор-мы за недостаточность и, уже мечтая о социализме, еще при-зывали углубить либеральные преобразования и правомерно на-зывать Герцена и Чернышевского революционными демократа-ми. С середины шестидесятых, после государственных контратак на революционную демократию, возникали организации еще бо-лее революционные, которые, однако, называть демократиче-скими невозможно. Уже кружок Н. Ишутина, возникший в 1863 го-ду, вскоре пришел к созданию внутри себя группы «Ад» для под-готовки террора, и ее участник Каракозов первым в 1866 году покушался на царя. В 1868 году Сергей Нечаев и Петр Ткачев ор-ганизовали студенческий кружок, вскоре разгромленный, но позд-ней Нечаев создал конспиративную организацию «Народная рас-права», где убил за инакомыслие одного из товарищей.

Теоретической опорой многих новых революционеров стало утверждение Бакунина, что народ всегда готов к бунту и надо лишь его поднять, уничтожить всякую государственную власть и жить самоорганизованными сообществами. А практически Ба-кунин поддерживал Нечаева.

Ткачев в отличие от Бакунина считал народ неспособным себя защитить и возлагал такую задачу на заговорщиков, при-званных захватить власть и – опять же в отличие от Бакунина – создать в интересах народа централизованное государство. Тка-чев, наиболее радикальный из революционных недемократов, не скрывал, что жестокости царской власти осуждает, лишь посколь-ку она чужда интересам народа, и готов, придя к власти, дейст-вовать точно так же во имя народа.

Народ в устах новых революционеров часто был уже не мил-лионным множеством личностей, мужиков и баб, страдавших от

безземелья и податей, а сугубо абстрактной опорой утопических построений. При частных различиях, мысль о революционных преобразованиях, совершаемых не народом, а от его имени за него, все больше преобладала в российском революционном движении.

Но движение, возглавлявшееся Петром Лавровым, хоть и тоже хотело социалистических преобразований на общинной почве, считало обязательным непосредственное участие народа в установлении лучшей жизни, а свою задачу видело в пропаганде преобразований. Как бы отвечая Ткачеву, Лавров выступал против замены бесчеловечного старого порядка другим столь же бесчеловечным.

Противники буржуазности все хуже слышали подобные предостережения, мысль о точных действиях небольшой слаженной группы для преобразования жизни огромной страны брала верх. Она подпитывалась верой, что можно не только совершенствовать общественный порядок, предпочитая тот или иной из реальных в данных условиях, но и установить любой полюбившийся.

Хождение в народ

Еще Чаадаев верил, что отставание России от других европейских стран дает ей преимущество, позволяет выбрать себе устройство по их опыту, да и Герцен, сопоставляя Европу и Россию, писал: «Либералы боятся потерять свободу – у нас нет свободы, они боятся правительственного вмешательства в дела промышленности – правительство у нас и так мешается во все, они боятся утраты личных прав – нам их еще надобно приобретать». Он надеялся, что отсутствие свободы, прав и независимости побудит одним усилием заменить существовавший порядок желанным. Надежда на это владела людьми, жаждавшими уберечь страну от буржуазной эволюции.

Российские социалисты казались товарищами социалистов других европейских стран. Но те, тоже часто влекомые утопиями, все-таки жили в реальном мире, в Англии и Франции, уже преодолевших феодальные порядки, и общие суждения о злобедности правящей буржуазии не отвлекали их от конкретной борьбы за конкретные права трудящихся. Надеясь в борьбе за их права разрушить буржуазное общество, на деле они способствовали выработке в нем институтов социальной защиты и тем его укреп-

ляли. А в России, покуда буржуазные начала не утвердились, чему наши утопические социалисты как раз противостояли, такого быть не могло.

Одновременно с нечаевской «Народной расправой» возникали кружки иного толка, организовавшие «хождение в народ», чтобы возбудить социалистический инстинкт, как они считали, присущий русскому крестьянину, и призвать его к восстанию. В 1871 году кружок «чайковцев», по имени Н. В. Чайковского, объединил разные группы народников. В него, в частности, влился кружок С. Л. Перовской. Возникали и другие кружки. К 1874 году «хождение в народ» приняло большой размах. Сотни кружковцев шли в деревню, надеясь влиться в крестьянскую среду и быстро поднять восстание. Эти утописты, готовые жертвовать собой, едва ли не впервые столкнулись с реальной жизнью своей страны. Крестьянство их, за редчайшими исключениями, не приняло и никакого социалистического инстинкта не выказало. Да и власть на призывы к бунту не взирала безучастно.

Провал подтолкнул изменить и программу, и методы. Программа резче подчеркнула намерение передать всю землю крестьянам в общинное владение. А «хождение в народ» решили заменить стабильным пребыванием в крестьянской среде в качестве учителей, писарей или фельдшеров. Но поскольку отправной точкой оставалась вера в природный русский социализм, крушение надежд на бунт вело к росту надежд на заговор. В конце 1876 года складывается новая организация, принявшая старое название «Земля и воля». В нее вошли Н. Морозов, С. Перовская, Г. Плеханов, В. Засулич, Л. Дейч, В. Фигнер и другие. Начав с массовой демонстрации у Казанского собора 6 декабря, собравшей двести участников, она вскоре оказалась расколота внутренними спорами.

Барский социализм

Уже сам идеал небуржуазного развития в стране, с грехом пополам недавно одолевшей феодальную реакцию, тормозившую буржуазное развитие, уже методы, которые проповедовались, чтобы верней противостоять такому развитию, уже сама ориентация на решение социальных проблем огромной страны самозваной элитой опекунов без участия народа не велят отвлекаться от едва

ли не первенствующей роли в русской революционной среде выходцев из разоренного реформой дворянства. При первом же знакомстве с пореформенным революционным движением бросается в глаза, что при всей пестроте и разнообразии выплеснутых им идей его лидерами по преимуществу были дворяне – Бакунин, Лавров, Ткачев, Плеханов, Ленин и другие.

Принесенное разоренным дворянством в революцию элитарное сознание обычно приписывается «разночинцам». Этим не слишком внятным термином обозначают образованных выходцев из разных сословий – духовенства, купечества, мещанства, – интеллигенцию. Конечно, и они, подобно крестьянам и разоренным дворянам, часто стояли в оппозиции к самодержавному феодальному государству, как, впрочем, и шли ему служить. Но если, скажем, поповичи могли внести в революционные группы истовость веры, пусть не традиционной, а вновь обретенной и светской, или, напротив, крайний атеизм, то выходцы из купечества или крестьянства едва ли сами склонялись к бакунинскому или ткачевскому ходу мыслей, даже если, входя в революционную организацию, ему следовали. То был ход мыслей людей феодальной реакции, которым реформа казалась не сословной, а общенациональной катастрофой.

Ощущая натиск буржуазной стихии и силясь ее обуздать, они перелагали привычное им убеждение в праве элиты решать за неразумных рабов на европеизированный язык социалистической утопии, и вчерашние крепостные лучше других ощущали, откуда этот ветер. Народ не принимал народников. При несомненном недовольстве новым большинство крестьян не хотело и прежнего.

Нараставшее осознание этого разъедало «Землю и волю» и привело к ее разделению в августе 1879-го на «Черный передел» во главе с Плехановым, задумавшийся о реальных заботах крестьянства, начиная с безземелья и тяжести выкупных платежей, и «Народную волю», в которую вошли А. Желябов, С. Перовская, Н. Морозов, Н. Кибальчич, А. Михайлов, В. Фигнер, ориентировавшиеся на скорейший захват власти. Примечательно, что в революционно настроенной среде «Народной воле» симпатизировали куда больше, чем «Черному переделу».

«Народная воля» – предельное воплощение ткачевского элитарного революционного идеала. Ее составили люди искренние и бескорыстные. Свой террор они направляли исключительно про-

тив глав и служителей власти, казавшихся им виновными в бедствиях народа или в конкретных безнаказанных преступлениях. Они самоотверженно жертвовали собой ради революции. Достаточно вспомнить, что Андрей Желябов, в момент царевубийства уже находившийся под следствием по другому обвинению, сам попросил приобщить его к участникам царевубийства, чтобы лучше объяснить в открытом суде цели и намерения содеянного. После захвата власти народовольцы предполагали созвать Учредительное собрание и предложить ему свою программу установления социализма, как волю народа. Учредительное собрание не могло ее не утвердить, поскольку после царевубийства власть, по мысли его организаторов, была бы в руках Исполнительного комитета «Народной воли».

Бремя самостоятельности

Не следует, однако, думать, что уход от борьбы за демократически выявленное народное мнение, от организации массового движения за глубокие либеральные реформы и само желание насильственно установить социализм вызывались стремлением к власти ради власти, как порой кажется издали, а остальное, дескать, – сознательный обман, маскировка, притворство. Люди, уходившие тогда в революцию, искренне верили и в пагубность буржуазного порядка, и впрямь далекого от идеала, и в идеальность социалистического, примеров которого не было. Переполненные лучших и чистосердечных намерений, они, без злого умысла, придавали особенному русскому социализму свойства прежней феодальной реакции, с которой Александр II хотел покончить.

Убийство царя – не ответ на неполноту реформ. Более того, к концу царствования Александр и сам стал как раз думать о продолжении реформ даже и в политической сфере. К этому побуждали не столько террористические акты, сколько происшедшие за двадцать пореформенных лет социальные перемены. М. Т. Лорис-Меликов, приведенный к власти сперва в качестве председателя верховной распорядительной комиссии, а затем министра внутренних дел, имел двойную задачу.

Он призван был беспощадно бороться с террором, но в то же время продлить либеральные реформы и добиться взаимопони-

мания с либеральной оппозицией. Вторая задача, рассматривавшаяся революционерами как маскировочная хитрость, на деле была политическим воплощением первой. Если сперва либеральные сторонники углубления реформ казались царю чуть не соучастниками Каракозова, то десять лет спустя уже пробивалось понимание различия меж либералами, желавшими укрепить буржуазные отношения, и народниками, желавшими их упразднить.

Определилось стремление, по примеру французских королей, шире допустить буржуазные отношения при сохранении царской власти. До поры их сосуществование могло и у нас быть возможным, и Лорис-Меликов был первым, но не единственным среди царских бюрократов, и после убийства царя хотевших такого. Покамест же он готовил отмену подушной подати и сокращение выкупных платежей. Ходили даже слухи, что готовится дарование конституции и создание всероссийского парламента. Это иллюзия – царь лишь обсуждал с Лорис-Меликовым включение представителей губернских земств в Государственный совет. Парламентом он бы не стал, успей даже царь подписать указ. Но поворот царя к большему содействию буржуазным переменам внутри феодального царства не подлежит сомнению.

Это лишь обостряло желание мстить ему за подрыв порядка, при котором государство, так или иначе, пеклось о дворянах, а не предоставляло их собственной участи. У дворянских революционеров чувство ущемления обернулось стремлением вернуть государству обязанности опекуна уже не одних дворян, но всех граждан. Еще когда царь, навязав стране реформы, регламентировал поступь неспешной и недостаточной эволюции, но уже стало очевидно, что при всей их тяжести для крестьянства, при всей их неполноте, реформы работают, и самостоятельность граждан возрастает, за царем и пошла охота, завершившаяся 1 марта 1881 года бомбой Гриневецкого.

За что боролись

Покуда на западе под знаменем социалистической утопии после стычек и стачек межклассовые экономические конфликты обретали правовые формы, в России под тем же знаменем теоретически вырабатывалась новая модель внеэкономической вла-

сти, которой ее сторонники спешили заменить монархию, медленно расстававшуюся с прежними формами феодальной реакции. Главной причиной того, что единственный за триста лет царь, хоть как-то облегчивший участь большинства, как раз и оказался единственным убитым не дворцовой камарильей, а как бы от имени этого большинства, была конечно сама трехвековая длительность реакции, ее привычная самоуверенность, и самого Александра Николаевича удержавшая от того, чтобы смелее пойти навстречу крестьянским нуждам, дав людям, как в западной Европе, ощутить преимущества экономических, буржуазных, отношений перед внеэкономическими.

Страна долго жила в противостоянии бескомпромиссной феодальной реакции, и люди, даже понимая ее природу, как правило, отучились вглядываться в природу ее противников. Социальные противостояния от Грозного царя до царя-Освободителя редко обретали адекватное обозначение. После французской революции в России вошло в обиход слово «революционер», которым без разбору обозначались противники царской власти. Кто из них выступал против феодальной реакции, кто против феодализма, в нее не впавшего, а кто против буржуазных перемен, не слишком различалось. Самодержавие выросло из феодальной реакции и не в силах было ее в себе преодолеть. Александр Николаевич, хотя бы частично попытавшийся, остается белой вороной. Вот и власть не рисковала четко обозначать позиции своих противников и, уступая одним, оттесняя других. Она угождала только своим сторонникам, и, опять же, единственная попытка как-то их ущемить ради всего общества окончилась трагически. Самодержавие боялось видеть реальную структуру общества. Впрочем, ее не слишком хотели видеть и революционеры.

Контрреформы

Не удивительно, что новый царь Александр III первым делом решил пресечь не только террор, но всякую крамолу. Террористов уже Лорис-Меликов ощутимо подавил. К тому же после ничего не изменившего к лучшему цареубийства вера в террор хоть и не исчерпалась, но пошла на убыль. Борьбу с крамоллой Александр III понимал как борьбу с отцовским наследством. Че-

ловец прагматичный, он видел, что вернуться к дедовским временам невозможно. Крымская кампания еще не забылась. Но он восполнял изъян дедовской империи сугубо практически. В Крыму не хватало современного оружия? Значит, надо строить оружейные заводы, субсидировать их, что он усердно и делал, да еще, наращивая оружие, избегал войн. Прагматичней стала и внешняя политика – давнюю дружбу с родственной Германской империей, где обычно подбирали невест царям и великим князьям, сменил союз с идейно чуждой республиканской Францией, в память о котором в Париже один из мостов через Сену по сей день хранит имя Александра III.

Прагматичная беспринципность служила опорой основополагающему принципу – сохранить и упрочить самодержавие, каким оно было от века. Затем и проводились контрреформы в государственном устройстве и социальной политике. Царя особо заботило оскудение дворянства. Был учрежден Дворянский земельный банк, дававший помещикам льготные ссуды. Одновременно увеличили преимущества дворян в земствах, вместо прежних коллегиальных земских органов учредили посты земских участковых начальников, непременно из местных дворян, что увеличило их административную власть над крестьянством.

Уход от всех дел великого князя Константина Николаевича, отставка Лорис-Меликова и других относительно либеральных министров наглядно обозначили поворот. Новые министры внутренних дел – сперва Н. П. Игнатьев, затем Д. А. Толстой и просвещения – И. Д. Делянов упраздняли послабления не только в общественной жизни, но и в просвещении. Начальное образование целиком поставили под контроль церкви. В 1887 году резко ограничили среднее и высшее образование для «кухаркиных детей», то есть лиц низших сословий, для инородцев, в частности евреев, и для женщин. Печатание книг на национальных языках, даже на украинском, подверглось ограничениям, а на некоторых языках, как на белорусском, вообще запретили печатать. Периодические издания поставили в жесткие рамки, многие газеты и журналы закрыли.

Государственный шовинизм и русификация и в Польше, и в Финляндии, и на Кавказе, и в Средней Азии, и в Сибири развернулись с небывалой силой. Рука об руку с ними шло преследование иноверцев, начиная с христианских сектантов, и насильственное обращение в православие. Еще в августе 1881 года

было утверждено «Положение об усиленной и чрезвычайной охране», позволявшее без суда высылать нежелательных лиц, судить военным судом вместо гражданского и вообще не стесняться. Изданное как временное, оно так никогда и не было отменено. Возникла модель вооруженного идеологического государства.

Но остановить буржуазное развитие без крепостного права было уже трудно, а его восстановить не хватало сил. Да и сами субсидии казенной военной промышленности отчасти способствовали буржуазному развитию: чтобы производить оружие, надо было производить железо, и сталь, и многое другое, и если промышленное производство при новом царе сперва, не без влияния мирового хозяйственного кризиса, сократилось, то к концу восьмидесятых оно опять росло, возникали новые промышленные районы, снова бурно строили железные дороги. Приходилось сообразовывать с этим финансы и в министры финансов ставить людей иного толка, чем в министры просвещения, где пагубные последствия не столь быстры. Министрам финансов Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградскому (видный математик), С. Ю. Витте удавалось, хоть и на краю возможного, поддерживать денежное обращение.

Но оздоровить сельское хозяйство не удавалось. К тому же Россию потеснил на европейском рынке хлынувший из Америки и Австралии дешевый хлеб, что подрывало помещичьи хозяйства. Тем более усиливалось их давление на крестьянство, и без того жившее в постоянной нужде. Расслоение шло все активнее, а попытки его выровнять общинными переделами все тяжелее, на них и кровь проливалась. Неурожай или засуха оборачивались массовыми трагедиями. В 1891–92 годах от голода умерло более полумиллиона человек, и такое повторялось не раз. Власть даже сокращала какие-то платежи, но так ничтожно, что положение, по существу, не менялось. Крестьянству нужна была земля, а новоучрежденный Крестьянский банк, как бы призванный помогать в ее приобретении, реально помогал лишь узкому кругу богатых крестьян, а еще больше – помещикам, продававшим землю, цена которой росла, и не находившим иначе покупателей. Аграрный кризис не был преодолен, и миллионы крестьян уходили из деревни, чтобы работать на фабриках и заводах за гроши.

А революционное движение шло на убыль, с заговорщиками власть справлялась. Создатели «Черного передела», самой реалистической из народнических групп, в большинстве оказались за

границей, где, ближе познакомившись с теорией Маркса, выведившей социалистическую утопию не из крестьянской общины, а из борьбы рабочего класса за свои права, склонились к ней и пропагандировали ее в России. В 1883 году, то есть в год смерти Маркса, Г. В. Плеханов с товарищами по народническому движению создали первую русскую социал-демократическую группу «Освобождение труда». Они переводили Маркса и Энгельса на русский язык, Плеханов писал книги, противопоставляющие теорию Маркса народничеству. Но студенты Петербургского университета В. Генералов, А. Ульянов, П. Андреюшкин и другие, хорошо знакомые с этими книгами, еще предпочли пример народо-вольцев и готовили на 1 марта 1887 года покушение на царя, которое власти сумели предотвратить.

Последний царь

Александр Александрович умер своей смертью, не дожив до пятидесяти. Гадать, что было бы, проживи он дольше, нет особой нужды, поскольку его преемник, едва ли не впервые на русском троне после Екатерины, был верным продолжателем предшественника. Николай Александрович отличался от других царей еще одним. Необходимость царствовать он счел «непоправимым горем». В конце года, в который вступил на престол, он записал в дневнике: «я без страха смотрю на наступающий год, потому что для меня худшее случилось, именно то, что я так боялся всю жизнь». Николай не хотел царствовать, не хотел править страной, так или иначе, разрешая ее нужды, как это делали, каждый по-своему, его отец, дед, прадед, прапрадед и прапрапрабабка. Он, казалось, просто был не в состоянии считаться с новыми нуждами, как раз при нем все активней дававшими себя знать. Он не воспринимал не то что требований революционеров или либералов, но и советов преданных ему царедворцев, если они мыслили реалистически. Его идеалом была незыблемость, и, говорят, он правил потому, что считал это долгом, считал себя обязанным передать сыну принятое от отца. Только ли в этом, однако, он видел свой долг?

Он сознавал, что его не уважают, но не мог иначе. Однажды, глянув на свой портрет, над которым работал художник Серов,



Заседание Государственного совета.

регулярно писавший царское семейство, Николай сделал тонкое замечание, и художник не смог скрыть удивления. Царь понял и сказал: «Вы удивлены, Валентин Александрович? Это потому, что вы считаете, что я – царь. А я ведь все-таки еще и гвардейский полковник». Будь Николай Романов лишь гвардейским полковником, он, возможно, оставил бы по себе добрую память, он был любящим мужем, заботливым отцом, по томикам Чехова в его личной библиотеке видно, что их усердно читали. Но в государственных делах, равно как в отношении к людям, он был недалек и равнодушен. По случаю его коронации устроили гулянье на Ходынском поле, где при раздаче царских подарков толпа затоптала насмерть чуть не полторы тысячи человек. Но Николаю это не помешало веселиться и танцевать на балу.

Однако и отречение, и пребывание под арестом, и даже расстрел он принял равнодушно, ничто его не заботило, кроме судьбы жены и детей. По одной из версий в момент расстрела он даже пытался заслонить сына собой. Неужто же простая мысль



Картина И. Е. Репина

отречься от постылого престола, передать его брату, кому угодно, благо родни в избытке, не приходила ему в голову? Или он сознавал обреченность империи, во главе которой оказался, сознавал, что реформы, затеянные дедом, быть может, и улучшат жизнь людей, которые его не волновали, но сделают Россию совсем другой? А он ни в коем случае не хотел видеть ее другой, даже понимая, что и себя этим обрекает на гибель. Своим долгом, думается, он считал не столько передать империю больному сыну, сколько сохранить самодержавие как можно дольше, и верил, что так считает не он один, но и большинство русского дворянства, в чем, видимо, не ошибался.

Пореформенная страна уходила от привычного противостояния бар и мужиков, да и среди тех и других различия нарастали и переходили в распри. Дворянство, сменив удельную и служилую аристократию, уничтоженную в XVI–XVII веках, два последующих века занимало ключевые позиции и в основном тогда аграрном производстве, и в армии, и в чиновном аппарате. После реформы



*Константин Петрович
Победоносцев
(1827—1907).
Художник И. Е. Репин*

оно расколосось. Почти треть его разорилась и, частично уйдя в революцию, по преимуществу влачила жалкое существование. Небольшая часть сумела повернуть свои поместья на буржуазный лад и либо стояла за продолжение либеральных реформ, либо просто использовала открывшиеся возможности, не гадая об их расширении. Но преобладающая часть дворянства, даже и сохранив достаток, вместе с его потерявшей горько сожалела о невозвратных временах, и Николай адекватно отражал ее настроения.

Рассуждения о царе-дураке подменяют анализ трагической участи правящего класса внеэкономической системы, не находящего себе

места при социальных преобразованиях. И Александр, и Николай пытались помочь дворянству, но этим лишь затрудняли ему осознание необратимости происходящего. Между тем с 1861 по 1905 годы дворяне продали более 40% своей земли, а на оставшейся в их руках либо работали арендаторы, либо велось прежнее помещичье хозяйство, в котором крепостную барщину заменяли отработки за аренду. Лишь около 3% помещичьих хозяйств опиралось на наемный труд и новую технику. Крепкие хозяйства, дававшие товарный хлеб, к началу века составили около 15% от всех крестьянских, а в большинстве мельчавших было больше рабочих рук, чем работы, и они не могли прокормить даже своих владельцев. Община делила землю по числу едоков, которое росло, и на каждого приходилось все меньше.

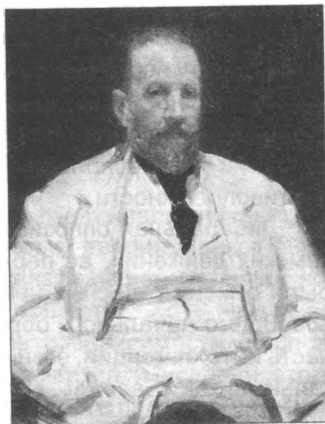
Отсюда и главное крестьянское требование: отобрать землю у помещиков. Однако сами по себе прирезки земли при сохранении общины спасли бы крестьян от голода, но не подняли бы уровень их хозяйства. Пореформенная деревня стала перенаселенной, а уходить людям было некуда. Переселение в колонии, начатое при Александре III, шло медленно. Вобрать еще больше деревенских жителей промышленность так быстро не могла. Преж-

де помещик продавал крепостных заводу или посылал туда за оброком, в людях была нужда, теперь свободных стало много, но спрос на неквалифицированную рабочую силу был невелик. Вот наше сельское хозяйство и осталось низкопроизводительным. Пшеницы в начале века в России собирали с гектара в три раза меньше, чем в Германии, и в пять раз меньше, чем в Дании. В результате незавершенности либеральных реформ аграрный вопрос остался ключевым для русских земель империи. Но для его разрешения ничего не делалось.

При установке на незыблемость иначе и быть не могло. Конечно, не все в высших сферах были единомышленниками царя. С. Ю. Витте, и при новом царе оставшийся министром финансов, понимал, что хозяйство, и в частности сельское хозяйство, должно вестись иначе. Но преобразование он связывал не с политическими реформами, хотя бы минимальными, а с развитием промышленности при финансовой помощи государства. Для этого и провел денежную реформу, давшую рублю золотое обеспечение, и восстановил винную монополию, доходы от которой стали важнейшей статьёй бюджета. По аграрному вопросу он яростно спорил с министром внутренних дел В. К. Плеве.

Витте выступал как решительный противник общины, настаивая на частной крестьянской собственности на землю, считая, что лишь ощутив себя хозяином земли крестьянин будет о ней заботиться и проявит инициативу в ее лучшем использовании. Он добивался большей помощи крестьянам со стороны Крестьянского банка и на местах, и при переселении на новые земли. Витте предложил реформу, которую осенью 1906 года стал проводить Столыпин. Плеве, напротив, настаивал на сохранении общины и поддержке разоряющегося дворянства.

Министры спорили на созванном царем «Особом совещании», большинство которого – а это все были высокопоставленные лица – поддержало Витте, но самодержец остался



*Сергей Юльевич Витте
(1849—1915).*

Художник И. Е. Репин

при своем мнении и не одобрил. Только в ходе революции, когда то же самое повторил Столыпин, царь, скрепя сердце, согласился. Любезное Николаю самодержавие, державшееся насильем, отступало только перед насильем. Это и обусловило в дальнейшем непропорционально значимую роль той части оппозиции, которая говорила с царем языком насилия.

Между тем оппозиция формировалась разнообразная. По советской традиции ее выстраивают по одну сторону самодержавия да еще упрекают разные группы за то, что не поддерживали друг друга. Но оппозиция сразу после 1861 года располагалась по разные стороны от царя. Либеральная стояла за преодоление внеэкономического феодального порядка, за буржуазное развитие, за упразднение самодержавия и замену его правовым государством в виде конституционной монархии или республики, которой правят законы, а не царская воля. Социалистическая оппозиция, напротив, стояла за недопущение буржуазного развития и замену феодализма иным внеэкономическим строем, социалистическим.

Никогда, пожалуй, представления о свободе не различались так сильно. Для одних свобода по-прежнему состояла в возможности помыкать крепостными людьми, для других – в преодолении крепостного и общинного ярма, в обретении индивидуальных возможностей, для третьих – в опекунстве нового самодержавия, но уже не злого царского, а доброго и прогрессивного. Конечно, в ту пору это не сознавалось так четко, и протест против существовавшего абсурда толкал людей, искавших выхода, то в одну, то в другую сторону, и в каждой оппозиции порой возникали симпатии противоположной. Но это не повод отвлекаться от их противоположности.

Либеральная оппозиция во многом складывалась на почве земских движений, ее первыми целями еще при Александре III были отмена телесных наказаний для крестьянства и введение всеобщего начального образования. К ней склонялась немалая часть интеллигенции, возникали общества и кружки – порой нелегальные, как «Беседа», организованная князьями Петром и Павлом Долгорукими, – начинавшие с обсуждения того, как помочь людям, и переходившие к политическим проблемам. В 1901 году земцы подали царю письмо, где, отмечая недоверие общества к правительству, требовали включения в Государственный совет

земских представителей. Они стремились к уравниванию прав крестьянства с другими сословиями в земствах и расширению прав самих земских учреждений, к созданию всероссийского земского органа и установлению свободы печати. В 1903 году был создан «Союз земцев-конституционалистов».

Царь не слышал либералов. Еще в январе 1895 года в своей программной речи он объявил либеральные мечтания «бесмысленными». В шпаргалке, подготовленной его идейным наставником К. П. Победоносцевым, было написано «беспочвенные», но самодержец счел это слово недостаточно выражающим его отношение к либерализму и усилил речь. Российским либералам, не имевшим возможности распространять свои взгляды открыто, приходилось делать это нелегально. В 1902 году в Штутгарте вышел первый номер журнала «Освобождение», редактором которого стал П. Б. Струве. Вокруг журнала возник либеральный «Союз освобождения», требовавший создания в России представительной системы и демократических и экономических свобод. Большинство либералов влилось потом в партию конституционных демократов (кадетов), которую после первого съезда в октябре 1905 года возглавил историк П. Н. Милюков.

В отличие от Милюкова Петр Струве вышел из так называемых «легальных марксистов», но авторы этого прозвища забывали, что Маркс и сам был в России легальной фигурой. «Капитал», вышедший по-немецки в 1867 году, без замечаний пройдя цензуру, был напечатан в России уже в 1872-м – в 1870 году родились Струве, Ленин, Гапон, Пуришкевич и другие заметные деятели эпохи, а в 1868-м – царь Николай. Люди этого поколения, начиная самостоятельно думать, легко могли знакомиться с взглядами Маркса.

Одни их игнорировали, другие – подхватывали главным образом утопическую сторону, а для третьих теория Маркса была попыткой объективной социологии, связывающей развитие хозяйства со структурой и состоянием общества. Хоть не все ее положения принимались, сама мысль о зависимости общественных перемен от хозяйственного развития и условий этого развития способствовала пониманию процесса преодоления феодализма и перехода к буржуазным отношениям.

То, что Россия начала этот процесс лишь недавно, великими реформами Александра II, делало для многих русских читателей

Маркса дорогие ему отдаленные итоги процесса не актуальными. Пока не достигнут определенный уровень развития, по теории Маркса роковые революционные катаклизмы не обязательны. Мысли Бердяева, Булгакова, Федотова, ставших ныне популярными на родине послереволюционных эмигрантов, тоже росли на теории Маркса и как ни менялись, ее влияние в них ощутимо.

После разгрома «Народной воли» и народнические представления Н. К. Михайловского, Н. Ф. Анненского (двоюродный брат Ткачева), В. Г. Короленко клонились к либерализму. Но уже при Николае активизировались практические продолжатели народничества, объединившиеся в 1901 году в организацию социалистов-революционеров (эсеров). Они требовали передачи общинам всей земли и регулярного ее передела между крестьянскими хозяйствами по трудовым возможностям и числу едоков, по-прежнему видя в крестьянской общине ячейку и опору социализма. Чтобы его установить, эсеры возродили индивидуальный террор и звали крестьян к аграрному террору, к захвату помещичьих имений. Как партия эсеры оформились на первом съезде в конце 1905 – начале 1906-го, и неизменным их лидером стал В. М. Чернов.

Большевики

К началу века в полемике с народниками и эсерами возникло и другое социалистическое движение, социал-демократическое, следуя теории Маркса, возлагавшее надежды на рабочий класс и совершаемую им революцию. Это был уже «нелегальный марксизм», не только потому, что призывы к революции сами по себе были нелегальны, но и потому, что практическое приложение теории крушения буржуазных отношений к стране, где они еще только начинали складываться, не вполне корректно. Тем не менее не только в России, а во многих феодальных странах оно приобрело огромный размах, и, не вдумавшись в причины этого, трудно понять происшедшее в России с теорией Маркса.

А родилась эта теория в Германии, тоже знавшей господство феодальной реакции, в преддверии и в ходе неудачной немецкой буржуазной революции 1848 года. Следы этой неудачи, как и печать феодальной реакции, хоть Маркс и был ее решительным

противником, ощутимы в его понимании природы буржуазных отношений. Он порой толковал их – и точно так же должны, по его мысли, прийти им на смену коммунистические отношения – во внеэкономическом, феодальном духе, как бы в противоположность шедшему в Англии перетолкованию феодальных правовых отношений в буржуазном духе.

Непременная заслуга русских марксистов, как легальных, так и нелегальных, в наглядном показе того, что и до реформ, и, особенно, после них, в России, вопреки популярной легенде о ее особом пути, дали себя знать буржуазные отношения. Однако ни те, ни другие, к сожалению, не слишком всматривались в конкретный характер развития российского капитализма.

А промышленный капитализм, возникавший при нашей феодальной власти, был по преимуществу государственным. Крупнейшие заводы создавались либо непосредственно государством, либо при его прямой поддержке и, строго говоря, отличались от прежних крепостных заводов только тем, что рабочие считались лично свободными, хоть при изначально государственно-монопольном производстве и, соответственно, слабой конкуренции держались за рабочие места крепче, чем их западные товарищи.

Преобладание в бурно развивавшейся промышленности казенных заводов, сама ее зависимость от государства как владельца или покровителя, сам государственно-монопольный характер многих производств повлияли не только на рабочий класс, но еще больше на буржуазию. В качестве единого класса она у нас так и не возникла. В нее включают и старое купечество, и занятых предпринимательством по долгу службы чиновников, но если рабочий класс в России все же возник, то буржуазия как особый общественный слой, более других нуждавшийся в либеральных переменах, в полной мере так и не сложилась.

Сложиться ей мешало и то, что немалое место в русской промышленности занимали заводы и фабрики зарубежных компаний. Инвестициями и новой техникой они способствовали развитию страны, но, поскольку самодержавие гарантировало им собственность на недвижимость и оборудование и возможность вывоза прибылей, их не занимали реформы, да и, вообще, социальный порядок в стране. Они довольствовались соблюдением условий, необходимых для своего конкретного предпри-

ятия. Тем самым владельцы немалой части заводов и фабрик выпадали из российской социальной и политической жизни, не входили в российскую буржуазию.

Социалистические партии объявляли русскую буржуазию реакционной. Государственные промышленники и впрямь не так выступали против господствующего феодализма, как составляли его часть, а иностранные сохраняли положение «вне игры». Отказ Николая от продолжения великих реформ деда возрождал феодальную реакцию, вроде бы дедом преодоленную, что и стало главной преградой к формированию в России среднего класса, который только и мог стать опорой правопорядка.

Тогда много рассуждали о необходимости взаимопонимания и сотрудничества власти и общества, но не говорили о причинах, кроме, понятно, воли провидения, по которым власть действительно правит даже тем, с чем общество и без нее справится. А причина – в феодальной претензии самодержавного государства, если не всегда прямо, то косвенно распоряжаться хозяйством страны.

По количеству занятых этим чиновников Россия далеко обогнала все европейские страны, где хозяйство было предметом самодеятельности граждан, мелких и богатых предпринимателей, крестьян и крупных землевладельцев, а государство регулировало лишь общие условия их свободы, координируя разные требования. Демократическое правление обществом держится на представительной системе, выражающей противоречивые друг другу интересы, и находит им компромиссные, нередко частичные, разрешения, позволяющие, однако, жить дальше. Там, где этого нет, как раз и появляются Дантоны, выходящие из рядов подлинной, а не номинальной буржуазии.

Николаевская Россия не только в зародыше уничтожала своих Дантонов, но жаждала обойтись вообще без буржуазии и в таком виде катилась навстречу революции. Царь все надеялся уловками и оружием отстоять незыблемость самодержавия, подрубаящего гармоничное экономическое развитие страны, то есть сук, на котором он сидел, что было уже чистой утопией. Отчего же другим было не мечтать о социализме, даже утопических предпосылок которого не было?

Социал-демократические кружки, подхватившие призывы группы «Освобождение труда», подобно европейским последовате-

лям Маркса отстаивали права еще немногочисленного в России пролетариата. В 1898 году в подполье прошел первый съезд делегатов разных кружков, провозгласивший создание Российской социал-демократической партии. На деле только на втором съезде социал-демократы (эсдеки) обозначили свои общие цели и одновременно выявились их внутренние разногласия. Единые в полемике с народниками, они задолго до первого съезда спорили, стоит ли бороться за улучшение положения рабочих при существующем строе. Еще тогда Ленин и близкие ему утверждали, что экономическая борьба осмысленна лишь ради политической борьбы за свержение существующего строя.

На втором съезде Ленин в отличие от европейских социал-демократов, чьи взгляды разделяли и Плеханов, и Мартов, настаивал не только на примате политической борьбы, но и на особенном устройстве партии, ведущей эту борьбу. Ленин считал, что ей мало быть сообществом единомышленников, он видел партию боевой организацией по образу и подобию народнических или возрождаемой эсерами. Он был против индивидуального террора, хотел более масштабных действий и говорил: «Дайте нам организацию революционеров – и мы перевернем Россию». Партия рабочего класса виделась ему партией социалистической революции.

То, что рабочие в России составляли еще явное меньшинство трудящихся, что в России еще не было буржуазной революции, а социалистическая, по мысли Маркса, наступает не просто после буржуазной, но лишь когда плоды последней достигнут высшего развития, Ленина не смущало. Его главное прибавление к теории Маркса – учение о партии и ее революционной роли переосмыслило и перевернуло всю эту теорию. В марксовской утопии надежды на то, что в итоге «экспроприаторов экспроприруют», не отменяли текущей жизни и повседневной борьбы за социальные гарантии трудящимся. В ленинской утопии желанный итог кажется куда доступнее, поскольку дело уже не за перипетиями экономического развития, а за боевой организацией, этим развитием не связанной, поэтому текущие социальные гарантии куда менее важны, чем подготовка и проведение социалистической революции в феодальной стране.

В этом большевики – а ленинцы стали так себя называть по итогу выборов руководящих органов на втором съезде после

ухода группы делегатов – не отличались от эсеров. И те и другие хотели уничтожить частную собственность и верили в замену николаевской реальности социалистическим идеалом. Различия возникали в характеристике самого идеала, или методов его установления, или его социальной опоры. Отсюда соперничество и вражда двух параллельных социалистических течений, отсюда их общее презрение к либералам, желавшим привести российские порядки в соответствие с объективными нуждами страны.

Царь тоже не хотел с этими нуждами считаться. От социалистов он, однако, отличался тем, что отстаивал счастье для меньшинства, для дворянства, коему оно было даровано его прапрапрабабушкой. А социалисты хотели даровать его большинству, крестьянам или рабочим, или тем и другим, для чего и хотели установить свою власть, свою диктатуру. Они искренне верили, что радеют за большинство и этим как раз и отличаются от царя. Мышление революционеров тоже складывалось под прессом крепостного права, еще не преодоленного, не говоря о вкладе разоренных дворян в революционный радикализм, и самоотверженно борясь за угнетенных, всей душой желая им добра, социалисты не интересовались, что те сами считают для себя добром.

Запоздалый реформатор

Тем временем стихийный протест нищавших людей нарастал. Противостояние России с Японией во влиянии на Китай и Корею не обязательно было доводить до войны, военный министр Куропаткин не скрывал, что армия к войне не готова, но Плеве сказал: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война», – и царь его поддержал. Плеве был одной из самых зловещих фигур царствования, и уже во время войны боевая организация эсеров его убила.

Война началась в январе 1904 года, в конце года японская армия овладела крепостью Порт-Артур, ранее взятой Россией в аренду у Китая, в начале 1905-го одержала решающую победу под Мукденом, а в мае у острова Цусима был уничтожен русский флот, шедший на подмогу из Балтийского моря вокруг Африки. Благодаря посредничеству американского президента Теодора Рузвельта, опасавшегося усиления Японии, реальные уступки России по

Портсмутскому миру свелись к передаче Японии китайского Порт-Артура и южной части Сахалина. Но военный престиж России был подорван, а полмиллиона убитых и раненых на бессмысленной войне еще больше обострили недовольство внутри страны.

Оно нарастало и прежде. Все чаще, особенно в южных губерниях, где крестьяне страдали от малоземелья, они захватывали помещичьи имения. Умножались забастовки в Петербурге и других промышленных районах. В начале января 1905 года в столице бастовали крупнейшие предприятия, и рабочая организация во главе со священником Г. А. Гапоном составила обращение рабочих к царю и быстро собрала под ним более ста пятидесяти тысяч подписей. 9 января с этой петицией, иконами и портретами царя рабочая демонстрация двинулась к Зимнему дворцу, надеясь найти защиту у царя, который, как уверял Гапон, не имеет ничего общего с корыстными интересами фабрикантов и сочувствует рабочим.

На Дворцовой площади демонстрантов встретили огнем, а казачья кавалерия с саблями наголо рассеивала растерявшуюся толпу. Открыто выраженное отношение высшей власти к рядовым людям еще больше, чем война, оказавшаяся не маленькой и не победоносной, изменило общественную атмосферу, и накопленное недовольство выплеснулось. Во второй половине дня в столице начались беспорядки. Питерскую всеобщую забастовку подхватили в Москве, в Риге, в Иваново-Вознесенске, в городах Польши, Украины, Закавказья. Крестьяне все чаще захватывали помещичьи имения. В июне восстали матросы броненосца «Князь Потемкин Таврический», и хоть другие корабли их не поддерживали, но отказались по ним стрелять. В декабре крупнейшая московская стачка переросла в вооруженное восстание, несколько дней державшееся против превосходящих гвардейских сил. То была высшая точка революции 1905 года, продолжавшей, хоть и затухая, полыхать и в 1906-м, и в 1907-м.

События 1905–1907 годов первыми в отечественной истории поименованы революцией, не смутным временем, не бунтом, не восстанием, не возмущением. Слово это из средневековой латыни, означает «поворот», «переворот» и лишь в новое время обрело политический смысл. Так обычно обозначают переворот стихийный, массовый и насильственный, движимый желанием множества людей изменить жизнь, ставшую невыносимой. Революция не «за», а «против», она ломает, но не строит, у нее есть

причины, но не цели. Ее участники, конечно, ставят перед собой те или иные цели, часто до противоположности разные, и стремятся их добиться, Волонтаристское, телеологическое сознание, видящее мир сквозь призму той или иной предвзятой схемы, нередко навязывает поднимающейся революции свои цели. Но равнодействующая стремлений разных ее участников и противников, как правило, ведет к итогу, лишь отчасти отвечающему таким целям. Как могучий стихийный взрыв, она, если не полностью, то частично, если не на деле, то в сознании, что-то в жизни меняет, но что именно – обнаруживается не сразу и зависит от того, какие силы в нее вступают.

Поскольку российская буржуазия существовала больше в потенции, чем в реальности, революция не могла стать буржуазной, и некому было объединить борьбу против самодержавия за правопорядок. Разные политические движения толковали и поворачивали народное возмущение на свой лад, нередко беспочвенный. Ленин, в ноябре вернувшийся из эмиграции, еще раньше обещал: «от революции демократической мы сейчас же начнем переходить... к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на полпути». Эсеры, влияние которых было посильней, тоже не предложили восставшим внятную и реалистическую программу. И те и другие надеялись, что по доверию восставших им достанется власть, а там уж они будут действовать по своему усмотрению, то есть, хоть и по-разному, строить социализм. А люди восставали не за социализм, а против невыносимой жизни.

Но это все же была революция, в ней сгорело много иллюзий, и среди них вера в царя. Царь, расправляясь с восставшими беспощадно, все же хотел эту веру как-то подкормить. При его убежденности, что самодержавие – лучшая форма правления, это было нелегко. Прежде он твердо отвергал реформаторские попытки Витте и ставшего министром внутренних дел виленского губернатора П. Д. Святополка-Мирского. Но когда под ногами загорелась земля, в ответ на просьбы министров и родственников, он выдал из себя обещание привлечь избранных представителей народа к предварительному обсуждению законодательных предположений. Сменивший Святополка-Мирского А. Г. Булыгин уже разработал проект законсовещательной думы. Но 17 октября, в разгар всеобщей стачки, перепуганный царь пошел даль-

ше и подписал Манифест, дарующий гражданские свободы и законодательную думу.

Конечно, избирательные законы с многоступенчатым голосованием по куриям и сословиям давали власти возможность влиять на исход выборов. Любопытно, что ради этого 49% выборщиков должны были составить крестьяне. В их безусловную приверженность царю наверху верили не по глупости: крестьянство страдало от помещиков и видело в царе защитника. Правда, царистские иллюзии крестьянства не всегда замыкались на правящем царе, не раз оно поддерживало самозванцев, и Пугачев выступал как «царь Петр III». Вот и на сей раз крестьянство не оправдало надежд.

В собравшейся 27 апреля 1906 года Первой Государственной Думе оказалось всего 13 «октябристов», то есть членов умеренно-правой партии сторонников октябрьского Манифеста, а правее их там не было никого. Преобладали кадеты (153) и партия «трудовиков» (107), в основном крестьянская. Эсеры и большевики выборы бойкотировали. В итоге большинство депутатов стояло за принудительное отчуждение помещичьей и прочей земли; кадеты – частичное, трудовики – полное, чтобы дать ее крестьянам, а царь еще раньше такое решение отверг.

Петр Аркадьевич Столыпин был назначен министром внутренних дел 26 апреля, накануне созыва Думы, когда состав ее был уже известен. Перед этим он губернаторствовал в Саратове, где твердой рукой подавлял беспорядки, в этом качестве на него и возлагались надежды. Но еще раньше он губернаторствовал в Гродно, а до того был предводителем дворянства Ковенской губернии. Там, в Литве, он наблюдал хуторское крестьянское хозяйство, стал его сторонником и врагом общины, которую решил ликвидировать. Но договориться об аграрной реформе ни с трудовиками, ни хотя бы с кадетами шансов не было, и 8 июля Дума, проработав два с половиной месяца, была царским указом распущена, а Столыпин



*Петр Аркадьевич
Столыпин
(1862—1911)*

назначен еще и председателем совета министров. Тут он и убедил царя подписать 9 ноября указ о свободном выходе из общины.

Вторую Думу избирали по той же схеме, царь еще верил в мужиков, неудача казалась случайной. Но в Думе, собравшейся 20 февраля 1907 года народников было еще больше – 104 трудовика, 37 эсеров и 16 народных социалистов, да еще 65 социал-демократов. Кадетов, правда, стало поменьше, а октябристы и более правые получили зато 54 места. Второй Думе Столыпин предложил указ от 9 ноября как программу, ориентированную, по его словам, на трудолюбивого крестьянина-собственника в противовес крестьянину-бездельнику. Крестьянские, да и кадетские, депутаты обращали его внимание на невозможность судить о трудолюбии, если некуда приложить свой труд, если нет земли, сам по себе выход из общины ее не прибавляет.

Но Столыпин, желавший избежать отчуждения помещичьих и церковных земель, завершил тогда свою речь в Думе знаменитой фразой: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» 3 июня уже и вторая Дума, проработавшая три с небольшим месяца, тоже была распущена, и опубликован новый избирательный закон, коренным образом изменивший состав будущей Думы, назначенной собраться 1 ноября. Роспуск второй Думы вошел в историю как государственный переворот. Царь считал, что опасность миновала.

По новому закону в третьей Думе оказалось 13 трудовиков, 18 социал-демократов, 54 кадета, зато октябристов – уже 154, а крайне правых – 50 человек. Лицо Думы полностью изменилось, и общее число депутатов уменьшилось до 442. Эта Дума просуществовала весь положенный срок, и 14 июня 1910 года царь утвердил принятый ею, а затем и Государственным советом, закон, воплотивший намерения Столыпина, провозглашенные указом от 9 ноября.

Теперь каждый крестьянин, владевший землей по общинному праву, мог закрепить за собой свою землю, а если она превышала норму, излишки оставались за ним при выплате общине их стоимости по выкупной цене 1861 года, то есть более низкой. А если переделов земли не было более 24 лет, то и бесплатно. Формально на это требовалось согласие сельского схода, но если его не было, месяцем позднее выдел мог произвести земский начальник. Община обязана была, по требованию выделявшегося, дать ему не чересполосную землю, а компактный участок, отруб,

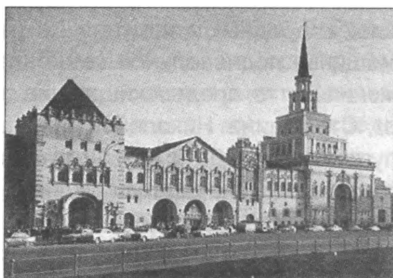
или хутор. Крестьянский банк продавал крестьянам удельные, государственные и закупаемые банком помещичьи земли. Из центральной России крестьян переселяли в Сибирь, на Северный Кавказ и в Среднюю Азию.

Из 9 с половиной миллионов дворов, владевших землей по общинному праву, выдилось около двух, то есть немногим более пятой части.

Выделение бурно шло еще по царскому указу, в 1908–1909 годах, а к принятию закона уже спадало, и массовая хуторизация не свершилась. Переселенческая политика не разрядила центральные губернии, а многие семьи при переселении разорялись и возвращались на родину, где уже не было ни кола, ни двора. В Казахстане с земель, предназначенных для заселения, предварительно сгоняли кочевавших там казахов. Ориентация нового закона на свободного и сильного крестьянина была хороша, но он уже не мог изменить ситуацию.

Более того, выделив некоторое количество крепких крестьян, хоть и не имевших достаточно земли, чтобы обеспечить страну товарным хлебом, реформа ускорила обезземеливание и обнищание остальных, как раз и составивших позднее основную массу недовольных в деревне. Видя, что собственность достается немногим, они еще меньше стали надеяться на желанную Столыпину крестьянскую частную собственность на землю. Реформа явно не удалась, она не прибавила сельскому хозяйству ни достатка, ни производительности. Да и не отвлекла крестьянские стремления от помещичьей земли, даже и крепкие хозяева поглядывали на нее с вожделием. Но составляя менее 5% деревенских жителей, сами они стать опорой монархии, как мечтал Столыпин, не могли.

Начатые Столыпиным преобразования были слишком недолгими, но прервались они, главным образом, потому, что начались слишком поздно, когда деревня уже сильно переменялась. Прими подобные предложения вступивший на трон Александр III, они, возможно, еще преобразили бы страну, сформировали бы в деревне



*Казанский вокзал в Москве.
Архитектор А. В. Щусев*

слой свободных и зажиточных крестьян, способный вытеснить помещичье подневольное землевладение. Но не случайно предложения Витте, предвосхищавшие столыпинские, были отвергнуты, и от Столыпина Николай II принял их только под угрозой новой пугачевщины. Да и сам Петр Аркадьевич, при несомненном уме, говаривал: «сначала успокоение, потом реформы», тогда как реформам как раз надлежало стать средством успокоения.

Но этого и не хотело, и не могло хотеть самодержавное государство. Когда Александра Николаевича убили, а Константин Николаевич отошел от дел, среди правителей империи не осталось людей, стремившихся хоть как-то упредить социальное напряжение, сыскать ему плодотворный для страны выход. Новые правители, напротив, открыто противостояли нуждам развивавшегося общества, и когда 9 января невозможность такой жизни стала очевидна всем, кроме того и тех, кто страной правил, новой пугачевщины было уже не избежать. Столыпин потерпел неудачу просто потому, что без ликвидации помещичьего землевладения изменить положение деревни было уже невозможно, а еще в 1881 году, не говоря о 1861-м и, тем более, 1825-м – очень даже возможно.

Нынче охотно вспоминают слова Столыпина: «Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России», но забывают, почему он или такой, как он, не начал на двадцать лет раньше. А лишь в 1906 начали не потому, что Россия до того не рождала дальновидных людей, но пока не грянул гром, хода наверх им не было. Предполагаемые кризисы можно наперед предотвращать чисто экономическими мерами, но лишь покуда множество людей не осознало их политически и не вышло на политическую сцену. Чуть это произошло – а 9 января это и произошло, – экономические реформы без политических бесплодны.

Реформы Столыпина не решили ни политических, ни экономических задач, ради которых затевались. Ширившийся слой крепких крестьян стал опасным соперником помещиков, но ухудшившееся положение основной массы крестьянства сделало и ее опасной. А царь и его главная опора, помещики, шли на реформы ради своей безопасности. Разочаровавшись в Столыпине, они и в Государственном совете, и в Думе стали откровенно действовать против него.

Отклоняя просьбу Петра Аркадьевича об отставке, поданную 5 марта 1911 года, царь лишь уклонялся от признания провала

политики 3 июня, если не 17 октября. Через месяц после убийства Столыпина императрица говорила сменившему его на посту премьер-министра Коковцеву: «Не надо так жалеть тех, кого не стало... Каждый исполняет свою роль и свое назначение, и если кого нет среди нас, то это потому, что он уже окончил свою роль и должен был стухнуться, так как ему нечего было больше исполнять».

Столыпину «нечего было исполнять». Искренний и смелый слуга самодержавия, он жаждал пересилить его отвлечение от реальности прежде всего в деревне. Но самодержавие пренебрегает реальностью по своей природе и оглядывается на нее лишь в минуты роковые. Едва почудилось, что опасность миновала, старания Столыпина, к тому же бесплодные, стали не нужны. 1 сентября его смертельно ранил в Киевской опере Богров, анархист и сотрудник охраны одновременно. Двойное лицо убийцы обрекло догадки о его вдохновителях на противоречивость. Известно, однако, что высокие чины охраны, включая заместителя Столыпина по министерству внутренних дел, помогли убийце проникнуть в театр, где быть ему не было положено, но царь защитил полицейских чиновников от расследования. Но был ли Столыпин убит в угоду царю или физическая гибель совпала с политической смертью случайно, стало ясно, что царь не намерен спасти царство даже и незначительными уступками.

Сетуют, что из Столыпина не вышел Бисмарк, но забывают, что не просто Николай Александрович Романов не выносил людей с убеждениями, а самая суть самодержавия – это свобода произвола. Столыпин всей душой служил самодержцу и не раз повторял, что Манифест и Дума, вопреки рассуждениям кадетов, не ограничивают царскую волю. Но и в тех скромных размерах, в каких реформы состоялись, его деятельность объективно вела к тому, чтобы произвол, препятствующий экономическому хозяйствованию, как-то ввести в рамки, то есть ограничить.

Конечно, Столыпин старался этим спасти самодержавие, конечно, царь, не желая поступиться принципами, вел самодержавие к гибели, но наивно думать, что зло состояло в личных свойствах Николая. И тогда, и особенно потом говорили, что, окажись на троне кто другой, не было бы революций 17 года. Исключать такое нельзя, но лишь в том случае, если бы другой царь шел на уступки реальности, на самоограничение, обратившись из царя-самодержца, в конституционного монарха, как

мечтал вождь кадетов Милюков. А это все равно стало бы концом самодержавия, разве что мирным и до 17 года.

Именно этого и не хотели русские помещики, не видевшие себе в другой жизни места, сопоставимого с прежним. Первый из этих помещиков, царь, именовавший себя хозяином земли русской, был убежден, что самодержавие по душе не одним помещикам, но всему народу. Правы считающие, что Распутин, от влияния которого, кстати, Столыпин первым пытался царя оградить, воплощал для Николая любезный ему облик святой простонародной Руси. Николай Романов с Григорием Распутиным не пьянствовал и не развратничал. Царь воспринимал его пристрастия, не то что совсем не свойственные народу, неотделимыми от главного – от присутщего, по его мнению, народу пристрастия к самодержавию, в которое царь и царица свято верили.

Распутин был хитер и ловок, давал советы, которые хотели слышать. Конечно, его влияние на государственные дела, особенно в 1916 году, во время войны, было немалым и не всегда безвредным, но угодничество перед ним красноречиво рисует российскую правящую «элиту», и наивно было ожидать, что его физическое устранение ее исправит, заставит думать о насущных интересах страны больше, чем о своих карьерных и шкурных. Его убийство, как и убийство Столыпина, ничего не изменило. Уже это не велит преувеличивать его роль, как и роль истерички царицы, не говоря о другом, искавшей в нем спасение для наследника, которому она – гемофилия передается по женской линии – принесла ужасную болезнь, да и самого царя. Распутин помогал царю укрыться от других влияний и с верой, что упрямство спасет, вести страну к гибели.

Первым шагом ей навстречу было вступление в мировую войну для защиты Сербии от Австро-Венгрии, после убийства в Сараеве наследника австрийского престола членом сербской националистической организации. Война, в которую тотчас вступили Германия, Франция, Англия и другие страны, сразу стала мировой. Шла она с переменным успехом, и через два с лишним года ей еще не было видно конца. Людские потери росли, и крестьяне на фронте тяготились войной, победа в которой никак не изменила бы их тяжелое положение дома, изменять которое царь и верховный главнокомандующий не собирался. В любой день и на фронте, и в тылу могло произойти что угодно.



*Историк
Степан Борисович
ВЕСЕЛОВСКИЙ
(1876–1952)*

*Глава
девятая*

ОТ СЕМНАДЦАТОГО ДО ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО

Февраль

Павел Николаевич Милюков, видный историк и лидер кадетской партии, говорил, что народ совершил в феврале революцию, чтобы победоносно завершить войну. Потом и советские историки писали, что Февральскую революцию устроили ради продолжения войны, только устроил не народ, а кадеты, вот революция и вышла «неполноценная». Схожим образом ее поздней клеймили противники нового порядка, не так обличавшие советское самодержавие, как оплакивавшие старое. Между тем Февральская революция – лучшее свидетельство того, что самодержавие разрушило себя само. Последние цари из дома Романовых, отметившего перед войной трехсотлетие, Александр III и Николай II, упрямо сопротивлялись насущным для страны реформам, шли на них лишь в страхе перед всеобщим бунтом и брали обратно, едва угроза слабела. Оттого Февральская революция и была стихийной и быстрой.

В конце восьмидесятых пристав говорил студенту Ульянову: «Молодой человек, перед вами стена». А студент отвечал: «Стена, да гнилая. Ткни и развалится». Студент еще ошибался. Но последний царь столь упрямо не считался со здравым смыслом, что все здание империи прогнило и впрямь достаточно стало ткнуть. Война истощила страну, железные дороги не справлялись с доставкой продовольствия и топлива в города, не исключая столицу. То и дело вспыхивали забастовки и собирались митинги. 23 февраля по старому стилю, в международный женский день, более ста тысяч работниц и рабочих вышли на улицы Петрограда

с плакатами «Хлеба!», «Верните наших мужей!», «Долой войну!», 24 февраля бастовало уже больше двухсот тысяч, и к прежним лозунгам прибавился «Долой царя!». 25 февраля забастовка стала всеобщей.

Против бастующих двинули воинские части, но 27 февраля солдаты объединились с забастовщиками, и правительство потеряло власть. Надеясь ее удержать, Николай еще 26 февраля дал указ о роспуске Думы, но Дума не разошлась, а образовала Исполнительный комитет во главе со своим председателем М. В. Родзянко. Параллельно восставшие создали Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Первого марта Исполнительный комитет и Совет по соглашению образовали Временное правительство во главе с известным земцем, князем Г. Е. Львовым, мгновенно признанное страной.

2 марта начальник штаба генерал Алексеев известил царя, что все командующие фронтами советуют ему для блага России отречься от престола, и карандашом на обрывке бумаги Николай за себя и царевича Алексея написал отречение в пользу брата Михаила. Царь, возможно, надеялся, что карандаш послужит потом знаком нелегитимности отречения. Михаил Александрович сразу, 3 марта, отрекся, выразив надежду, что образ будущего правления Россией определит Учредительное собрание. На этом Российская империя официально кончилась.

Прежние проблемы остались новому правительству. Самой актуальной была продолжавшаяся война, которая как бы мешала провести выборы в Учредительное собрание. А только оно могло законно и убедительно решить, как жить дальше, разрешить ключевые проблемы империи – аграрную и национальную. Чем дольше их решение откладывалось, тем меньше верилось, что они будут решены. Уклонение от созыва Учредительного собрания перечеркивало революцию. Но Временное правительство не спешило.

Его удерживала не одна только верность союзническому долгу в войне, точнее сказать, внешним интересам империи, терявшая смысл, когда империя пала. Уже эта верность выдавала надежду Временного правительства империю удержать. Но такая надежда, в свою очередь, выдавала надежду как-то удержать и основы прежнего внутреннего строя, отвечавшие расстановке сил в Четвертой Думе. А там, коль скоро крайне правых монархистов скомпрометировала революция, преобладали ок-

тябристы и кадеты, как раз и составившие Временное правительство, где единственным исключением стал трудовик (позднее эсер) А. Ф. Керенский в качестве министра юстиции.

По другую сторону двоевластия, в Петроградском Совете, преобладали эсеры и меньшевики. Большевиков стихийная революция не увлекла, и заметного места в Совете они не заняли, да и были тогда небольшой партией. А эсеры и меньшевики, верховодившие в новом революционном органе власти, не только не провозгласили его высшим, но и не настояли на немедленном созыве общенародного Учредительного собрания. Так выборы в него и откладывались.

Провозгласив демократические свободы, но уклоняясь от выборов, Временное правительство так и не довело до конца робкие перемены, начатые революцией 1905–1907 годов и реформами Столыпина. Февраль не стал полноценной буржуазной революцией, преобразующей не только облик жизни, но и отношения собственности, прежде всего земельной, и характер хозяйства. Да у буржуазной революции и немного было тогда решительных сторонников. Не говоря об октябристах, даже кадеты, начиная с их лидера Милюкова, страшились провозглашения России республикой, грозившего отпадением имперских колоний. А эсеры и меньшевики вообще были противниками буржуазных порядков и в политической демократии видели не залог экономической свободы, а путь к социализму.

Большевиков от них отличали на первый взгляд лишь радикальность и решительность. Апрельские тезисы Ленина, в начале месяца вернувшегося в Россию, не только отказывали в поддержке Временному правительству, но звали к продолжению революции ради установления социализма. Новый лозунг «Вся власть Советам» подразумевал завоевание там большинства большевиками и, при капитуляции Временного правительства, мирный захват власти, а в противном случае – вооруженное восстание.

Других социалистов, особенно меньшевиков, ленинские призывы шокировали несообразностью с теорией Маркса, Плеханов назвал их бредом, да и части большевиков во главе с Л. Б. Каменевым социалистическая революция казалась преждевременной. Но, хоть призыв к ней в полуфеодальной стране и впрямь был далек от Маркса, которым клялись большевики, верным зато



*Владимир Ильич
Ульянов (Ленин)
(1870—1924).
Скульптор Н. А. Андреев*

было ленинское ощущение политического вакуума. Ни правительство, ни Советы, не в состоянии были действительно ответить миллионам, не ощутившим облегчения от падения царя. Никто, и менее всего сам Ленин, не задавался вопросом, чем на деле станет переход от феодализма к социализму, и критики Ленина лишь отмечали, что явно не тем, что воображал Маркс.

Между тем недовольство нарастало. 21 апреля в ответ на заявление министра иностранных дел Милюкова о решимости продолжать войну до победы прошла стотысячная антивоенная демонстрация в Петрограде. Милюкову и военному министру Гучкову пришлось из правительства уйти, на пост военного и морского министра продвинулся Керенский,

под давлением Петроградского Совета министром земледелия стал Чернов, и в правительство вошло еще четверо эсеров и меньшевиков. Начались разговоры о мире и аграрной реформе. Но провал июньского наступления на Юго-Западном фронте обострил кризис.

Его усугубляли и обнажавшиеся национальные противоречия. Кадеты стояли за неделимость государства, официально именовавшегося Российской империей, но входившие в нее колонии хотели, если не полностью отделиться, то обрести широкую автономию, тем более, что некоторые из них, как Польша и, особенно, Финляндия, известную самостоятельность имели, пусть при последних царях и ущемлявшуюся.

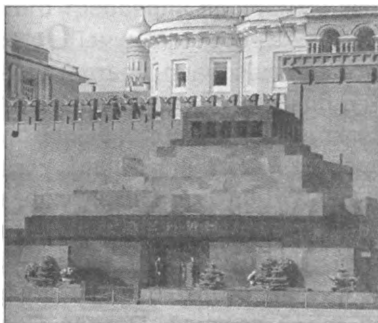
Не желая дать автономию Украине, где после Февраля возникло свое правительство, Центральная Рада, министры-кадеты 2 июля подали в отставку. Растущее недовольство выплеснулось в массовых демонстрациях, требовавших ухода всего Временного правительства и передачи власти Советам. 4 июля в столичной антиправительственной демонстрации участвовало чуть

не полмиллиона. Звучали не одни призывы к восстанию, но и стрельба готовых его начать.

Правительству удалось рассеять демонстрантов и овладеть ситуацией. В Петрограде ввели военное положение, заменили воинские части. Правительство возглавил Керенский, и теперь там преобладали эсеры и меньшевики. Атмосфера в стране ожесточилась. Ленину, уже прямо призывавшему к восстанию, поставили в вину возвращение через воевавшую против России Германию, получение денег от немецкого Генштаба и шпионаж в пользу противника. Был издан приказ о его аресте. Многие большевики перешли на нелегальное положение.

Опасаясь восстания, Керенский заменил на посту главнокомандующего А. А. Брусилова Л. Г. Корниловым, надеясь с его помощью укрепить власть. Но когда по приказу Корнилова к Петрограду двинулся конный корпус Крымова, Керенский объявил генералов мятежниками и, справившись к 31 августа с мятежом, 1 сентября назначил верховным главнокомандующим себя. На следующий день он провозгласил Россию республикой и сосредоточил власть в руках Директории из пяти министров, а 25 сентября образовал новое правительство, в котором кадеты были уже в меньшинстве.

Еще раньше, в начале сентября, председателем Петросовета был избран Л. Д. Троцкий, известный социал-демократ, незадолго перед тем пришедший к большевикам. 7 октября на заседании созданного властями Предпарламента Троцкий потребовал передать всю власть Советам, а когда это требование отклонили, покинул Предпарламент вместе с остальными большевиками и частью эсеров. Тут и вырисовался взятый большевиками, в противовес другим социалистическим партиям, тоже противившимся буржуазным порядкам, курс на вооруженный захват власти. Альтернативой ему продолжали оставаться уже назначенные на 12 ноября выборы в Учредительное собрание, способные выяснить реальную волю населения.



*Мавзолей Ленина
на Красной площади в Москве.
Архитектор А. В. Щусев*



*Лев Давыдович
Бронштейн (Троцкий)
(1879—1940)*

Большевики не были уверены, что на выборах победят, но понимали, что и вооруженное восстание даст желаемый эффект лишь до созыва Собрания, и 10 октября, взяв на себя роль съезда партии, ЦК большевиков принял (не единогласно) решение о восстании. 12 октября при Петроградском Совете был создан Военно-революционный комитет, в который наряду с большевиками вошли левые эсеры. Им руководил Троцкий.

Воскресший лозунг «Вся власть Советам» служил теперь призывом к восстанию. Не полагаясь на стихию, восторжествовавшую в Феврале, большевики тщательно готовили предстоящую революцию и не делали из этого тайны. Но правительство Керенского бездействовало. Когда 24 октября организованная большевиками Красная гвардия захватывала в столице почту, телеграф, мосты, вокзалы, она не встречала сопротивления. Только у Зимнего дворца, где находилось правительство, ей дал отпор отряд юнкеров и добровольческий женский батальон. Уже 25 октября столица была в руках большевиков, а в ночь на 26-е пал Зимний.

Октябрь

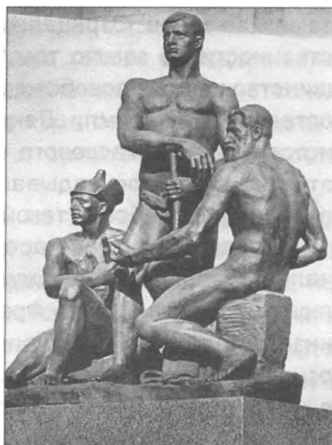
Вечером 25 октября открылся Второй съезд Советов. Из 739 делегатов 338 были большевики, а 127 – левые эсеры, поддержавшие восстание. Правые эсеры и меньшевики, когда съезд отверг их призыв к переговорам с Временным правительством, ушли. Позднее, ночью, министров (за исключением Керенского, выехавшего на фронт) арестовали. Левые эсеры, хоть и остались на съезде, сперва в правительство не вошли, опасаясь разрыва со своей партией. Первое Советское правительство из одних большевиков представляло меньшинство Съезда Советов и тоже считалось Временным, то есть все еще ждали созыва Учредительного собрания. Правительство назвали: Совет народных

комиссаров, Совнарком. Председателем Совнаркома стал Ленин, наркомом иностранных дел – Троцкий.

Съезд сразу принял декреты о мире, о земле, о власти, 29 октября к ним прибавился декрет об установлении восьмичасового рабочего дня, 2 ноября – Декларация прав народов России, 10 ноября упразднили прежние сословия, 18 декабря провозгласили равноправие, независимо от пола, а позднее и от религиозной, и этнической принадлежности. 23 января последовал декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Эти и другие первые основополагающие декреты, по преимуществу, конечно, декларативные, сулили перемены, актуальные с 1905, если не с 1861 года. Политически – но не практически – упраздняя феодальные нормы, они завершили буржуазную революцию.

Декрет о земле и Декларация прав народов России, отвечали на основные кризисные вопросы. Декрет о земле, в соответствии с многочисленными крестьянскими наказами, отменял частную собственность на землю и вводил уравнительное землепользование с переделами земли. Этого требовала программа эсеров, но не большевиков, и, говорят, Ленин принял чужую программу, чтобы добиться поддержки крестьян, превращавшей захват власти в революцию. Если такой расчет и был, неверно считать его лишь уловкой. Эсеры выражали волю крестьян, а Ленин, хоть и говорил от имени пролетариата, ощущал, что, фактически, если в России был тогда революционный класс, то прежде всего крестьянство, доведенное до предела безземельем и войной, и кто хотел возглавить революцию, не мог не стать новым Пугачевым, воплощающим крестьянскую волю.

Конечно, отмена частной собственности на землю с буржуазными отношениями не согласуется, однако только появление земли в собственных руках способно возбудить в крестьянине, не забывшем крепостное право, стремление юридически закрепить



Октябрь.
Скульптор А. Т. Матвеев

землю за собой. Отрицание русским крестьянством частной собственности на землю тем, прежде всего, и вызвано, что большинство и после освобождения, и после Столыпинской реформы оставалось без земли. Декрет о земле был первым в российской истории актом массового наделения крестьянства землей и в этом качестве прокладывал дорогу буржуазной реформе, хоть и позволял пренебречь такой реформой.

Декларация прав народов России, казалось бы, тоже отвечала не запросам ее буржуазии. Известно, что буржуазные революции и в Англии, и во Франции не только не покончили с колониализмом, но расширили его. Однако развитие буржуазных отношений вскоре побудило колонии – Соединенные Штаты уже с 1775 года – претендовать на независимость. В Российской империи, тормозившей буржуазные перемены, колонии нуждались в них не меньше русских земель, а иные и больше, и признавая, пусть на бумаге, право колониальных народов России на самоопределение вплоть до отделения, большевики и тут обращали миллионы противников царской власти в своих если не прямых сторонников и не всегда союзников, то партнеров. Не случайно в их рядах было много инородцев – и армян, и грузин, и евреев, и латышей, и поляков, и мусульман разной этнической принадлежности. Позиции в аграрном и национальном вопросах обеспечили большевикам победу.

Принятые декреты изменили отношения с другими социалистическими партиями. Правые эсеры и меньшевики вошли в состав высшего органа власти – Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, а левые эсеры в Совнарком. Обладая большинством в Советах, большевики, однако, не рискнули отменить еще при Керенском назначенные выборы в Учредительное собрание, тем более, что его созыв был одним из их собственных главных лозунгов, и они сами винули Временное правительство в уклонении от выборов.

Но через две с небольшим недели после революции, на выборах 12 ноября, из 715 мест (по другим данным из 707) эсеры получили 412 мест, из них левые – 30 (по другим данным правые – 370, левые – 40), большевики – 183 (175), меньшевики – 17 (16), кадеты – 16 (17), национальные партии – 81 (89). За социалистические партии голосовало более двух третей населения, но и среди них за большевиков – явное меньшинство, тогда как

правые эсеры, даже без левых, имели абсолютное большинство. Стало очевидно, что, отвергая не только самодержавие, но даже либеральное буржуазное правление, большинство населения не хочет и крайнего радикализма большевиков, хоть и ставших после первых декретов второй по популярности партией.

Большевики могли, сославшись на то, что избирательная кампания шла еще до революции, что правые и левые эсеры в ней выступали как единая партия, провести новые выборы, но, видимо, сознавали, что вряд ли добьются лучшего результата. И вот 28 ноября, в день, когда Учредительному собранию надлежало собраться, Ленин подписал декрет о запрете кадетской партии, имевшей менее пяти процентов в Учредительном собрании, и ее лидеры, включая депутатов, а заодно и некоторые депутаты – правые эсеры были арестованы. Созыв собрания назначили на 5 января, к этому дню была подготовлена Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, где перечислялись принятые новой властью декреты и постановления. 5 января перед Таврическим дворцом, где было назначено заседание, состоялась огромная демонстрация в поддержку Учредительного собрания, и большевики, стреляя по демонстрантам, убили 10 человек.

Во дворце, после избрания лидера эсеров В. М. Чернова председателем, Я. М. Свердлов, недавно избранный председателем ВЦИК, зачитал подготовленную Декларацию и предложил депутатами ее принять. Накануне ВЦИК постановил, что вся власть в России принадлежит Советам и любая попытка присвоить себе государственные функции будет рассматриваться как контрреволюционное действие и подавляться всеми средствами вплоть до вооруженной силы. То, что сама Советская власть проводила выборы в Учредительное собрание, сами большевики в него баллотировались и поначалу участвовали в его работе, для них, как обнаружилось, ничего не значило.

Декларацию начали обсуждать и быстро подтвердилось, что содержание первых декретов у социалистического большинства Собрания возражений не вызывает и для него неприемлемо лишь провозглашение России Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, да и то лишь тем, что перечеркивает учредительный характер всенародно

избранного Собрания. В ответ на отказ большинства безоговорочно признать высшую власть за Советами, большевики, а с ними левые эсеры, украинские эсеры и мусульманские депутаты ушли с Собрания. Лидер большевистской фракции Н. И. Бухарин объявил с трибуны, что большевики намерены вести гражданскую войну, а не искать примирения. Гражданская война и стала целью партии.

Партия еще называлась тогда РСДРП(б), то есть официально была социал-демократической и провозглашала своими целями социализм и демократию. Можно спорить, в какой мере эти цели были совместимы и, вообще, в ту пору реальны. Но, так или иначе, объявление войны всенародно избранному Учредительному собранию означало отказ от демократии, и вскоре, в начале марта, на своем VII съезде РСДРП(б) назвалась Российской коммунистической партией, РКП(б). Демократию выбросили даже из названия, и Ленин объявил, что партия сбросила грязное белье социал-демократии.

Практической нужды в демонстративном разрыве с демократией в тот момент у большевиков еще не было. Учредительное собрание после их ухода продолжало заседать и приняло ряд законов и заявлений, совпадавших с первыми декретами большевиков, тем более, что идеи ряда из них, как говорилось, пришли от других социалистов. Собрание приняло земельную конституцию, по которой земля безвозмездно обращалась во всенародное достояние для пользования на началах равенства, аналогичную декрету о земле. Россия была провозглашена демократической республикой и признан суверенитет входивших в империю народов, опять же, как в Декларации прав народов России.

Но большевиков не привлекло отсутствие принципиальных разногласий, их не прельстила возможность принять основополагающие нормы нового государства демократическим путем. Ночью начальник охраны Железняков заявил, что караул устал и предложил депутатам покинуть помещение. Утром 6 февраля они его покинули, а поздним вечером того же дня ВЦИК издал декрет о роспуске Учредительного собрания. Той же ночью революционные матросы убили в Мариинской больнице депутатов от кадетской партии Кокошкина и Шингарева. Так в ночь с 6 на 7 января был совершен государственный переворот.

Революция или переворот?

В позднейших политических противоборствах то революцию 25 октября именуют переворотом, то переворот 6 января числят продолжением революции. Но революция 25 октября – не переворот уже потому, что не только не отменила, но выполнила главное дело Февральской революции – провела выборы в Учредительное собрание, от чего уклонялись прежние правительства, и трудно утверждать, что без Октября эти выборы в любом случае бы состоялись. Точно так же нельзя счесть переворот 6 января продолжением революции уже потому, что он совершался против четко выраженной на выборах воли народов России. Счесть его революцией можно, только согласившись, что бывают революции не против власти, а против народа.

К тому же возглавившая и революцию, и переворот партия за два с половиной революционных месяца ощутимо преобразилась. Отныне большевиков занимали не стремления народных масс и не их суждения – еще в декабре была свернута свобода печати и закрыты оппозиционные газеты. Партия поставила задачу построить коммунистическое, а для начала социалистическое, общество. Готовность Учредительного собрания поддержать первые шаги большевиков потому их и не соблазнила, что намеченные уже тогда следующие шаги могли вызвать у Собрания лишь возмущение. Было бы нелепо напирать на демократичность первых шагов, чтобы тут же действовать антидемократически. Ленин, объявляя на Съезде Советов революцию свершившейся, назвал ее «социальной», так об этом сообщали в тогдашней печати. Но потом, в исторических сочинениях и художественных фильмах, Ленин объявлял ее «социалистической», и остается гадать, насколько совпадали в его представлении эти слова.

Военный коммунизм

Разгон Учредительного собрания разделил страну и привел к Гражданской войне. Коль скоро мировая война продолжалась, большевикам пришлось уточнять отношение к ней. Российскую революцию они считали не национальной, как эсеры, исповедовавшие шедший еще от Герцена русский социализм, а зачином

и частью мировой пролетарской революции, предсказанной Марксом. Тем самым и Россия, участвуя в мировой войне, еще вчера клеймившейся как империалистическая, после перехода власти к большевикам как бы продолжала российскую революцию в мировом масштабе. А без мировой революции и российская, согласно Марксу, еще не вела бы к социализму.

Многие большевики, вчера противившиеся участию России в империалистической войне, уже не хотели ее прекращать, веря, что ударами по германской армии они помогают немецким товарищам совершить свою революцию. А объединение России и Германии считалось гарантией победы пролетариата в других странах. Вера в близость всемирной победы побуждала большевиков легко относиться к отпадению от империи тех или иных колоний. Зачем удерживать их силой, думали иные, когда скоро они окажутся меж Россией и Германией, и всюду власть возьмут рабочие, чтобы всем вместе создать единое социалистическое сообщество.

Полного согласия на сей счет среди большевиков не было, но расхождения Ленина, искавшего передышки, и Бухарина, жаждавшего революционной войны, носили сугубо тактический характер, а Троцкий как раз и олицетворял их общую тактику, публично примыкая то к одному, то к другому, а на заседаниях ЦК голосуя заодно с Лениным. Во внутрипартийных колебаниях вокруг заключения с Германией сепаратного Брестского мира, стремление сберечь российский плацдарм мировой революции, иначе обреченный, перевесило готовность партии к революционной войне.

Антанта не преувеличивала ее опасность и в события сперва не ввязывалась. Да и потом в Европейской части страны ограничилась небольшими французскими десантами на Черном море и английскими в Архангельске и Мурманске, в глубь страны не продвигавшимися. На Дальнем Востоке имела место более крупная интервенция английских, французских, американских и, главным образом, японских отрядов. Но весомую роль в Гражданской войне сыграла лишь немецкая интервенция после Брестского мира.

Вооруженную борьбу против революции начали сами россияне и сперва стихийно. Вспыхнувшие почти сразу мятежи Краснова, Каледина, Дутова и других, однако, лопнули, не найдя поддержки в народе, сперва принявшем большевиков. Сопrotивление возбудил разгон Учредительного собрания, и то не тотчас,

а по мере того как прояснялось, что практика большевиков не похожа на их речи, отвечавшие народным чаяниям.

Об этой практике, именуемой военным коммунизмом, поздней говорили, как о вынужденной войне. На деле, однако, поворот к нему, если искать сторонние причины, был отчасти следствием общей разрухи, охватившей страну до большевиков, но одновременно их неспособности, даже совершив долгожданный передел земли, стимулировать поступление хлеба на рынок. Для предотвращения начинавшихся голодных бунтов большевики создали комитеты бедноты (комбеды) и повели их в наступление на кулаков, то есть сильных крестьян, отчасти ставших таковыми благодаря декрету о земле, но не хотевших отдавать выращенный хлеб даром, да и у них часто хлеба оставалось лишь на прожитие.

Комбедами двигало уже не то что равнодушие к соседу, но зависть и ненависть к нему, ломавшие гражданское общество, не успевшее возникнуть. Вместе с присылаемыми из городов продотрядами, они изымали «излишки» хлеба с оружием в руках. Такую практику закрепил декрет от 11 июня, против которого возражали левые эсеры. В декабре комбеды, то и дело приходившие в столкновения с местными советами, были другим декретом распущены, но восстановить отношения с крестьянством не удалось, поскольку по существу с роспуском комбедов ничего не изменилось, продотряды продолжали конфискации.

Вместо стихийного изъятия установили продразверстку, каждой деревне и каждому двору было велено поставить определенное количество хлеба, а там и других продуктов. Исходили не из производственных возможностей крестьян, а из высоких потребностей государства, и хотя люди теперь знали наперед, сколько поставлять, легче не становилось.

Одновременно, все быстрее национализировали промышленность, что тоже делалось не из одних военных потребностей или ввиду саботажа прежних владельцев, но по ленинскому представлению о социалистическом хозяйстве как едином синдикате. Ввели трудовую повинность и мобилизации для государственно важных работ. Вместо зарплаты выдавали продуктовый паек, талоны на питание в столовой или на получение промышленных товаров. Товарно-денежные отношения если не вовсе упразднились, поскольку наполовину люди жили черным рынком, то вытеснялись в полулегальную сферу. Легальный порядок поддер-

живали новые централизованные ведомства, отраслевые главки, во главе с Высшим Советом Народного Хозяйства (ВСНХ).

Установленный военным коммунизмом образ жизни вполне соответствовал коммунистическому идеалу, с тем лишь отличием, что вместо обещанного изобилия царила массовая нищета. Потом говорили, что она была следствием войны, а к строительству коммунизма якобы тогда еще не приступали. Между тем, позднее, в октябре 1921 года, Ленин признавал: «Мы сделали ту ошибку, что решили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению». Потом такие признания старались забыть, поскольку «ошибка» свидетельствовала о непонимании большевиками социального и хозяйственного состояния России.

Победив в Гражданской войне, они продолжали сокращать товарно-денежные отношения, отменяли плату за жилье, за свет, за транспорт и т. д., то есть надеялись установить коммунизм. Но именно это «ошибочное», по признанию самого Ленина, стремление и довело до Гражданской войны. Военный коммунизм был ее причиной, а не следствием. По одну сторону воевали старые господа, норовившие тут же вернуть прежние порядки, по другую – новые товарищи, вводившие под именем коммунизма новое крепостничество.

Противостояние

Регулярное сопротивление большевикам сперва опиралось на авторитет Учредительного собрания и разгоралось на востоке страны. Его подтолкнул мятеж военнопленных чехов и словаков из австро-венгерской армии, решивших перейти на сторону Антанты. Их должны были переправить морем из Владивостока в Европу. Эшелоны уже стояли на путях от Пензы к Владивостоку, когда стало известно, что Красная Армия предполагает чехословаков разоружить и, возможно, в связи с заключением мира, передать Австро-Венгрии. Тогда они свергли советскую власть на Волге, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке и признали созданные там правительства из меньшевиков и эсеров, поддерживаемые лидерами Учредительного собрания.

В сентябре эти правительства объединились в Уфимскую директорию, вынужденную, однако, под натиском Красной Армии

перебраться в Омск, где на пост военного министра был приглашен адмирал Колчак, имевший редкую среди российских военных репутацию прогрессиста. Но уже в ноябре казачьи части расправились с правительством эсеров и меньшевиков, и адмирала объявили верховным правителем России. При Колчаке ввели чрезвычайное положение, смертную казнь и карательные законы, вызвавшие массовое недовольство крестьян. Под натиском Красной Армии он отступил в Иркутск, где в декабре против него поднялось очередное восстание, а в январе чехи передали адмирала восставшим, и его расстреляли.

На юге аналогичная картина обозначилась еще быстрее и наглядней. Сторонники Учредительного собрания даже не успели там занять руководящие позиции. Им изначально противились немецкие войска, поддержавшие зато совпавшее с их приходом в апреле восстание Донского казачества, вскоре выбравшего своим атаманом генерала Краснова. Он жестоко расправлялся с «красным», то есть принявшим от большевиков землю, крестьянством, но Германия, проиграв войну, поддерживать Краснова не могла, и главная роль в сопротивлении перешла к искавшей помощи Антанты, и потому чуравшейся Краснова, Добровольческой армии, которую после гибели Корнилова возглавил в конце 1918 года генерал А. И. Деникин. Но и его армия, хоть с оговорками, что это еще будет потом окончательно решаться, тоже восстанавливала царские порядки, а нередко и практически возвращала землю помещикам, отталкивая крестьян. На Украине, где находилась Добровольческая армия, уже ее имперский лозунг «За единую и неделимую Россию» не приводил в восторг национальное движение.

В Архангельске вместо возникшего летом правительства во главе с виднейшим народником Н. В. Чайковским уже в начале 1919-го утвердилась диктатура генерала Е. К. Миллера. К западу от Петрограда тоже вскоре стали править генералы во главе с Н. Н. Юденичем. В противостоявшем большевикам лагере расстановка сил возвращалась к существовавшей не то что на Учредительном собрании, но до Февральской революции. Гражданскую войну большевики вели уже не со своими социалистическими или хотя бы либеральными оппонентами, а с царскими генералами, со сторонниками прежнего режима, отвергнутого и Февралем и Учредительным собранием, и это вынуждало воспринимать больше-



*Оборона Петрограда.
Картина А. А. Дейнеки*

виков как единственных защитников от реставрации самодержавия, что шло им на пользу.

В начале мая 1919-го Красная Армия разгромила Колчака. Тогда же Юденич начал наступать на Петроград, но был отброшен, провалилось и второе его наступление в октябре. В феврале 1920-го красные взяли Архангельск, в марте Мурманск. К осени 1919-го Добровольческая армия, еще летом по дороге на

Москву овладевшая Курском, Воронежем и Орлом, была уже разделена на крымскую и кавказскую части, а в марте 1920-го ее остатки под командованием П. Н. Врангеля укрылись в Крыму.

Преодолев внутрirosсийское сопротивление, Красная Армия возобновила революционную войну. Обретшая независимость Польша оказала было поддержку независимости Украины и даже отбила у Красной Армии взятый ею Киев. Но он не только вскоре был возвращен, но Красная Армия двинулась на Польшу с лозунгами «Даешь Варшаву!» и даже «Даешь Берлин!». Уже казалось, что армии Тухачевского и Егорова идут к мировой революции.

Но польские рабочие больше дорожили национальным суверенитетом. Польская армия во главе с Ю. Пилсудским, осужденным на каторгу по тому же делу о покушении на цареубийство, что и брат Ленина Александр Ульянов, сопротивлялась яростно, и большевикам пришлось подписать в Риге 12 октября 1920-го мир с независимой Польшей. А в ноябре М. В. Фрунзе разбил Врангеля в Крыму. Гражданская война, казалось бы, окончилась. Большевики одержали военную победу. Но не политическую.

Кронштадт

В октябре 1917-го большевики реально выражали волю рабочих и крестьян, ожидавших перемен. Начав по ходу Гражданской войны строить коммунизм, они обнажили изнанку своих идеалов и столкнулись с крестьянством. Вызывавшую его недоволь-

ство активность комбедов или продрозверстку не только позднейшие историки, но и современники упорно списывали на войну. Но война кончилась, а продрозверстка осталась и росла, и продротряды по-прежнему отбирали хлеб и семенное зерно.

То тут, то там, в Поволжье, на Дону, в Сибири, в Белоруссии вспыхивали крестьянские восстания. Самое приметное – возглавленное эсером А. С. Антоновым восстание на Тамбовщине, в котором участвовало около 50 тысяч середняков и бедняков, хоть его и объявили кулацким. Эти крестьянские восстания примечательны осознанием противоречия объективных смыслов революции и большевизма. Восставшие выдвигали лозунг «Советы без коммунистов» в надежде, что революция еще вернется к тому, ради чего крестьянство ее вместе с большевиками совершало. На подавление крестьянских бунтов посылали Красную Армию, и революционные полководцы усмирили крестьян, Тамбовщину – М. Н. Тухачевский.

Крестьянское возмущение затронуло и рабочих, в большинстве сохранявших связь с деревней, и армию, и даже флот. В самом его сердце, в Кронштадте, собрание моряков 28 февраля 1921 года потребовало переизбрать Советы, освободив из заключения членов всех социалистических партий, с тем чтобы власть впредь принадлежала свободно избранным Советам, а не монополизировалась партиями, – речь шла прямо о большевиках.

В Петрограде, где тем временем вспыхнули массовые забастовки, делегацию из Кронштадта арестовали. Вступать в переговоры власть отказалась и стала штурмовать морскую крепость по льду. Со второй попытки ее захватили, и 18 марта восстание было подавлено. Несколько тысяч матросов, спасаясь, ушли в Финляндию. С захваченными расправились беспощадно. Разрыв большевиков с социальными силами, опираясь на которые они побеждали в революции и гражданской войне, привел к кризису.

Ленин признал, что Кронштадтское восстание опаснее, чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые. Он только не признал восстание свидетельством того, что он и его партия после революции и разгона Учредительного собрания не столько отстаивали конкретные интересы народа и, в частности, его тогдашней основы, крестьянства, сколько преследовали свои утопические цели. Многим тогда казалось, что утопичны эти цели были лишь из-за «задержки» мировой революции да хозяйственной отсталости страны, что ложность позиции большевиков в их нетерпении, а со временем и

Россия двинется по марксистской схеме к социализму, к которому вот-вот якобы перейдут европейские страны. Но, как бы то ни было, еще недавний царский пример учил, что, не считаясь с реальными интересами большинства населения, удержать власть не просто.

Перед Лениным и большевиками открывались разные возможности. Радикальные шаги по разрешению аграрного и национального вопросов, совершенные ими в начале революции, позволяли достойно вернуться к демократическому правлению, провести свободные выборы в новое Учредительное собрание и в демократической Российской республике парламентскими методами отстаивать свои идеалы, отступая и побеждая, сообразно народному волеизъявлению. Подобный вариант, однако, даже не рассматривался.

Большевики и после Кронштадта были убеждены в своем праве на произвол, на навязывание согражданам нежеланной социальной системы. Они лишь убедились, что задача трудней, чем сперва казалось, и, не отказываясь от нее, соглашались замедлить движение и даже временно отступить. Самое рассуждение о допущенных ошибках, а не ложности политического курса показывает, что свой курс они считали по-прежнему правильным. Само неоднократное повторение мысли о временном отступлении показывает, что военный коммунизм оставался их идеалом.

Цена золотого червонца

Десятый съезд РКП, делегаты которого, пройдя по морскому льду, с оружием в руках взяли Кронштадт, провозгласил Новую Экономическую Политику (НЭП), состоявшую, прежде всего, в замене продразверстки продналогом, объявляемым наперед, так что остальное собранное зерно останется у крестьян и сможет поступать на рынок. В промышленности перемены были не столь значительны, поскольку важнейшая ее часть («командные высоты») сохранялась за государством. Но всеобщую национализацию прекратили и даже государственные главки преобразовали в чуть более самостоятельные государственные тресты. Стали полагаться не на принудительный, а на наемный труд, что потребовало регулярной его оплаты. А поскольку и сельскому хозяйству и промышленности для этого были нужны крепкие деньги, учредили золотой червонец, конвертируемый на мировых

рынках. Сельскохозяйственное производство поднялось до довоенного уровня и даже выше. В промышленности тоже появились успехи, хоть и поскромней.

НЭП считается противоположностью «военному коммунизму». Ленин писал: «Мы рассчитывали – или, может быть, вернее будет сказать: мы предполагали без достаточного расчета – непосредственными велениями пролетарского государства наладить государственное производство и государственное распределение продуктов по-коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку». Исправлением такой «ошибки», видимо, стало бы освобождение хозяйства на будущее от «непосредственных велений пролетарского государства».

Но от них не только не отказались, но и умерили их лишь частично, главным образом в сельском хозяйстве, кризис которого толкнул к переменам. Промышленные предприятия не обрели экономическую самостоятельность, да и тресты, в которые они входили, часто не отличались от главков, которыми были прежде. Они не могли эффективно отвечать требованиям рынка, более того, явно завышенные, в сопоставлении с дешевым зерном, цены на промышленные товары вынуждали крестьян платить за плуг или лопату фактически много больше, чем до революции.

Эта несообразность определялась не только уровнем промышленности, но и стремлением использовать сельское хозяйство как базу для развития промышленности, точь-в-точь как при продразверстке, исходя лишь из потребностей государства. В экономических отношениях сельского хозяйства и промышленности продолжалось, хоть и не столь наглядно, то, что сам Ленин признал «ошибкой», – хлеб не конфисковали в каждом крестьянском дворе, а искусственно подменяли соотношение цен, с одной, сельскохозяйственной, стороны, диктуемых рынком, а с другой, промышленной, «велениями пролетарского государства». Сельскохозяйственное производство было по преимуществу индивидуально-крестьянским, частным, тогда как частная промышленность размаха не получила, как в силу юридических и фактических ограничений, так и по недоверию к пролетарскому государству, не скрывавшему, что оно смирилось с частным производством отнюдь не навсегда.

Ленин никогда не отказывался от прямого государственного руководства хозяйством, он лишь неустанно – и нередко блестяще –

показывал, как плохо РКП и правительство им руководят. Однажды молодой коммунист ему написал, что «самодеятельность масс возможна лишь тогда, когда мы сотрем с лица земли тот нарыв, который называется бюрократическими главками и центрами». А Ленин ответил, что бюрократический аппарат надо «не сбрасывать, а чистить, лечить, лечить и чистить десять и сто раз». Он объяснял дурное руководство недобросовестностью или неумением, не задумываясь, почему сменяющееся руководство вновь и вновь проявляло все те же качества. Социальная роль бюрократического аппарата, руководящего хозяйством, его не заинтересовала.

Между тем люди, составлявшие этот аппарат, уже в пору «военного коммунизма» ощутили свои если еще не классовые, то сословные, общие интересы и были кровно заинтересованы в аппаратном руководстве хозяйством. Финансово-экономическое наблюдение за независимыми от государства производствами требовало бы куда меньшего числа работников и к тому же более высокой квалификации. Едва ли логику Ленина диктовали корыстные соображения. Он был искренним идеалистом и, страстно веря, что партия, знающая путь к лучшей жизни, наилучшим образом устроит эту жизнь для людей, о ней и не помышляющих, распространял такую веру и на руководство хозяйством.

На Десятом съезде, после постановления о продналоге, секретно приняли резолюцию «О единстве партии», запрещающую создание в партии фракций и групп со взглядами, отличными от руководства. Если до того можно было думать, что свобода мысли и слова ограничена в советской стране лишь для враждебных классов, но в своей среде большевики демократию сохраняют и хотя бы сами могут беспрепятственно обсуждать любые проблемы, отстаивая лучшие, на их взгляд, решения, то с марта 1921 года высшее партийное руководство обрело монополию на истину.

Ее установили потому, что даже частичная экономическая свобода, допущенная НЭПом, уже обнажала различие социальных интересов. Вот государственный аппарат и прежде всего верхушка партии как коллективный распорядитель производства, собственником которого формально числился весь народ, и стремились пресечь выражение чьих бы то ни было интересов, отличных от общих интересов коллективного распорядителя.

Мало того, инакомыслящие, даже социалисты, с которыми большевики еще недавно вели дискуссии, после установления

НЭПа рассматривались уже как уголовные преступники, и в следующем году состоялся процесс эсеров, на котором двенадцать подсудимых приговорили к смертной казни. Ввиду протестов мировой социалистической общественности приговор не привели в исполнение, но, помня о нем, невозможно трактовать НЭП как существенно отличную от «военного коммунизма» форму строительства социализма. Идя на временные уступки в аграрном вопросе, большевики тем жестче отстаивали прежнее понимание социализма.

В этой связи им пришлось изменить тактику и в национальном вопросе. Одни бывшие колонии – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия уже начали независимое существование, другие – Армения, Азербайджан, Грузия, Белоруссия и Украина, где установили власть местных компартий, формально пребывая тоже независимыми, сохраняли более тесную связь с РСФСР уже в силу единого характера власти. Удерживать власть в каждой республике по одиночке было трудно, и уже весной 1922 года Армению, Азербайджан и Грузию объединили, отчасти против их воли, в Закавказскую федерацию, а в конце года образовали Союз ССР, куда вошли РСФСР, ЗСФСР, Украина и Белоруссия, и создали общесоюзные органы государственной власти.

Характер будущего Союза стал предметом острых разногласий меж Лениным и возглавившим тогда по его предложению партийный аппарат Сталиным. По мысли Ленина, так до конца жизни и не отказавшегося от надежд на мировую революцию, Союз должен был стать федерацией равноправных республик. Не предполагался даже пост единого главы государства, на равных правах им числились четыре председателя ЦИК от разных республик.

Ленин не мог вообразить, что Германия, даже и социалистическая, войдет в состав социалистической России как автономия. А Сталин, яснее понимая, что в обозримое время мировой революции не дождешься, хотел видеть другие республики даже и формально зависимыми от центра. Формально все устроили по-ленински, но поскольку оговорили, что республики должны выполнять решения общего ЦИК, это не помешало потом лишить их даже прав, положенных автономиям, завести единого Председателя Президиума Верховного Совета и превратить СССР в унитарное государство, в империю.

НЭП был введен, резолюция о единстве партии принята и СССР создан не только при жизни, но при самом активном уча-

стии Ленина, и хоть его отход от дел и скорая смерть обострили полемику в руководстве партии, трудно полагать, что итоги этой полемики могли быть существенно иными. Отвергнув демократическое развитие, продолжая силой навязывать свои представления населению и постоянно пребывая с его большинством в подспудном, а порой и открыто выплескиваемомся противоборстве, партия мало что могла в своей политике изменить.

Исходя из своего видения будущего, она могла действовать чуть более жестко или чуть менее жестко, но преследуя недостижимую цель, не могла не быть беспощадно жестокой, поскольку результаты ее работы, по конкретным показателям даже вроде бы успешные, все равно оказывались скромнее первоначально задуманных. А поскольку программа, осуществлять которую она принялась, разогнав Учредительное собрание, под сомнение не ставилась, оставалось лишь настаивать на все более жестком ее осуществлении, даром что оно все дальше уходило от других начальных программных идеалов.

Перечисляя главных врагов революции, Ленин самым опасным назвал «комчванство». (Двое других были неграмотность и взятка.) Объясняя смысл языковой новации, Ленин разъяснял, что коммунистическое чванство свойственно людям, состоящим в коммунистической партии (пока их оттуда не вычистили) и воображающим, что все проблемы они могут решить своим коммунистическим декретированием. Здесь Ленин был, конечно, кругом прав, но, к сожалению, не замечал, что по этому признаку из партии пришлось бы вычистить весь ее наличный состав, начиная с него. Самая мысль о построении социализма в тех конкретных условиях, в которых оно предпринималось, с самого начала и потом, была проявлением оголтелого «комчванства».

Теория развития капитализма, созданная Марксом, по которой это развитие неизбежно приходит в противоречие с буржуазным строем, давшим ему первотолчок, оказалась утопией, поскольку Маркс не мог знать, как будет капитализм развиваться, и экстраполировал на будущее то, что преобладало в его дни. Маркс ошибался. Но прилагая его теорию к России своего времени, и Ленин, и Троцкий, и другие большевики отлично знали, что в России даже буржуазный строй еще только устанавливался, а того развития, с которым ему положено прийти в противоречие, не было еще и в помине. Это не ошибка в рассуждении и не не-

достаток знаний, а открыто волюнтаристский подход к обществу, которому они навязывали будущее, мерещившееся Марксу.

Не то что просчеты его утопической конструкции вовсе не сказались на последствиях, но главная беда большевистской революции все же в самом по себе ленинском волюнтаризме. Те предпосылки будущего, которые по Марксу надлежало освободить, в России надлежало сотворить. Пролетариат составляет меньшинство? Значит, ради счастья пролетариата, надо его увеличить. Слаба индустрия? Значит, надо провести индустриализацию.

Большевики верили, что само изобилие заводов, фабрик и машин приведет к социализму, их не занимало, что государственное промышленное строительство несет иные социальные плоды, чем стихийное развитие буржуазной индустрии, из которого Маркс вывел свою теорию, пусть ошибочную в пророчествах. Чем усердней большевики восполняли недостающее для марксова идеала, тем дальше от него уходили и хуже понимали различие меж тем, что строят в своем воображении, и на самом деле, меж тем, что вырастает на строительной площадке, и тем, что складывается в обществе.

Кто кого?

Буржуазное развитие промышленности в Голландии или Англии не называют индустриализацией. Такое понятие уместно лишь там, где не преуспело органичное развитие, и государство – обычно из военных соображений – наверстывает упущенное. Петр Великий, конечно, проводил индустриализацию. Индустриализацию, при поддержке государства, в России развернули и после великих реформ и вели до первой мировой войны. В результате по масштабам производства Россия перед революцией стояла на пятом месте в мире. Хоть, в отличие от других ведущих стран, сельское хозяйство в ней перевешивало, но и промышленное производство было уже сопоставимо, скажем, с Францией.

Справедливо ли тогда ее считали «слабым звеном»? Все же справедливо, если иметь в виду не производственные, количественные, а социальные, качественные, показатели, хоть Ленин это и не акцентировал. Слабость России в ту пору состояла не в том, что она производила мало или плохо, – некоторые

российские товары пользовались высоким спросом на мировом рынке. Слабость была в том, что ее производство лишь отчасти было буржуазным, и не только сельское хозяйство, но и промышленность носили полуфеодалный характер, да и все самодержавное общество пронизывали противоречия, в буржуазных странах уже отчасти обретшие юридические формы разрешения, а в России – никаких, что и вызвало три революции подряд. Положение только обострялось тем, что экономически слабое государство вело интенсивную индустриализацию.

Само по себе стремление продолжать индустриализацию после революции было естественно, и уже в 1920 году возник план ГОЭЛРО, предполагавший электрификацию всей страны. Все лидеры большевиков, и Ленин, и Троцкий, и Зиновьев, и Сталин, и Каменев, и Бухарин, стояли за индустриализацию. Спорили, однако, о ее методах, и позиции в ходе споров порой менялись на противоположные. Троцкий и Преображенский полагали, что средства для индустриализации должно дать сельское хозяйство, Бухарин, этого не отвергая, подчеркивал важность пропорционального роста самого сельского хозяйства, пусть даже ценой замедления индустриализации, позволяющего зато деревне за счет своего развития и дальше поддерживать развитие промышленности. Сталин первоначально держался позиции Бухарина, однако, после политического поражения Троцкого перехватил его позицию, проводя ее в жизнь еще радикальней, чем хотел Троцкий.

Их полемике порой придается едва ли не решающее значение в судьбе страны, словно обе позиции не были лишь оттенками единого партийного понимания НЭПа, по которому сельское хозяйство осталось частным, а промышленность была государственной. А экономический разлад из этого и проистекал. Завышая цены на промышленные товары, государство успешно выкачивало из деревни средства, откуда приобретение товаров по завышенным ценам не разоряло деревню. Абстрактно рассуждая, Бухарин, призывавший к умеренности, был более дальновиден. Но умеренность должны были проявлять не законы и правила, а конкретные люди на конкретных должностях в ВСНХ и других советских учреждениях, и многие из них, даже такой решительный человек, как Дзержинский, по совместительству ставший председателем ВСНХ, опасения Бухарина разделяли.

Однако свое говорили не только доводы экономического разума, но и тысячи живых партийцев, видевших во внеэкономической природе советской промышленности и самой нужде особо координировать отношения деревни и города простор для приложения руководящего усердия. Сталин изменил свою позицию не только по соображениям политической тактики. Им двигали не экономические расчеты и не социалистические идеалы, но чутко уловленные интересы большинства товарищей по партии. К тому же доводы Бухарина сами по себе не могли пересилить доводы Троцкого, подхваченные и даже доведенные до абсурда Сталиным, уже потому, что и сам Бухарин, разумно ратуя за сбалансированность двух экономических сфер, возлагал поддержание сбалансированности на людей, на партийный аппарат и его назначенцев, тогда как органичная сбалансированность хозяйства держится единством его экономической природы.

Создай большевики реальные условия для частного сектора в промышленности, он бы живей улавливал потребности деревни, удовлетворяя их не за счет государственных затрат, а делая свой товарный ответ на деревенские запросы мало того, что самокупаемым, но доходным для промышленного производства, — и не просто взвинчивая монопольные цены, а совершенствуя в конкурентной борьбе за деревенский рынок производство.

Но тогда огромная армия новых партийцев, хлынувших в РКП после Гражданской войны и особенно после смерти Ленина, осталась бы не у дел. А новое пополнение партии уже не страдало бескорыстным личным идеализмом, каким в большинстве отличались старые большевики, во имя своих утопических планов готовые не только губить миллионы, но и сами гибнуть. Новые большевики были трезвей и прагматичней и в любой ситуации уже учитывали и свой интерес там, где старые большевики видели только общий, даром что не всегда верно его понимая, поскольку, отвергнув демократию, уже они отказывали согражданам в праве выказать на выборах свои предпочтения.

Спор о путях индустриализации стал спором между старыми и новыми большевиками (последних и возглавил Сталин) о месте партии в жизни страны. В многопартийной системе правящая по воле большинства граждан партия обычно политически направляет законодательную и исполнительную деятельность своих представителей в государственных органах, определяющих кон-

кретные правила, по которым будут действовать промышленность, сельское хозяйство, культура и другие сферы жизни. Но монополюльно правя вопреки воле большинства, партия уже и в остальном перестает с этой волей считаться. Тогда она превращается в правящий класс, верхушка которого распоряжается всеми сферами хозяйства и жизни, навеки слившись воедино с государством, по образу и подобию феодальной реакции, традиции которой еще были памятны.

Власть большевиков и по Ленину, и по Троцкому, и по Бухарину, и по Сталину вела к разладу частного сельского хозяйства с государственной промышленностью и в итоге к наступлению на деревню, хоть темпы и характер наступления, возможно, были бы разными. Но неизбежный в заданных условиях перевес новых большевиков делал это наступление неотвратимым и беспощадным.

Великий перелом

Взвинчивая цены на промышленные товары и облагая крестьян дополнительными поборами, партийное руководство видело, что без соблюдения государством и партией минимума условий для плодотворной работы и выживания работника-крестьянина экономическое взаимодействие рушится и деревня поставляет меньше хлеба, чем государство ждет. А прежних рычагов, некогда заменявших экономические отношения, уже не было. Один – крепостное право – сломал Александр II, другой – деревенскую общину с круговой порукой – Столыпин. И большевикам пришлось искать новую замену экономическим отношениям. Парадокс состоял в том, что середняцкая, преобладающая, часть крестьянства и в расцвете НЭПа могла лишь лучше или хуже прокормить себя, а беднякам с трудом удавалось и это. Единственными, кто кроме не столь еще многочисленных государственных хозяйств давал товарный хлеб, стали крепкие крестьяне, составлявшие примерно седьмую или чуть большую часть избильного деревенского населения. Их-то и объявили кулаками, их-то, в первую голову, и атаковала партия, отбирая весь наличный хлеб, не заботясь ни о семенах на будущий год, ни о выживании сеятелей. Зерно отбирали у всех, у кого находили, то есть разоряли и середняцкие хозяйства. Уже в конце двадцатых от

правил НЭПа вернулись не то что даже к упорядоченной подразверстке, а к непрерывному ограблению деревни.

Хлеб нужен был не только затем, чтобы кормить город, но и чтобы его продавать за рубеж и там покупать промышленное оборудование. А на западе начался кризис, цены на хлеб падали, и большевики, хоть отбирали все

больше хлеба, могли покупать все меньше станков. Деревня сама все острее испытывала нужду в хлебе, все сильнее голодала, и в начале тридцатых голод унес миллионы крестьян. А город жил по суровой карточной системе. Трудно сыскать пример подобного истребления не только собственного народа, но и самого хозяйства, однако сколько-нибудь осмысленных его толкований, кроме волюнтаристского безумия, не существует.

Между тем разорение деревни отнюдь не было глупостью или «ошибкой» Сталина и остальных, остававшихся у руля, большевиков. Они действовали так вполне сознательно, поскольку не имели другой возможности одновременно и быстро обрести плоды двух, хоть и связанных, но разных, социально-экономических процессов, то есть развития промышленности и создания товарного сельского хозяйства, обычно требующих времени.

Соотношение деревенского и городского населения по ходу индустриального развития меняется всегда и везде, и промышленность поглощает избыточные в сельском хозяйстве рабочие руки. Индустриализация и у нас ждала притока рабочих рук и поглотила их немало. Однако при искусственном ее форсировании избыток сельского населения не заполнял возникающие в изобилии, но низко оплачиваемые рабочие места, рабочих на заводах и стройках не хватало. Мгновенно увеличить число людей, готовых переезжать из родных домов на неведомые стройки, чтобы жить в общежитии, тяжело работая за гроши, можно было только беспощадно разорив деревню. То, что при этом от голода умерло не менее пяти миллионов крестьян, помогло Сталину и партии решить поставленную задачу: внушить уцелевшим, что



*Клуб им. И. В. Русакова
в Москве.*

Архитектор К. С. Мельников

надо бежать, куда глаза глядят. Общее число людей в деревне сокращалось, но куда большее их число рвалось теперь на новые заводы и фабрики. Гуманитарные и нравственные понятия никогда не учитывались партией при решении поставленных задач, только это и позволяло коммунистам их решать.

Тяжелая индустрия, хоть и непомерной ценой, была создана. Коллективизация деревни была проведена полностью, но плоды оказались не столь успешны. Ленин и его последователи провозгласили коллективное хозяйство заведомо более продуктивным, чем единоличное. Никакими объективными сравнениями в равных условиях это не подтверждено. Сталин ожидал, что коллективизация обеспечит товарный хлеб. Но если это отчасти и произошло, то не потому, что колхозы достигли производительности труда, невозможной, при равных условиях, в индивидуальном хозяйстве. Постоянные недоимки, регулярно списываемые с колхозов, показывают, что колхозный хлеб на деле дороже единоличного, но он привлекал власть тем, что его труднее, чем единоличный, спрятать, а значит, легче отобрать.

Была разработана система, по которой колхоз, с одной стороны, натурой платил государству как бы за землю, переданную бесплатно в его распоряжение, а с другой – тоже натурой, платил примерно столько же обслуживавшим его машинно-тракторным станциям, – сельскохозяйственные машины при Сталине, как правило, колхозам в собственность не продавали. И тот и другой хлеб везли разом на одни элеваторы. Оставшееся могло пойти на оплату труда колхозников, совершавшуюся не по тарифным ставкам, а по трудодням, которые на глаз начисляли бригадиры. Уйти из колхоза, в которые к 1937 году загнали 93% крестьян, было так же невозможно, как до Столыпина выйти из общины, которую в виде колхоза и возродили. Крестьяне при всеобщей паспортизации в 1932 году паспортов не получили, а без паспорта ни поступить на работу, ни поселиться в другом месте было невозможно, и этот особый, беспаспортный, статус крестьянина стал равнозначен крепостному состоянию.

Однако и оно теперь оказалось не самой низшей ступенью преобразованной деревни. Низшую составили миллионы «кулаков» и «подкулачников», их жен и детей, где высылаемых на поселения, а где и заключаемых в концентрационные лагеря, возникшие задолго до коллективизации, но благодаря ее мил-

лионным пополнениям ставшие существенным способом организации труда, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Большевики во главе со Сталиным покончили с деревенским укладом, возникавшим после великих реформ, и восстановили на новых началах дореформенную деревню. Сталин и партия решительно отбросили не то что бухаринские или эсеровские проекты, или столыпинские, с их разделением на работающих и ленивых, но все же самостоятельных мужиков, или порывы Милютина и Ростовцева, но даже тревоги крепостников, понимавших, что держать в рабском состоянии большинство населения губительно для хозяйства и страны. Сложилось новое, советское, крепостничество, но уже не только в сельском хозяйстве, а в любой продуктивной деятельности.

Великий террор

Сталина и новых большевиков не смущало, что советский порядок мало похож не то что на марксову утопию, но уже и на ленинское ее преобразование и даже на собственные сталинские вчерашние обещания. Ленинская новая экономическая политика явно не вела к провозглашенной цели. А за отказом от НЭПа открывались три дороги. Либо к буржуазному парламентскому правовому государству с частной собственностью и социальной защитой, то есть к «смене вех», которой многие ожидали с начала НЭПа. Либо к открытой реставрации прежнего феодального государства с царем или военным диктатором во главе. Либо к реставрации недавнего «военного коммунизма», последствия которой не были еще ясны никому, в том числе, возможно, и осуществлявшему ее Сталину. В идейный кризис ленинизма он вмешался как прагматик, старавшийся удержать послереволюционный строй, тем более что только этот строй позволял Сталину удержаться у власти.

Сталин был человек трезвого и четкого ума и, пожалуй, первый в марксистской традиции старался не смешивать идеологические формулы и реальные стремления, хоть и ему не вполне это удавалось, поскольку унитарному внеэкономическому хозяйству требуется не только полицейское государство, но и нормативная идеология. А она, так или иначе, и впрямь овладевала умами ее

насаждавших, порой приводя и самого Сталина к абсурдным суждениям. Но его менее других «вождей» смущала кровь, которую предстояло пролить, чтобы этот абсурд сочли истиной.

Старые большевики не могли принять ни реставрацию прежнего порядка, ни «смену вех». Вся их жизнь была отдана борьбе с самодержавием, но не ради буржуазии. Они робели признать, что справедливую борьбу с самодержавием вели с иллюзорными целями, плохо понимая реальные проблемы хозяйства и общества вообще, и российские в частности, которые самодержавие разрешить не давало, а диктатура большевиков не могла. Жизнь разоблачала дорогую утопию, но умы оставались во власти волюнтаристского мышления.

Открытые и честные противники Сталина, как Рютин или Раскольников, – а было таких немного – равно как из-за границы Троцкий, так и не предложили сколько-нибудь реальную альтернативу сталинизму. Троцкий твердил, что СССР это пролетарское государство, хоть и с извращениями. Старые большевики винили Сталина в том, что он «груб с товарищами» и «не соблюдает ленинских норм», словно не эти «нормы», предполагавшие отказ от демократии, и гражданской, и внутрипартийной, привели Сталина к власти.

А Сталин меж тем внятно и конкретно говорил партии, что ей делать и над кем чинить нынче насилие. Его приказы часто бывали неверны и даже преступны, и более квалифицированные вожди порой здраво его критиковали, но партийцы в большинстве шли за ним потому, что люди, свершившие революцию, не могли себе признаться, что цель недостижима и насилие над реальностью бесплодно. Легче идти за Сталиным, пусть и не туда, куда сперва собирались.

А Сталин строил государство, управляющее хозяйством, – не просто поощряющее его, как буржуазное, а непосредственно его ведущее. Если единство буржуазного экономического хозяйства достигается общим рынком и взаимозависимостью производителей и покупателей, то единство внеэкономического – лишь единством руководства. Провалы в сельском хозяйстве и промышленности побудили Сталина преобразить партию и государство, и как волюнтарист-ленинец, обогнавший учителя, он надеялся, что твердость диктата и беспрекословность подчинения объективную реальность переселят.

Фактическое слияние всего хозяйства в единый внеэкономический «синдикат» требовало единства действия. Если радикально отвергнуты экономические отношения, то поддержанию материальной базы «военного коммунизма», активному функционированию фабрик и заводов, совхозов и колхозов не послужит ничто, кроме железной дисциплины и миллионных человеческих жертвоприношений. Конечно, такой расчет, чем масштабней, тем убыточней, и кто этого не предвидит, с опозданием сталкивается с этим на опыте.

Власть продолжала числиться советской, но возникшие в ходе революции Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, хоть и немногие там самостоятельно мыслили, были все же слишком близки к реальностям повседневного бытия, чтобы безоглядно проводить в жизнь волю партии, имеющей собственные цели и на эти реальности оглядывающейся лишь под грузом обстоятельств. Вместе с НЭПом уходило время, когда вожди РКП(б) возглавляли советскую власть, Ленин был главой правительства, Каменев – его заместителем, Свердлов – председателем ВЦИК, Троцкий – народным комиссаром сперва по иностранным, потом по военным и морским делам и так далее. Теперь на Советы возлагались декоративная и служебная роли, а реальная власть после смерти Ленина, состоявшего, конечно, и в Политбюро, и в ЦК, но других партийных постов не занимавшего, переходила к держателям прежде технических партийных постов.

Наивно, однако, сводить столь важную перемену к тому, что Сталин обманом использовал для своего возвышения организационно-технический пост Генерального секретаря, занятый им в 1922 году. Ничто не мешало ему, возвысившись, стать, как Ленин, предсовнаркома или занять иное ключевое место в сложившейся советской системе, что он перед войной и сделал. И если тогда он предпочел не сам переместиться, а переместить тяжесть власти на партийный аппарат, объяснение не в интриганстве, а в стремлении не одного Сталина, а всей партии, порвать даже с тем жалким демократизмом, какой отличал **советы**, пусть односторонне, но все же представлявшие граждан, от партийных **комитетов**, представлявших лишь членов партии. Комитеты образовали ни от кого не зависящую вертикаль партийной диктатуры, сущность нового порядка.

Новизна проявилась уже при замене председателя Ленсовета Зиновьева, в качестве первого лица Ленинграда, Кировым, ставшим Первым секретарем областного и городского партийных

комитетов. После убийства Кирова в 1934 году первым лицом был новый Первый секретарь обкома Жданов и занимавшие потом этот пост. Аналогичное смещение власти сверху донизу прошло по всей стране.

Прямую партийную диктатуру декорировали красивой Сталинской Конституцией, не ставшей законом прямого действия, и Верховными Советами СССР и республик, на выборах в которые в каждом округе баллотировался один кандидат, выставленный «блоком коммунистов и беспартийных» и собиравший более 99% голосов при такой же явке избирателей. Кандидат, не одобренный партией, не мог даже баллотироваться в советы, не только верховные, но и местные. Все эти советы, в которых после Ленина ни разу, кажется, за всю их историю до Горбачева, ни один депутат не голосовал «против», автоматически утверждали правительство и законы, представленные Центральным Комитетом партии. Так происходило и на местах. СССР был не страной Советов, а страной Комитетов, Центрального, областных, районных и прочих, которые ею правили.

Потому и выросла роль органов безопасности. Их родоначальница, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, ВЧК, антиправовыми, террористическими методами насаждала и отстаивала советскую власть, незаконно расправляясь с теми, в ком подозревала противников этой власти, «контрреволюционеров», однако она не вмешивалась во внутрипартийные разногласия.

Но государству прямой диктатуры старые большевики, равно как участники других дореволюционных антисамодержавных партий и движений, мешали уже самим своим существованием. Они привыкли самостоятельно, пусть неверно, думать, и это не только делало их ненадежными для исполнения предписаний, но подрывало атмосферу единомыслия. Терпеть их и дальше означало проявлять либерализм, чуждый унитарной системе. Поэтому сменивший ВЧК Наркомвнудел, НКВД, проверял уже не только контрреволюцию, но и совершивших революцию.

Посмертно Сталину приписывали, что он поставил НКВД–КГБ над партией. На деле, однако, высшее руководство партии в лице самого Сталина всегда контролировало органы безопасности, а их руководители – и Дзержинский, и Менжинский, и Ягода, и Ежов, и Берия, и другие были ему верны. Само же

применение антиправовых методов и уголовных приемов во внутрипартийных дискуссиях не стало новым для партии, которая прежде широко пользовалась такими приемами по отношению к идейным противникам.

Сталинская расправа с ленинской партией лишь довела большевистские принципы до логической полноты. Органы безопасности под руководством партии преобразили ее ряды, не только ликвидируя недостаточно преданных Сталину, но и поддерживая в уцелевших и вновь вступающих чувство постоянного страха перед невольным и, тем более, намеренным ослушанием спускаемых свыше указаний. Страх, который они сеяли не только в беспартийных, но и в коммунистах, вместе с наглядностью последствий, которые приносило ослушание, — от выговора до расстрела — обеспечил если не единомыслие, то единство действий.

Сталин олицетворял его идеально. Он, конечно, уже по характеру и воспитанию был жесток, беспринципен и свободен от естественных человеческих чувств и понятий. Но его дурные качества проявились и разрослись потому, что в них нуждалась партия, не допуская и мысли об отказе от власти и переходе в оппозицию или хотя бы о расширении, а не запрете, свободных экономических отношений и необходимых для этого гражданских прав и свобод. Не Сталин «испортил» полную лучших намерений партию, а партия, ощутившая нужду в руководящем палаче, выдвинула Сталина и выявила и развила его преступные склонности.

Режим прямой и безграничной, тотальной партийной диктатуры не был тогда в Европе новинкой. В том же 1922 году, когда Сталин занял главный пост в РКП(б), в Италии была установлена диктатура нового движения, назвавшегося «фашистским», то есть «объединяющим» — объединяющим народ без разделения на классы и сословия. Его возглавил Муссолини, порвавший с социалистической партией, одним из лидеров которой и редактором ее главной газеты «Аванти» он прежде был. Многие в РКП постепенно становилось схожим с фашистским движением, а позднее и КПСС, в которую переросла РКП, провозгласили тоже не партией рабочего класса, а «партией всего народа».

Аналогичное движение в Германии даже назвалось национал-социалистическим, не скрывая приверженности социалистическому идеалу. Оно порой контактировало с немецкими коммунистами, не без советов Сталина объявившими главными своими

противниками социал-демократов, уклонением от союза с которыми коммунисты помогли национал-социалистам прийти к власти. Трудно сказать, в какой степени Сталин делал это намеренно.

Да и, вообще, трудно сказать, в какой степени большевики, взяв власть в октябре 17-го, представляли себе реальные последствия своих действий, начатых разгоном Учредительного собрания и ликвидацией частной собственности и личных прав и свобод. Они не очень углублялись в общие причины, вызывавшие в послевоенной Европе тяготение к сильной волевой власти, часто, но не обязательно, в социалистических одеждах, еще до войны модных у некоторой части интеллигентов и рабочих.

А тяготение к сильной воле выдавало желание чудом преодолеть нараставшее хозяйственное, и обусловленное им социальное, отставание от более благополучных стран. Хотелось обрести новое старыми способами, делать хорошее дело так же легко, как делали плохое. Вера в старые силовые методы тем более была тогда живуча, что и развитые страны, не успев своевременно разрешить назревшие экономические и социальные проблемы, сами в 1929 году испытывали тяжелейший кризис. Это подрывало надежды на свободную экономику и опирающуюся на нее демократию, и как грибы росли диктаторские режимы, вроде бы разного толка, но обусловленные схожими трудностями.

Русская политическая лексика, вуалируя реальное содержание политических течений, любит обозначать их по именам лидирующих фигур: сталинизм, троцкизм, гитлеризм, маоизм и т. д. Даже сталинизм и троцкизм, близкие административными склонностями, выражали, однако, разные социалистические тенденции: Троцкий – утопию мировой революции, Сталин – реальность национального социализма. Сталину куда ближе были идеалы Гитлера, чем Троцкого, с которым они, ровесники, и вместе работали в Совнаркоме.

Но схожие движения-близнецы, в отличие от людей-близнецов, порождены не столько схожими генотипами, сколько сходством социальных ситуаций, в которых, исходя из разных идей, лелея разные идеалы, но предпринимая схожие действия, силовые движения начинают совпадать даже в том, в чем сперва противостояли. Русские коммунисты и немецкие национал-социалисты начинали с разного, но поскольку утопия мировой революции не сбылась, и русские коммунисты решили строить соци-

ализм в одной, отдельно взятой, стране, строя национальный социализм, они и сами по ходу дела переменялись и фактически стали национал-социалистами.

Переменялась партия, переменялся во многом ее состав, и для людей из прежнего, дореволюционного, состава эта перемена часто была не только идейной, но и личной трагедией. Наивно не видеть, что государственный террор с особой жесткостью преследовал как раз тех, кто за общепартийной переменной не поспевал, кто оставался «старым большевиком». Это их не освобождает от ответственности за происшедшее с их партией, за слепоту при вступлении в нее в те времена, когда различие коммуниста и национал-социалиста еще выглядело существенным, быть может, даже ее умножает, но различие путей на фоне сходства общего итога проясняет эпоху.

Теперь уже не «помещики и капиталисты» и не «кулаки», а «старые большевики» стали главным объектом массовых репрессий, снова охвативших страну. Вчерашних вождей, предъявляя им лживые уголовные обвинения, расстреливали, хотя доказательств, кроме полученных под пыткой признаний, не было никаких. Доживших до 1934–1938 годов членов партии, взявшей во главе с Лениным в 1917 году власть, в подавляющем большинстве расстреляли или отправили умирать в лагеря. Разрыв с прошлым был очевиден, но обновленная по составу, и в глаза не выдавшая Ленина, партия продолжала именоваться партией Ленина, ближайшие сподвижники которого Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков и другие были расстреляны, а Троцкий убит советским террористом в Мексике. Террор охватил всю страну, не обошел даже армию, в которой от командира полка и выше большинство командного состава физически уничтожили. А сохранившие жизнь владели ее как рабы на лагерных производствах. Совершился еще один государственный переворот, в ходе которого оформилась идеология и СССР опять стал иной страной, стал, как говорили, советской державой, что проявилось и во внешнеполитической сфере.

В программах и декларациях немецкие национал-социалисты всегда выступали как антикоммунисты, а отечественные коммунисты – как антифашисты. Антикоммунистические лозунги одних и антифашистские других перевешивали в европейском сознании нарастающую идентичность русского тоталитарного государства с

итальянским и немецким. В международной расстановке сил, где растущей агрессивности немецкого национал-социализма и итальянского фашизма противостояли демократические страны, коммунисты, долгое время еще не сознавая, кто им ближе, как бы поддерживали демократов и даже винили их в недостатке твердости, пока, как гром среди ясного неба, не объявился договор «О ненападении», а вскоре «О дружбе и границе» между Германией и СССР, и две диктатуры не совершили совместную агрессию против Польши, поделив ее согласно предварительной договоренности.

Геополитическая ситуация, уверенность в легкой победе, да и другие причины подтолкнули Германию, одержавшую победу над Францией и застрявшую перед Ламаншем, к нападению на СССР, и не стоит гадать, как сложились бы отношения двух режимов, не совершись это нападение, которое Сталин назвал вероломным, признавшись тем самым в прежнем доверии национал-социалистическому другу. Но немецкие гости, два союзных года в изобилии посещавшие СССР, не случайно вспоминали, что их встречало там «настоящее товарищество».

Действия СССР в начальные часы войны и непосредственно перед ней не вполне ясны. Можно понять, что, имея разведданные – и от знаменитого Зорге и из других источников – о том, что Германия нападет в ночь на 22 июня 1941 года, ее нападение из пропагандистских соображений публично называли внезапным. Но трудно понять, почему, скажем, с советских самолетов перед той ночью хотя бы не сняли чехлы. Известно, что Сталин, зная о предстоящем нападении, даже в последний вечер не дал приказа о приведении войск в боевую готовность. Нарком военно-морского флота Кузнецов отдал такой приказ на свой страх и риск, почему корабли и оказали сопротивление и в то утро не пострадали, а нарком обороны Тимошенко и начальник Генерального штаба Жуков дать такой приказ без Сталина не рискнули, и немало советских солдат, не говоря о технике, погибло при первой немецкой атаке, «внезапной» для погибших, но не для Сталина и руководства армии.



*Глава
десятая*

ДЕРЖАВА НАД ПРОПАСТЬЮ

После победы

*Историк
Михаил Дмитриевич
ПРИСЁЛКОВ
(1881—1941)*

Беспощадную четырехлетнюю войну Германия проиграла, и СССР овладел восточной половиной Европы. Но сходство победившего и проигравшего режимов даже выросло. К типологическим совпадениям прибавилось прямое влияние – еще римляне говорили: «побежденные диктуют победителям свои законы». Уже сама война, сама неизбежность в военное время беспрекословных распоряжений не только на фронте, но и в тылу укрепила именуемый социализмом «военный коммунизм», все больше проникавшийся шовинизмом.

В послевоенные годы устойчивость сталинской державы подкрепило личное торжество Сталина, благодаря войне и победе вышедшего из трудных внутренних и внешних коллизий. Война списала его преступления и ошибки, совершенные при подготовке к ней и по ходу ее. Победителей не судят, а Сталин, не столько своими заслугами, сколько долготерпением и мужеством народов СССР и недалекновидностью западных стран, затянувших открытие второго фронта, сделался главным победителем. Вот послевоенная устойчивость и стала устойчивостью давно его манившего имперского порядка – не утопического социализма, какой воображал устроить Ленин, а подобного гитлеровскому национал-социализма.

Советская национальная политика, до войны лишь подспудно тяготевшая к шовинистическим тонам, грубо окрасилась ими в ходе войны и особенно после победы. Депортации народов Крыма и Кавказа, форсированное заселение прибалтийских республик русскими и белорусами, шумные антисемитские кампании,

постоянные речи о русском народе, как о «наиболее выдающейся нации из всех наций, входящих в состав Советского Союза», стерли важнейшее программное различие двух, казалось, разных социалистических течений – российского и германского. Но дело не свелось к росту в стране национального неравенства.

В 1949 году кампания по борьбе с космополитизмом началась поношением «группы» театральных критиков за недостаток патриотизма. Критики, кроме одного, были евреи, а слово «космополит» пущено в употребление как синоним слова «еврей». Не все, однако, придали значение тому, что кампания, затеянная по геббельсовско-розенберговскому образцу, имела и дальние цели. Существенной ее темой была «засоренность» театрального репертуара пьесами зарубежных классиков вроде Шекспира. Театральную критику, не самую насущную для рядовых граждан профессию, атаковали не случайно. Обличая ее терпимость к тому, что советская сцена еще не впала тогда в полный изоляционизм, партийная пропаганда внушала русскому населению, что от остального мира Россию отличают не частности, что она ему противостоит. «Еврей» в этом контексте выступал примером «иностранца» – недавнее создание государства Израиль заслонило в массовом сознании проживание евреев на Руси еще до возникновения Киевского государства. Партия агитировала не просто против евреев, но против иностранцев, наглядным примером которых служил знакомый еврей.

Не зря одновременно и на бытовом уровне велась борьба против «преклонения перед иностранщиной», французскую булку переименовывали в городскую и пирожное «наполеон» в сленговое, широко публиковали разыскания, утверждавшие, что паровоз изобрел не англичанин Стефенсон, но русские Черепановы, а самолет – не американцы братья Райт, но русский Можайский. Все это обрело массовый характер, хотя идея национального превосходства России явно противоречила, отступавшей теперь на второй план, прежней идее социального превосходства СССР, первым построившего передовой общественный строй. После того как миллионы солдат, побывав за рубежом, могли сравнить жизненный уровень страны социализма с не самыми богатыми буржуазными, идея ее социального превосходства нуждалась в замене.

Происходило это все, когда в советскую державу, так или иначе, вошли уже не только Россия, Украина, Грузия и другие старые республики, не только Литва, Латвия, Эстония и Молдавия, но и Польша, и Чехословакия, и Венгрия, и Болгария, и Румыния, и еще Югославия, и уже, казалось, Китай, и почти половина побежденной Германии. Столь быстрое рождение могучей социалистической империи, да еще при энергичном советском проникновении в страны Азии, Африки и Латинской Америки, сулило скорую победу социализма и в остальном мире, которому надлежало подчиниться Москве.



*Иосиф Виссарионович
Джугашвили (Сталин)
(1879—1953)*

Уинстон Черчилль уже в 1946 году заговорил о железном занавесе, отделившем от Европы прекрасные европейские города. А поскольку распространение социализма принесла не пролетарская революция, а война, СССР готовился к новой войне, объективных причин для которой не было, а покамест начал войну холодную. Можно спорить, в какой мере в мозгу Сталина мысли о войне конкретизировались, в какой мере внутренние политические и идеологические кампании непосредственно готовили к ней, но страна после жестокой войны осталась военным лагерем.

Это накладывало печать на всю жизнь. Новый порядок не просто господствовал, как до войны, но уже не терпел ничего другого даже в личном обиходе людей. От революции до войны, вопреки руководящему партийному давлению, культура, наука и искусство, хоть преимущественно и на обочине, все же как-то развивались, принося порой выдающиеся плоды. Писатели или ученые часто становились жертвами массового политического террора, но он был все же больше направлен против них лично, чем против их конкретной научной или художественной работы. И до войны шли проработки, но ликвидация наук еще была исключением и применялась при прямых столкновениях с политическими установками партии. Генетику клеймили еще в середине тридцатых, но Институт генетики Академии наук успешно работал и ему даже строили новое здание.



*Георгий Петрович
Федотов
(1886—1951)*

Послевоенные годы отмечены непрерывными партийными атаками на науку, партийных догм никак не задевающую, и, еще более, на искусство. Постановления ЦК о литературе, музыке, кино изменили, чтобы не говорить придушили, художественную жизнь. Если еще в тридцатые годы прямые нападения на сочинения, сочные крамольными, как на оперу и балет Шостаковича, были, конечно, директивными образцами, но все же еще допускалось существование стихов, симфоний, картин, не напрямую лучащихся светом последних указаний партии, лишь бы прямо не противоречащих им, то после войны и такие уже

именовались безыдейными и приравнивались к крамоле.

Если до войны партия исправляла и уничтожала гуманитарные науки, теперь она принялась за естественные, и неспроста. Все полней направляя производство, партия не могла не столкнуться с приложением к нему науки и ее противостоянием волюнтаризму. В этом качестве наука, даже никак не касающаяся политики, становится злейшим врагом партии уже потому, что опирается на неуправляемый экспериментальный материал и не властна над вытекающими из него выводами, не способна обеспечить нужные. Партийная печать усердно глумилась над плодовой мушкой дрозофилой, удобным лабораторным объектом для изучения законов наследственности. Виднейшие газеты потешались над «пользой», которую эта мушка приносит сельскому хозяйству, даром что именно в работе с ней оформилась хромосомная теория наследственности, легшая в основу научной селекции, то есть выведения нужных сортов растений и пород животных.



*Рабочий и колхозница.
Скульптор
В. И. Мухина*

То были не просто проявления личной глупости или невежества. Не только в генетике невежество было воинствующим, оно питалось убеждением, что Центральный Комитет партии способен без дурацких экспериментов решить на своем заседании любую научную проблему. Это убеждение и создало парадоксальную ситуацию, в которой партия, ценя плоды науки, тратила огромные деньги на ее развитие в целом, запрещая, однако, их тратить на исследования в определенных областях, как было и тогда ясно, как раз особо полезных сельскому хозяйству и медицине, подобно генетике, или вооруженным силам, подобно кибернетике. Своим волюнтаризмом партия и ее вожди во главе со Сталиным, да и после него, бессознательно подрывали не только обороноспособность страны, но все ее хозяйство.

Оно по-прежнему подтачивалось и тем, что оставалось до предела централизованным, а Сталин еще мечтал о временах, когда и сельскохозяйственное производство не только будет послушно следовать партийным постановлениям, но целиком станет государственным. Обесценив перед 1947 годом деньги в десять раз и подняв цены на продовольствие примерно в четыре, кое-как поддерживали снабжение столицы и крупнейших промышленных центров, но бедствовала деревня, где к тому же большинство мужчин погибло на фронте или ушло от бесплатного колхозного труда в промышленность. Почти безвозмездно отбывая колхозную барщину, крестьяне жили главным образом за счет дополнительной работы на своих приусадебных участках, с которых при этом еще взымались натуральные налоги.

Все большую роль в промышленности играл рабский труд заключенных, число которых пополнили военнопленные, как немецкие, так и собственные, переброшенные из немецких лагерей в родные. Производство военной техники и сразу после войны не слишком сократилось, а



*Московский университет,
здание
на Воробьевых горах.
Архитектор Л. В. Руднев*

вскоре опять росло, развязывая гонку вооружений, еще при Сталине увенчавшуюся созданием атомной бомбы, а через год после его смерти – водородной. К весне 1953 года, когда Сталин умер, территория подвластная Москве была больше, чем когда бы то ни было, армия – огромна и неплохо оснащена, но хозяйство испытывало глубокий кризис. Великая держава стояла над пропастью.

Оттепель

Смерть Сталина открыла стране, что и вождь смертен. При постоянном разрушении рационального сознания люди уже и впрямь готовы были верить в бессмертие вождя. Преемники Сталина начали с обещаний облегчить жизнь. Вскоре они объявили, что роковой неизбежности войны нет, и возможно мирное сосуществование с буржуазными странами. Свернули процесс над еврейскими «врачами-отравителями», обещанный незадолго до смерти Сталина, и освободили сотни тысяч других политических заключенных, в том числе уцелевших с тридцатых годов, многих реабилитируя, чаще посмертно.

Сталина стали мягко критиковать, но лишь за «ошибки», иногда его личные, а охотней – не в меру рьяных исполнителей. Разоблачали не Сталина, а «культ личности». «Культу личности» противопоставляли «ленинские нормы», хоть единственным отступлением Сталина от этих противоположных «норм» было распространение беззакония на товарищей по партии, что Ленину как человеку более фанатичному и впрямь было не свойственно. Ленин еще не совершил обратного поворота от НЭПа к «военному коммунизму», но в год назначения Сталина Генеральным секретарем ЦК, именно он сказал: «Мы год отступали, достаточно». А Сталин восстановил «военный коммунизм» даже не через год, а через несколько лет.

Никто и не заикался, что понятие «сталинизм» за годы, проведенные им у власти, стало синонимично понятию «национал-социализм», но само употребление его объявлялось «перехлестом», и деятельность вождя по-прежнему признавалась отвечающей цели партии, никакого отклонения от нее в себе не содержащей. А применение ради этой цели не наилучших средств якобы не меняло и даже не могло изменить природу социализма.

Попытки искать корни «ошибок» Сталина в политике партии под его водительством и тем более в политике Ленина карались.

Преемники Сталина имели возможность, отмежевываясь от него и с полным основанием возложив на него вину за отход от марксистского вероучения и физическое уничтожение «ленинской гвардии», сместить свои позиции от национал-социализма к социал-демократии, отчасти тоже восходящей к Марксу, и в 1956 году в печати проskalъзывали суждения, позволявшие думать, что какие-то люди наверху готовятся к такому идейному сдвигу, но, предполагался он или нет, на деле он не совершился. КПСС, не сменившая на XX съезде, где Хрущев в секретном докладе обличал Сталина, даже названия, осталась национал-социалистической партией гитлеровского типа.

Но не рискуя всерьез взглянуть в природу своего государства и хозяйства и как-то ее изменить, преемники Сталина продемонстрировали все же готовность отступить от крайностей сталинского порядка, самой фундаментальной формы национал-социалистического режима, поскольку и в Италии при Муссолини, и в Германии при Гитлере все же сохранялась частная собственность, запрещенная в СССР.

Держава осталась в абсурдной ситуации. Ее богатства почти полностью шли на вооружение и армию, которая при всех своих военных достоинствах захватить остальной мир, что и значило бы построить социализм во всем мире, не могла, поскольку такая попытка тотчас навлекла бы на СССР сокрушительный ответ. Конечно, и советская армия, в случае нападения потенциального противника, была способна на подобный ответ. Но «потенциальный противник» не спешил стать реальным, даже пока имел преимущества. «Малые» войны с ним, вроде корейской, затевала социалистическая сторона. К тому же богатый «потенциальный противник» тратил на оборону меньшую долю национального дохода, чем сталинская империя.

Когда СССР пренебрег договоренностями о свободном развитии восточноевропейских стран, вчерашние союзники по антигитлеровской коалиции уже меньше заботились о том, чтобы получше накормить и вооружить своего могильщика. Их отношение к СССР становилось более настороженным, порой даже враждебным. Но материальные преимущества Америки, да и Европы, восстанавливавшейся по плану Маршалла, позволяли им, в жесткой оборонительной позиции, неопределенно долго вести холодную войну, не торопя горячую.

Ни Сталин, ни его преемники по бедности не могли слишком долго ждать, тем более что их цель состояла уже не в том, чтобы выстоять, как до 1939 года, а в том, чтобы расти и расширяться, но уже не победами зарубежного рабочего класса, а собственной державной мощью. Это и побуждало добиваться военного перевеса над всем остальным миром, вместе взятым, в надежде, что перевес настолько запугает «потенциального противника», что он либо мирно капитулирует, либо даже проиграет войну. Подобный расчет был, конечно, наивен, тем более что на западе после войны с Гитлером еще сохранялись недюжинные умы, суждения которых достигали государственного слуха. Но и расчет Гитлера был наивен, а Германия следовала ему и не сдалась до разгрома.

Преемникам Сталина не хватало духу отказаться от замысла ушедшего вождя, но они оттягивали его выполнение. И Хрущев, и Маленков, и Берия, каждый по-своему, хотели смягчить напряжение, но преследовали разом две несовместимые задачи: удерживать основы сталинского порядка и перейти к рациональному управлению хозяйством. Первая, по их понятиям, вынуждала сохранять и умножать военную мощь, вторая – более расчетливо подходить к выполнению первой. Приоритет той или иной задачи сказывался на соперничестве в борьбе за власть.

Маленков почти сразу выступил за большее внимание к легкой и пищевой промышленности, что послужило потом Хрущеву поводом винить его в отказе от традиционного для коммунистов преимущественного внимания к тяжелой промышленности. Но сам Хрущев сократил армию, что тоже не все руководство поддерживало. Замыслы Берии, сколько можно судить по неполной и, ввиду закрытой расправы с ним, не вполне достоверной информации, были еще решительнее, чуть ли не превосхищали Горбачева.

Все это были аппаратные ходы, и выбор меж ними совершал не только не народ, но даже и не партия в полном своем составе. Но и слухи о них, и, пусть напрасные, разговоры об экономическом стимулировании, которого требовала объективная реальность, а не просто воля партии, поддерживали веру в отступление от края. Возникали надежды на смягчение жизни, молчаливым условием которого для власти было между тем соблюдение привычных норм сталинского порядка. Его называли законностью.

Но не все готовы были терпеть произвол даже при беспощадных сталинских карах и тем более, когда кары стали смягчаться.

Еще при Хрущеве, хоть разоблачение «культа личности» открыло возможность умеренной легальной критики системы, возникала и нелегальная критика, выходящая за пределы отдельных несовершенств, обращенная к органическим порокам советской системы, и в шестидесятые годы стало заметно диссидентское движение, в котором сплетались национально-освободительная борьба и борьба за права человека и, в частности, религиозную свободу.

А в покоренных странах сопротивляться московскому диктату склонны были и многие коммунисты. Лидеры так называемых стран народной демократии назначались Москвой, и готовность КПСС отступить побуждала местных коммунистов, получавших в этом широкую гражданскую поддержку, к замене московских назначенцев своими выдвиженцами. После XX съезда этого особенно добивалась Венгрия, и Москва ответила на венгерское восстание танками. Граница, отступить за которую Москва не была готова, обозначилась венгерской кровью. Надежды, пробужденные Хрущевым, он же и развеял. Но власть отвечала на социальные требования реальности бюрократическим путем.

Совнархозы

В 1957 году управление хозяйством было преобразовано. Упразднили отраслевые министерства, по существу бывшие монопольными фирмами, и создали областные советы народного хозяйства, которым подчинили промышленность по территориальному принципу. Совершалась переориентация внутри аппарата, и в противовес прежним монополиям создали региональные фирмы, но уже это нанесло ощутимый удар по сталинской централизованной унитарной системе.

Открылась возможность реального соревнования между областями и соперничества между предприятиями одной отрасли в поставке лучших и более дешевых товаров потребителям. Центральный аппарат бешено этому сопротивлялся, тем более что сокращение руководящих должностей в Москве ущемляло многие личные интересы, вынуждая желающих и дальше занимать доходные места к переезду в провинцию. В централистской критике несовершенства и пороки бюрократической переориентации преувеличивались, в качестве компромисса дополнительно к областным создали респуб-

ликанские совнархозы в крупнейших республиках – РСФСР, Украине и Казахстане, но борьба внутри правящего слоя продолжалась.

Она обострилась в 1962 году преобразованием партийных органов по производственному принципу, разделением их на промышленные и сельскохозяйственные. Сосредоточение партийной работы на производстве совершалось, опять же, сугубо бюрократически, но и оно ослабляло установленную некогда Сталиным прямую власть обкомов и райкомов над всеми сторонами жизни в пользу советских, государственных, органов. Конечно, два обкома, оба с былыми претензиями на тотальное руководство, становились предметом анекдотов. Однако в этой во многом уродливой и все еще внеэкономической форме пробивали себе дорогу объективные потребности жизни, с которыми внеэкономическая и недемократическая сталинская система директивного партийного руководства не могла совладать.

Реорганизация партийных органов обострила отношения Хрущева с центральной партийной бюрократией, и в октябре 1964 его сместили с поста Первого секретаря ЦК КПСС – первый в истории этой партии случай, когда официальный лидер был смещен без кровопролития. Большинство руководящего слоя его ненавидело. Никита Хрущев, вошедший в руководство партии по сталинскому призыву в тридцатые годы, был, как говорится, верным учеником и соратником Сталина. Однако, обретя власть над партией и страной, он обнаружил, что его власть, да и вообще власть партийного руководства и советского государства, не слишком эффективна, и, не входя в теоретические пороки системы, как сугубый прагматик, он пытался прорваться к реальности. Это часто проявлялось нелепо, сплошь и рядом он так и не видел объективной картины, но само стремление правителя обеспечить правящему классу будущее, лишь обременяло этот класс, уже равнодушный к чему-либо кроме сиюминутного личного благополучия и безопасности.

Номенклатура

При Сталине, отце, творце и учителе правящего класса, номенклатуры, она еще не создала себя социальной общностью. Террор и неопределенность личной судьбы отчасти заслоняли ей складывавшуюся систему привилегий и общую заинтересован-

ность начальников в ее прочности. Они не привыкли вдумываться в соотношение своих привилегий с ведением хозяйства. Когда со смертью Сталина положение ответработников упрочилось, у них возникло классовое если еще не сознание, то самоощущение. Принадлежность к новому дворянству – номенклатуре ощущалась как право занимать посты с привилегиями.

Теоретически, конечно, считалось, что пребывание на посту означает некую деятельность, а привилегии вознаграждают за ее продуктивность. Но на деле при социализме привилегии, как правило, растут не из личных объективных экономических результатов, как, скажем, у Генри Форда или Билла Гейтса, а из пребывания в должности, не имеющего объективных критериев эффективности, каковую вышестоящая номенклатура квалифицирует соответственно своим интересам, не обязательно тому, ради чего данная должность учреждена. Едва номенклатура избавилась от страха, ею овладело самоощущение дворян после указа о вольности, и попытки Хрущева, соблюдавшего «ленинские нормы» и видевшего в руководящем слое чисто «служилый класс», сообразовать его «службу» с ее результатами новое дворянство встречало в штыки.

Хрущев от природы был умен, а в долгих контактах со Сталиным еще и заострил свой ум, но не преодолел малограмотности, свойственной и Сталину, что и определило его противоречивое политическое лицо. Его малограмотность была, однако, не только недостатком, а, как ни парадоксально, и достоинством, поскольку из нее росли наивность и желание преодолеть обнажившуюся несообразность социалистического государственного механизма элементарным человеческим нуждам, не беспокоившую циничных коллег. Эта несообразность разъедала страну все ощутимей, и устранение Хрущева с высших постов не могло от нее избавиться. Но, сговорившись, его убрали. Первым секретарем ЦК стал Леонид Брежнев, Председателем Совета министров – Алексей Косыгин.

Тихий сталинизм

Вскоре оба дали понять, чего от них ждать. Брежнев воспользовался первым же случаем воздать честь и хвалу Сталину, что вызвало даже некоторое смятение, и в ЦК полетели письма с протестами против возрождения «культа». Но Брежнев не стре-

мился стать новым Сталиным, да и едва ли был на это способен. Его, да и большинство номенклатуры, устраивал «тихий сталинизм», где сталинским установлениям придавалась как бы законная форма.

Сталин ликвидировал не только свободное крестьянство, но и партию, все же совершившую, при всей утопичности своих стремлений, революцию и выигравшую гражданскую войну и потому не вполне пригодную служить слепым орудием господства. Ее ликвидировали массовые репрессии тридцатых годов. Но в пятидесятые для поддержания установленного образа жизни достаточно было за «антисоветскую пропаганду» сажать уже не соседей и не родственников рассказавшего антисоветский анекдот, а лишь его лично, ну разве что вместе с присутствовавшей при этом женой да слушателями. Заключенных были уже не десятки миллионов, а два-три миллиона. Если при Сталине опасность висела над каждым, безотносительно к его реальным поступкам, то при Брежневе, не говоря и не слушая «лишнего», «можно было жить».

Брежнев был парработником, на войне – политкомиссаром, сталинская политика нравилась ему военной прицельностью, а хозяйство – все возрастающим производством вооружения. Между тем занявший тогда же пост главы правительства Косыгин тоже почти сразу выказал желание провести экономическую реформу. У него, в отличие от Хрущева, не было политических амбиций, но и он предполагал рационализацию хозяйства. Сопрягать рационализацию хозяйства с наращиванием вооружения оказалось непросто, и колебания длились лет пять.

Реформаторские планы зашли дальше повышения рентабельности военной промышленности. Едва ли не впервые с двадцатых годов предметом обсуждения стала природа советского планирования, не ориентирующегося на реальный платежеспособный спрос, а вырабатывающего предложения, понимаемые как предписания. Но и всевластие государства не было чисто политическим, напротив, в политическом диктате власть нуждалась потому, что прямой хозяйственный диктат не давал желанного эффекта.

Известно, что буржуазный предприниматель производит то, что он производит, чтобы продать и получить доход, – лишь немногие делают немного по государственному заказу, всюду

желанному. А советское государство все производило само, и не ради доходов, а по нужде в том или ином товаре. Поскольку объективную ценность производимого и потребляемого способен определить лишь свободный конкурентный рынок, а советское хозяйство велось как единое натуральное, по директивам из единого центра, определить объективную ценность чего-либо в нем не было возможности, а потому невозможно было и установить, какие затраты необходимы объективно, где доход и где убыток.

Это объясняется не недостатками работников, часто весьма квалифицированных, а свойствами системы. Граждане оплачивали предметы потребления, а предприятия – орудия производства, по условным монопольным ценам. Цены эти то занижались, то завышались и компенсировали нередко лишь часть произведенных затрат, которые покрывались из дополнительных компенсаторных источников – от заниженности заработной платы до продажи полезных ископаемых за рубеж. Чтобы сбалансировать хозяйство, надо было преодолеть монопольную замкнутость и наделить отдельные хозяйственные единицы известной автономией.

Что почем?

Непосредственно связанная с хозяйством часть аппарата, лидером которой Косыгин стал в силу должности и большого и разнообразного управленческого опыта, уже в те годы видела, что опасность, которую несло стране внеэкономическое развитие, куда реальней военных угроз. Но члены правящего класса состояли с источником своего благополучия, с производством, не в индивидуальных или групповых, как буржуа, но в коллективных, общеклассовых отношениях, и выгоду каждому такой коллективной безответственности затемняла их сознание, удерживая от перехода хотя бы к компромиссным формам хозяйствования, которые позволили бы чуть больше считаться с объективной реальностью и повысили бы личную ответственность за собственную судьбу.

Как ни мало этого хотелось Косыгину, проблема, в которую он встрял, была политической. В отличие от Хрущева, допустившего областной автономизм, за которым помимо прочего

читался политический сепаратизм, Косыгин вроде бы стремился лишь к здоровой экономической самостоятельности предприятий в рамках по-прежнему единого государства. Но хоть замыслы реформаторов и не слишком далеко шли, само стремление хотя бы отчасти считаться с объективной реальностью неминуемо вело к ограничению планирующих органов и самой по себе директивности, а это еще больше, чем областная автономность, подрывало основы унитарного монополистического режима. Гонка вооружений оказывалась при этом не только прагматической задачей, вызываемой пусть даже преувеличенными требованиями необходимой обороны, но еще и способом идеологически и политически тормозить перевод хозяйства на экономические рельсы, и эта задача опережала реальную нужду в вооружении.

Идейно-политический спор шел не в газетах и не на партийных съездах, а в практике производства, и его исход определялся тем, в какой мере промышленность дает армии подавляющий перевес над армиями остального мира, вместе взятыми. Поскольку такая цель не менее фантастична, чем ленинская утопия, да и достижение намеченной границы ничего бы не гарантировало и не вынудило бы прекратить бессмысленную гонку, она, освобожденная от объективных мерил, могла неопределенно долго, до полного разорения страны, быть идеологическим оправданием привилегий правящего класса, независимых от его вклада в хозяйство.

На гонку вооружений, ставшую идеологией, внедрявшейся в умы не речами, а внеэкономическим производством, растрачивались богатства страны, и хозяйство, смещаясь в одну сторону, становилось все менее сбалансированным, все меньшую долю оставляло людскому потреблению, здравоохранению, культуре. Страну пожирала подготовка к войне, но не столько даже ради конкретной войны, сколько потому, что война была единственным оправданием чрезвычайного, внеэкономического хозяйствования, то есть директивной власти партии и привилегий номенклатуры. Многие положения косыгинской реформы были утверждены высшими партийными и советскими инстанциями и официально введены в действие, но на практике реформу смяли, а ее ключевые положения переосмыслили.

Реформе надлежало ослабить диктат производителя, чтобы на производство влиял потребитель. Но коль скоро главным потребителем стала армия, перед которой поставили нереалисти-

ческую задачу, влияние этого потребителя свело экономические требования на нет. Корень зла, однако, не в самой по себе армии, бесспорно необходимой для защиты независимости страны, а в том, что армии навязали роль авангарда партийной номенклатуры, сознававшей, что экономические критерии сокращают, если не отменяют, нужду в повседневном партийном руководстве. Выбирая меж благополучием страны и благополучием партии, партия предпочла свое и трактовала его защиту, как защиту страны. При этом «военный коммунизм» стремился питаться плодами научно-технической революции.

Рост наукоемкости производства мог бы и впрямь поднять его эффективность. Едва ли не главный тезис реформы гласил: «соединить научно-техническую революцию с преимуществами социализма». Но именно «преимущества социализма», то есть директивное внедрение научных достижений в производство, подменявшее экономический спрос на них, мешали внедрению этого тезиса в жизнь, за вычетом производства вооружения, где не считались с затратами. Да и самой наукой тоже руководила партия, не случайно долгое время не желавшая признавать, что в мире происходит научно-техническая революция.

Пражская весна

На сей раз, однако, не обошлось тихим умиранием очередных реформ. Общий кризис социализма всюду – от Праги до Пекина, – где хозяйство опиралось на свою промышленность, а не только на советскую подкормку, вынуждал коммунистов хотя бы отчасти преодолевать волевое администрирование и в той или иной форме допустить экономические отношения. Впереди других были чехословацкие коммунисты. Пражская весна пыталась практически осуществить декларированное в Москве, и в Праге это шло легче, поскольку не так силен был внутренний номенклатурно-военный тормоз, уже не раз пресекавший реформы в Москве. Но Москва ввела войска в Чехословакию. Прямо в здание ЦК тамошней компартии вошли десантники с автоматами наперевес, схватили руководителей братской партии и под арестом доставили в Москву. Конечно, советское руководство и прежде не стеснялось с зарубежными компартиями, но теперь оно демонстрировало свое отношение к ним всему миру,

и каждый мог видеть, что сделать свою страну и тем более весь мир коммунистическими, значит обратить их в колонии Москвы.

Ввод войск в Чехословакию в 1968 году часто уподобляют вводу войск в Венгрию в 1956-м, хотя различие меж ними очевидно. Оно не в том одном, что Венгрия, как-никак, восстала против советского владычества, тогда как в Чехословакии перемены происходили мирно и чуть ли не единогласно, да и как бы по советскому примеру. После советского заявления, что войска введены по просьбе видных чехословацких политиков, ни один из них, не исключая и самых просоветских реакционеров, не рискнул признаться, что обращался с такой просьбой.

Еще существенней то, что венгерское освободительное движение было национальным, с происходившим в СССР связанным лишь тем, что после Сталина там что-то дрогнуло. Чехословацкое же было интернациональным, имевшим единомышленников в СССР, это было движение социалистическое, еще веровавшее в социализм «с человеческим лицом». Хотя советские танки физически шли по Вацлавской площади, они демонстрировали, что пройдут и по Красной, если понадобится пресечь «извращения социализма», что двадцать с лишним лет спустя и проделал ГКЧП. На сей раз в Москве обошлись без танков, в течение следующего 1969 года все легальные очаги дозволенного свободомыслия, начиная с журнала «Новый мир», были затоптаны. А косыгинская реформа тут же и выдохлась.

Введение войск в Прагу стало как бы декларацией советских коммунистов о недопустимости каких-либо отклонений от «реального социализма». Ее политический смысл выразился в «доктрине Брежнева», по которой социалистическая страна не является в полной мере суверенной по отношению к СССР и всему социалистическому содружеству, якобы имеющему право поправлять отходивших от советского образца.

Всякая критическая мысль о положении в СССР опять, как при Сталине, вступала в противоречие с партией, ее идеологией и государством, с тем лишь отличием, что наказания не всегда влекли за собой необратимое выпадение из общества и жизни. После Сталина граница дозволенного и недозволенного размывалась, и критика пробивалась не только нелегально, но и полулегально и даже легально. Она возникала порой в литературе, чаще художественной, чем публицистической, но иногда и в ней.

Еще откровенней она бывала на разного рода собраниях интеллигенции. Говорят, слушая на общем собрании Академии наук выступление А. Д. Сахарова, сидевший в президиуме секретарь ЦК и председатель идеологической комиссии Л. Ф. Ильичев спросил сидевшего рядом президента: «Что это за наглый молодой человек?» – на что ответом было: «Этот молодой человек сделал водородную бомбу», – и секретарь ЦК не стал вступать в публичную полемику. Сознание зависимости от объективной реальности подспудно нарастало даже и в самых реакционных партийных функционерах, хоть их души это крайне тяготило.



*Андрей Дмитриевич
Сахаров
(1921—1990)*

В начале шестидесятых, еще при Хрущеве, печатались критические повествования о сталинских временах, в их числе «Один день Ивана Денисовича» и «Случай на станции Кречетовка» А. Солженицына. Вскоре после вторжения в Чехословакию все это кончилось, но, хоть и в непрямых формах, еще давала себя знать неоднородность общества, многообразие бьющихся в нем тенденций к осмыслению нарастающего кризиса и его истоков. Поздней об этом периоде говорили как о «застое», хотя то было время стремительного наращивания вооружения под аккомпанемент частых и нарочитых декламаций о «разрядке» и постоянного преследования «диссидентов».

Афганистан

Политбюро, возглавлявшееся Брежневым, уверовало, что соотношение сил в мире радикально изменилось в пользу СССР, между тем гонка вооружений лишь сохраняла принесенное ракетным и водородным оружием известное стратегическое равновесие, делавшее абсурдным желание любой из сверхдержав одержать военную победу над другой. Уверенность в том, что и потенциальный противник это понимает, внушила советским руководителям авантюрное чувство вседозволенности, и они вторглись в Афганистан,

где прежде с их помощью было свергнуто вполне дружественное правительство Дауда и создано еще более дружественное революционное правительство Тараки, которого через какое-то время заменил Амин, позицию которого в Москве, видимо, сочли недостаточно социалистической, и вторгшиеся солдаты убили Амина, а его место занял сперва один, потом другой московский ставленник. Решение о вводе войск, то есть о начале многолетней войны, приняли вчетвером, не созывая ЦК или хотя бы Политбюро, не говоря о государственных органах, генсек Брежнев, министр иностранных дел Громыко, министр обороны Устинов и председатель КГБ Андропов.

Но ход продолжавшейся десять лет войны показал, что общий перевес и тем более сама по себе вера в него не приносят победы даже над небольшой бедной страной, если ей помогают оружием. А это подрывало всю советскую военно-политическую философию. К тому же этот перевес, если даже принимать его за чистую монету, был достигнут ценой разрушения и подрыва всего неволевого хозяйства страны, что вело уже к прямым катастрофам.

Возглавив партию после смерти Брежнева, Андропов, возможно, стремился преодолеть коррумпированность и безответственность системы, не меняя, однако, ее характера. Он видел не органические пороки, а злоупотребления, и никакого результата, кроме рассказов о том, как в рабочее время в кинотеатрах искали людей, обязанных находиться на службе, его пятнадцатимесячное правление не оставило. Но сознание неблагополучия и в партийной верхушке росло. В феврале 1984-го Андропова, умершего после тяжелой болезни, сменил другой больной старик, ближайший сподвижник Брежнева, Черненко. Его влияние на государственные дела ничего не изменило. Иллюзия не то что перевеса и наступления, но даже возможности жить по-прежнему рушилась на глазах. В марте 1985-го Черненко умер, и Генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев.

Перестройка

Нельзя сказать, что Горбачев пришел с планом перемен, при нем позднее происшедших. Подобно Андропову он верил, что партийно-государственная машина работоспособна, хотел исправить отдельные неполадки и облегчить наваленный на машину

груз. Сперва он тоже звал к замене плохих и бесчестных работников хорошими и честными. При Горбачеве в союзном аппарате сменилось 85%, в республиканском – около 70% руководителей, но хозяйство не взбодрилось. К 1987 году Горбачеву и его окружению стало ясней, что дело не столько в людях, – в советской стране вслед за Сталиным считали, что «Кадры решают все!», – сколько в самой системе, и возникло стремление к политической реформе. Уже в январе ЦК велел выбирать низовых партийных секретарей хотя бы из двух кандидатов, что, впрочем, на жизни не сказалось.



*Михаил Сергеевич
Горбачев. Род. 1931 г.*

Летом 1988 года состоялась XIX партконференция, объявившая, что надо создавать социалистическое правовое государство. Привычные «социалистические ценности» как бы соединяли с либеральными, и с непривычки часто выходило нескладно. Признали, что необходимо разделение властей, под которым обычно разумеют взаимную независимость законодательной, исполнительной и судебной власти. Но КПСС при этом провозглашалась одной из властей, то есть в будущем правовом государстве предполагалось сохранить определенные преимущества за коммунистической партией, независимо от того, хотят или не хотят такого избиратели.

На смену сталинскому самодержавию Горбачев предложил создать под рукой коллективного монарха – КПСС своего рода конституционную монархию, в которой часть государственных функций оставлена партийному дворянству, «номенклатуре», и его предводителям, а другие отданы более демократическим органам. Речь, в сущности, пошла о социальном компромиссе, необходимость которого коммунисты, едва ли не впервые, начали сознавать. Впрочем, даже Горбачев мыслил компромиссное устройство таким, чтобы партия могла потом вернуть себе уступленное.

Высшим органом власти провозгласили Съезд народных депутатов, две трети которых избирались населением на альтернативной основе, а треть – выдвигалась «общественными ор-

ганизациями». Съезд избирал из своего состава **Верховный Совет**, как постоянный парламент на ротационной основе, то есть за Съездом оставалось право по своему усмотрению заменять депутатов Верховного Совета. Аналогичная система предполагалась на республиканском, областном и районном **уровнях**, и реальная власть от ЦК и прочих комитетов должна была частично перейти к этим многоступенчатым советам, а чтобы **обеспечить** КПСС ее долю власти, предлагалось избирать руководителями советов руководителей соответствующих комитетов КПСС. Весной 1989 года провели выборы, и первый Съезд народных депутатов избрал Генерального секретаря Горбачева Председателем Верховного Совета СССР. Год спустя учредили пост Президента СССР, и Горбачев был избран первым (и последним) Президентом СССР.

После отмены шестой статьи брежневской Конституции, закреплявшей руководящую роль КПСС и тем, строго говоря, делавшей ненужными любые выборы, начали обозначаться политические движения. Отчетливее других были национальные фронты в Прибалтике и других республиках, стремившихся превратить свою формальную автономность в реальную. Экономические программы новых движений были расплывчаты, одни хотели сохранить прежние порядки, другие предпочитали свободную экономику, но трудно было ожидать появления стройных программ экономических преобразований, пока продолжалось волюнтаристское хозяйствование, неизбежное при монопольной государственной собственности.

Хозяйственная практика и при Горбачеве существенно не менялась. Призывали, как прежде, к укреплению дисциплины, к повышению качества, но поскольку хозяйство оставалось прежним, прежними оставались и дисциплина, и качество. В 1987 году, параллельно партийно-государственным реформам, Горбачев приступил и к экономической, в центре которой лежало предоставление большей самостоятельности госпредприятиям и расширение кооперативного, а в дальнейшем и допущение частного хозяйства. Но половинчатые меры, да еще откладываемые на неопределенное время, уже не могли дать эффект.

В 1990 году речь пошла о переходе к рыночному хозяйству, конечно, регулируемому, но все равно подрывающему всевластие центра. Ему активно противились коммунистические фунда-

менталисты, да и страх перед социальными потрясениями сдерживал проведение реформ. В сельском хозяйстве как форма перехода к реальной экономике обсуждался арендный подряд, но и его внедрение, прямо зависевшее от колхозов и совхозов, сдерживалось. Летом 1990 года Г. Явлинский и С. Шаталин разработали программу «500 дней» как комплексный переход к новым отношениям. Но Горбачев, не раз говоривший о симпатии к их предложению, уклонился от его внедрения в жизнь. Верховный Совет России под председательством Бориса Ельцина программу поддержал, но и там намечали перейти к рыночному хозяйству лишь к 1997 году.

Между тем кризис иррационального советского хозяйствования все углублялся, а партийная номенклатура, и сознавая это, не могла преодолеть традиции волевого руководства. Чтобы ситуация разрешилась, либо партии надо было расколоться на сторонников демократического выхода из кризиса и фундаменталистов, либо революция должна была отнять у нее власть. Вместо этого партия в прежнем составе сама перестраивала себя и свою политику.

Летом 1990 года самоорганизовалась, как бы по образу и подобию других республиканских партий, компартия РСФСР – прежде российские областные парторганизации входили непосредственно в КПСС. Еще рьяней других она блюла советские традиции и противостояла реформам. Фундаменталисты, обновленцы и реформаторы не находили общего языка. Фундаменталисты были влиятельны еще и потому, что четверть прежнего состава вышла из партии. Весной 1991 года они уже требовали отставки Горбачева.

Ослабив давление на социалистических вассалов и, соответственно, сократив расходы на их материальную поддержку, а также прекратив войну в Афганистане, генсек облегчил груз, лежавший на стране. Плодотворна была и установленная им гласность. Конечно, само понятие «гласность» говорит об отсутствии реальной свободы слова и печати, которую гласность и призвана была отчасти возместить, но немислимое прежде количество информации о былых и современных событиях в стране, о жизни за рубежом, о Сталине, о КГБ, о русской литературе уже само заставляло людей задумываться о своей жизни и жизни страны. Благодаря гласности жизнь внешне менялась сильнее, чем по

существо, отчего все острее стояли перед людьми и властью неразрешавшиеся вопросы.

Унитарный характер СССР и присущее советской юридической системе представление о коллективной вине, сперва социальной, потом национальной, привели при Сталине к выселению и фактическому истреблению целого ряда народов. Но и сохранившиеся, имевшие «свои» автономные или даже союзные республики, фактически были бесправны. Горбачев с опозданием распутывал узлы национальных противоречий, но летом 1991 года все же пришел к необходимости заключить новый союзный договор, поскольку республики давно лишились прав, предусмотренных договором 1922 года. Подписать договор предстояло 20 августа 1991 года.

Но 19 августа высшие должностные лица вице-президент Янаев, премьер Павлов, военный министр Язов, министр внутренних дел Пуго, председатель КГБ Крючков и другие известные деятели появились на экранах всех телевизоров страны, чтобы объявить, что Горбачев, находящийся в отпуску, тяжело заболел, а они вводят чрезвычайное положение, восстанавливают прежний партийный курс и распускают органы власти, не предусмотренные брежневской конституцией. В Москву перед тем вошли танки. Возможно, они и побудили сотни тысяч людей в Москве и других городах выйти на улицы, демонстрируя нравственное сопротивление новому насилию, между тем как сторонники ГКЧП на улицы не спешили, даже и под защитой танков.

19 августа 1991-го советская власть, заговорив с народом через стальную броню, обнаружила свою несостоятельность публично. Она, конечно, не раз уже демонстрировала ее в Тбилиси, в Вильнюсе, в Баку и других городах, да и прежде не раз и не два, но то объясняли досадными частностями, нерасторопностью местных властей, недоразумениями. Теперь советская верхушка, как бы пытаясь отобрать власть у себя самой, готова была давить танками столицу с ее русским по преимуществу населением. Другой опоры, кроме силы, у власти явно не осталось, и это стало очевидно.

Борис Ельцин, за два месяца перед тем избранный Президентом РСФСР, а еще раньше, на XXVIII съезде КПСС, демонстративно из нее вышедший, вместе с Иваном Силаевым, возглавлявшим республиканское правительство, и другими членами

российского государственного руководства осудил реакционный переворот и призвал граждан защищать здание, где находились высшие республиканские органы. Массовое противодействие сорвало странный заговор, в котором высшее руководство государства открыто выступало против государства. 21 августа Горбачев, изолированный было в Крыму, вернулся в Москву.

Но это был уже другой город, переживший очистительную грозу, после которой возвращение к прежней обыденной жизни стало невыносимо. Да и большинство союзных республик уже не склонно было подписывать новый Союзный договор, не слишком надежно расширявший их права. В декабре Ельцин, Кравчук и Шушкевич, встретившись в Беловежской Пуще, от имени России, Украины и Белоруссии выступили с инициативой прекратить действие Союзного договора 1922 года. Инициативу поддержали другие республики, и такое решение утвердили Верховные Советы всех союзных республик, а затем, самораспустившись при этом, утвердил и Съезд народных депутатов СССР под председательством Президента СССР Горбачева, ушедшего затем в отставку.

Великая держава, именовавшаяся СССР, фактически перестала существовать еще в августе, когда все увидели, что единой ее удерживают только танки, а в конце декабря 1991 года, прожив 69 лет, она перестала существовать и формально. Уже в Беловежской Пуще предлагалось создать новое объединение прежних союзных республик на равноправной основе – Содружество Независимых Государств, и все они, кроме прибалтийских и, первоначально, Грузии, вошли в это необременительное содружество, начав самостоятельную жизнь. Отдельную жизнь начала и Российская Федерация, вскоре официально изъявшая из своего названия слова «советская» и «социалистическая».

Россия

Явилось новое государство – Российская Федерация. Но, странным образом, его появление обошлось без созыва Учредительного собрания, которое, согласно воле граждан, установило бы порядок управления и структуру власти. Россией продолжали править прежний президент РСФСР и прежние Съезд народных депутатов и Верховный Совет. Хоть другие союзные

республики не отказывались от наследства СССР, его правопреемницей Россия провозгласила себя одну, претендуя на все его зарубежное имущество. Только и речи было, что коммунистическая власть кончилась, и страна переходит к либеральной демократии. А происходило другое, и в новом государстве сохранялись основы старого порядка.

На показательном процессе звучали данные о кровавых деяниях КПСС с леденящими душу подробностями, но высокий суд не счел партию, повинную в гибели сорока трех миллионов граждан, преступной организацией. Запрет ее деятельности оказался временным, Конституционный суд не счел его возможным. У КПСС лишь отобрали здание на Старой площади в Москве, где разместилась разросшаяся до размеров ЦК КПСС администрация президента, да еще впредь не дозволялось создавать низовые парторганизации по месту работы, только по месту жительства. Не были признаны преступными организациями и государственные службы, выполнявшие кровавые задания партии, даже КГБ.

Компартия РСФСР ожила как КПРФ, руководство которой составили по преимуществу прежние товарищи. Можно понять, что ради национального примирения не были приняты законы о люстрации, не были преданы суду видные члены руководства КПСС, служебная деятельность которых содержала состав преступления. Но трудно принять как должное, что освобождение от наказания сопровождалось сокрытием в тайне их преступной деятельности, позволившим прежним функционерам перейти в новые органы и участвовать в выборах, не оповещая избирателей о своем прошлом.

Государственные службы, и в частности КГБ, переименованный в ФСБ, и его отделы, начавшие автономное существование, благополучно продолжали действовать. Новое государство, претендовавшее слыть демократическим, не сочло нужным наново создать службы контрразведки или борьбы с угрозой террора и положилось на старые преступные советские службы. Можно понять, что ради национального примирения сотрудники КГБ были освобождены от наказания за прежнюю противоправную служебную деятельность, но трудно понять, что их, невзирая на их преступные навыки, признали подходящими для работы в спецслужбах демократического государства.

Тем более странно, что, чохом амнистировав парработников и чекистов, провозгласившая себя демократической новая власть не подумала о жертвах преступлений КПСС и КГБ, и в частности о несправедливо осужденных. Многие статьи УК РСФСР, и в частности многие параграфы печально известной статьи 58, сами противоправны, и наказание по ним, даже при наличии «состава преступления», было противозаконно. К примеру, параграф 10 статьи 58 карает за антисоветскую пропаганду. К такой пропаганде нередко ложно относили частные разговоры или переписку, никакой пропагандой не являвшиеся.

Но и преследование за подлинную антисоветскую пропаганду было грубым нарушением свободы слова, провозглашенной между тем и Сталинской, и последующими Конституциями. Люди, до установления нового режима говорившие то, что стали с трибун говорить его новые должностные лица, даже и выйдя на свободу, продолжают числиться преступниками, имеющими судимость, и реабилитируются, лишь если пострадавший или его наследники сами обратятся с просьбой об этом. Государство-правопреемник не считает себя обязанным их реабилитировать и тем более, хотя бы с опозданием, принести пострадавшим извинения.

Можно понять, что во имя национального примирения разрушителей Конституции из КПСС и КГБ разом освободили от наказания, но трудно понять, что при этом их жертвы от наказания не освобождены, и оно все еще считается законным. Власть, провозгласившая себя демократической, установила такой порядок не только по статьям, сопряженным с реальными уголовными деяниями. Если речь об убийстве, возможно, и не грех вернуться к рассмотрению дела по существу, хотя бесчисленные убийства, совершенные сотрудниками КГБ, МВД и других ведомств, прощены без всякого рассмотрения.

Но уж явно антиконституционные статьи, вроде 58.10, 58.11 и т. п., можно бы, казалось, отменить и известить осужденных или их наследников, что ввиду противоправности самой статьи УК, по которой их обвиняли, они полностью реабилитируются. Но ничего подобного новая Россия и не подумала сделать, наглядно показав, что на деле она отнюдь не порвала с худшими делами СССР, КПСС и КГБ, а в полной мере остается правопреемником их преступной деятельности, поскольку все еще рассматривает их неправовые действия, как правовые.

«Молодые реформаторы»

Аналогичное происходило в хозяйственной сфере. При распаде СССР его хозяйство было в плачевном состоянии и не обладало даже необходимыми запасами продовольствия. Российскому государству сразу пришлось восполнять его недостаток. Но это срочное и конкретное дело утопили в фундаментальной проблеме перехода к свободной экономике. А он требовал комплексной системы мер, нейтрализующих отказ от компенсаторного механизма, поддерживавшего в советском внеэкономическом обществе некий, хоть и весьма жалкий, прожиточный минимум, иначе налаживание снабжения пошло бы ценой резкого снижения уровня жизни большинства.

Так и произошло, когда правительство Е. Гайдара, не заботясь о комплексных мерах, возложило надежды на единственную – либерализацию цен, то есть сняло советские ценовые ограничители, одну из главных помех свободной экономике, не озаботясь, однако, устранением других, не менее серьезных, и не создав хотя бы некоторого запаса ресурсов. Вместо того чтобы преодолевать недостаток продовольствия, власти сокращали на него платежеспособный спрос. Цены взлетели во много раз, сбережения мгновенно обесценились, и формально проблема снабжения была решена, пустые недавно прилавки стали ломиться от товаров, недоступных, однако, большинству, покупательная способность которого резко упала, и люди жили впроголодь.

Если в Польше в сходной ситуации свободное крестьянство пополняло рынок, где цены тоже росли, но не так стремительно, то наши колхозы и при растущих ценах в силу своей «социалистической» природы производство не могли увеличить. «Шоковая терапия» взлета цен не стимулировала отечественное производство, выпускавшее товары дороже импортных, и как запал свободной экономики не действовала, тем более что ее другие, и прежде всего правовые, ограничители сохранялись.

Люди называли мероприятия Гайдара «шок без терапии». Либерализация цен в неприкосновенном советском монопольном хозяйстве не отвечала назначению свободы цен при конкуренции, поскольку конкуренции так и не было. Сняв проблему продовольственного снабжения переводом большинства на полуголодный режим, Гайдар одновременно дал государственной монополии

невиданные возможности ценового произвола без оглядки на заработную плату, какую она платит гражданам. В ходе «либерализации» цены выросли в 100–150 раз, а зарплаты в 10–15.

Внеэкономическое советское хозяйство держалось тем, что искусственные цены соотносились с искусственными зарплатами. Отказаться от такого искусственного соотношения было, разумеется, необходимо. Для этого прежде всего следовало заменить монопольные цены складывающимися на рынке в ходе конкуренции производителей, невозможной при все еще единственном производителе – государственной монополии. Но способствовать развитию частного производства новое государство не спешило.

Следовало также отказаться от искусственных зарплат, а для этого и они должны были определяться не решениями госмонополии, а реальной ценой рабочей силы, тоже складывающейся в ходе конкуренции на рынке рабочей силы, какового при едином государственном работодателе тоже быть не могло. Стоит заметить, что и будь тогда в стране условия для быстрого возникновения рынка товаров и рынка рабочей силы, резкая смена хозяйственной системы требовала бы подготовки к оказанию нуждающимся социальной помощи, о чем Ельцин с Гайдаром вообще не подумали. Они даже денежные купюры не заготовили в достаточном количестве, хоть было наперед очевидно, что бешеный рост цен и обвальная инфляция потребуют увеличения обращающейся денежной массы.

Провозглашенная первым шагом экономической реформы либерализация цен, даже если правительство искренне верило в ее чудотворное действие, явилась грандиозным обманом, свалившим расплату за внеэкономическое хозяйствование советского государства на граждан, которые от этого хозяйствования и прежде страдали больше всех. Люди ощутили на своей шкуре, что новая власть, объявившая себя демократической, таковой отнюдь не является, отчего и возникло глубокое массовое разочарование в «реформах», в несколько раз снизивших жизненный уровень большинства.

В ходе острой полемики о будущем президент и Верховный Совет согласились, чтобы назначая премьер-министра – а Гайдар, проводя «либерализацию цен», был лишь исполняющим его обязанности, – президент мог остановить выбор на любом из трех кандидатов на этот пост, набравших в Верховном Совете наи-

большее число голосов. Ельцин назначил занявшего второе место В. Черномырдина, гибкого советского прагматика, но не занявшего третье фанатика Гайдара, хоть имел возможность его сохранить. Сыграла, конечно, роль и массовая ненависть разоренных людей к Гайдару, но решающим было то, что он свое дело сделал – взвинтил цены. Горбачевские премьеры Рыжков и Павлов, делавшие это откровенно, не могли добиться того, что под видом «реформы» проделал Гайдар, давший власти ощущение некоторой стабилизации.

Другим элементом ельцинских «реформ» стала так называемая ваучерная (чековая) приватизация, проводником которой был А. Чубайс. Ее изображали возвращением народу имущества, прежде отчужденного государством. Абстрактно рассуждая, как и либерализация цен, возвращение отчужденного имущества – необходимый элемент перехода к свободной экономике. С момента конфискации государством частной собственности сменилось не одно поколение, большинство владельцев погибло, а наследники далеко не всегда известны, да и на конфисковавшиеся позднее у населения в разных формах львиные доли заработков построили много больше, чем существовало в 1917 году. В этих условиях выдача всем гражданам равноценных чеков (ваучеров), удостоверяющих их личное право на определенную долю числящегося государственным имущества, опять же, вместе с другими мерами, могла помочь развитию свободной экономики.

К сожалению, и «приватизация» обернулась грандиозным обманом. Прежде всего, она проводилась до реальной легализации свободной экономики и частного предпринимательства. Не существовало пользующихся доверием частных фирм, куда ваучеры, равно как деньги, можно было вкладывать без чрезмерного риска стать жертвой очередной из многочисленных «пирамид». А главное, не возник реальный рынок ваучеров, они не стали ценными бумагами, срок их действия быстро истекал, что вынуждало скорее их сбывать какому-то из государственных приватизационных фондов или даже любому желающему, чтобы вернуть хотя бы внесенные за них деньги. В результате ваучеры, стоимость каждого из которых, по Чубайсу, должна превышать стоимость двух автомобилей «Волга», скупались за бесценок, а к скупавшим странном образом попала некая доля акционированных предприятий.

Это, однако, не означало, что хотя бы они на деле стали их владельцами и независимо определяли хозяйственную политику. Контрольный пакет акций, как правило, удерживало государство, а приватизации, главным образом, надлежало возбуждать в руководителях предприятий, преимущественно и оказавшихся владельцами «приватизированных» акций, личную заинтересованность в успехах этих предприятий и, соответственно, в доходности акций. Но даже их заинтересованность, когда доходность не слишком от них зависит, большого эффекта дать не могла.

Нереформированное российское хозяйство продолжало пребывать в кризисе, производство сокращалось. Новый премьер-министр Черномырдин пытался оживить военные и топливные отрасли государственными субсидиями, но это увеличивало инфляцию. Попытки ее остановить жесткими мерами тоже не поднимали производство. Это вызывало острые трения в правящей верхушке между сторонниками курса Ельцина, Гайдара, Черномырдина, Чубайса, именовавшегося реформаторским, и теми, кто хотел возвращения к прежнему хозяйственному порядку с прямым государственным руководством.

Граница между спорящими была достаточно условной, Черномырдин и сам вел курс на сохранение государственного руководства. Да в расчете на него шла и приватизация. В деревне деятельность колхозов, вопреки ее переоформлениям, сохраняла прежний, по существу крепостнический, характер, фермерскому хозяйству мешали развиваться. Ни та, ни другая группа, споря меж собой, и не заикалась о том, что гайдари-чубайсовские реформы не в состоянии преодолеть советский порядок и не вполне даже ясно, в какой мере на это направлены, и для вывода страны из кризиса необходимы подлинно либеральные реформы.

Победа Ельцина над Верховным Советом, изображаемая победой реформаторов над реставраторами, к серьезным реформам на деле не привела. Кризис лишь нарастал, дойдя до обвала в августе 1998-го при правительстве сменившего Черномырдина С. Кириенко. Цены опять выросли в несколько раз. Если Гайдар взвалил на людей расплату за хозяйственную политику Сталина, Хрущева и Брежнева, то Кириенко вынудил их расплачиваться за собственную политику Ельцина, не желавшего хоть как-то оздоровить хозяйство. Вина за происшедшее легла на Кириенко, как прежде на Гайдара. Своей доли вины президент не

признал, но характерно, что премьер-министров он стал назначать не просто из партийной номенклатуры, как Гайдар, Черномырдин, Кириенко, а прямо из силовых органов, как Е. Примаков, С. Степашин, В. Путин.

Без Учредительного собрания

Спор между псевдореформаторами и консерваторами разгорелся вокруг проекта новой Конституции, где наряду с важнейшими либеральными положениями была оговорена огромная личная власть президента. Руководство Верховного Совета во главе с Р. Хасбулатовым не поддержало проект, а президент в ответ 21 сентября 1993 года своим указом распустил Съезд народных депутатов и Верховный Совет, что Конституционный суд потом признал неправомочным. Верховный Совет тоже объявил президента низложенным, и вице-президент А. Руцкой формально принял на себя обязанности президента.

Ни та, ни другая сторона, к сожалению, не проявила охоты найти правовой выход из возникшей коллизии, каковым мог бы стать и созыв Учредительного собрания, и референдум не по одному лишь президентскому проекту Конституции, а по двум, если не трем, имея в виду и подлинно реформаторский проект. Обе стороны шли к силовому решению, люди Хасбулатова и Руцкого захватили здание московской мэрии, и по их поручению генерал Макашов провел обстрел телецентра Останкино с человеческими жертвами, хоть захватить телецентр и не сумел. Ельцин в ответ начал артиллерийский обстрел Верховного Совета. Там вспыхнул пожар, здание захватили войска, а Руцкой, в последние минуты призывавший своих товарищей-летчиков бомбить Кремль, Хасбулатов и другие были арестованы.

События конца сентября – начала октября 1993 года поныне рассматривают с прежних противоположных позиций. Каждая сторона винит противную в отступлении от демократии, но ни та ни другая не признает таких обвинений. Одни говорят об атаке на Останкино, как о стрельбе по свободе слова, другие об атаке на Белый дом, как о расстреле парламента. Между тем обе группы старой советской номенклатуры, удержавшей и после распада СССР власть в России и не желавшей допускать к ней реальных

демократов, предпочли решать будущее страны не в правовом поле, где избиратель мог бы отвергнуть как консерваторов, так и псевдореформаторов, а в стычке между собой, уже даже не в партийном комитете, а с оружием.

Строго говоря, и власть президента, и власть Съезда народных депутатов и Верховного Совета, и даже само существование всех этих властных институтов, как минимум, подлежали новому всенародному подтверждению, поскольку возникло новое государство. Уклонение от своевременного созыва Учредительного собрания, которого еще в декабре 1991-го требовали независимые люди, юридически не умаляло правомерность отстранения обеих властей, и Конституционный суд должен бы не оспаривать указ президента о роспуске Съезда и новых выборах, а объявить его недействительным ввиду неполноты, коль скоро одновременно не назначались новые президентские выборы.

Ни Конституционный суд, ни законодательная и исполнительная власти не выдержали испытания на демократию, не поняли, что разделение властей означает принадлежность каждой лишь части власти. Обе они, и новоявленный Конституционный суд вместе с ними, мыслили сугубо по-советски и выясняли, кому принадлежит вся ее полнота. А при демократии абсолютной властью не обладает никто, и она проступает во взаимодействие разных властей.

Можно заметить, что доводы псевдолибералов во главе с Ельциным уже потому, что они силились казаться либералами, выглядели предпочтительней доводов откровенных коммунистов во главе с Руцким, приглашенным Ельциным в вице-президенты в бытность Руцкого создателем движения «Коммунисты за демократию» и от партийности публично не отрекшимся. Но обретение всей полноты власти Ельциным, да еще подтвержденное принятой референдумом Конституцией, ускорило его отход от демократии, начавшийся, если не сразу в августе, когда он слез с танка, то в декабре после роспуска СССР. Его попятное превращение в прежнего советского руководителя вновь показало, что страна зависит не столько от личности, пришедшей к власти, сколько от объема власти, ей врученной.

Избранное 12 декабря 1993-го по новой Конституции Федеральное собрание из Государственной Думы и Совета Федерации, хоть и сохраняло большую живость в сравнении с неиз-

менно единогласными скучными советскими Верховными Советами, уже уступало горбачевскому съезду и не сумело реализовать демократические возможности, которых не вовсе лишено, — как-никак, Дума утверждает бюджет и главу правительства. Не дальше продвинулось и Федеральное собрание, избранное в 1995-м. Дело не только в том, что «избиратели так выбрали», но сама избирательная система позволила манипулировать чувствами, мешая обсуждать и обдумывать предпочтения.

Беда не только в давлении власти на ход избирательных кампаний и диктате в электронных средствах массовой информации. Честности выборов мешает сам их порядок. Очевидно, что в стране, три четверти века проведенной в публичном единомыслии, не могут мгновенно возникнуть идейно и политически сформировавшиеся партии, и само их формирование идет в ходе избирательных кампаний и публичного сопоставления позиций.

Формирование электората неотделимо от определения партиями своих социальных ориентиров. Вне реальных отношений с избирателями эти процессы протекают вяло. Отсюда и несметное число партий, по образу и подобию прежней единственной, выступающих как «партии всего народа», то есть в неопределенной форме ратующих за хорошую жизнь для большинства, не уточняя, что именно к «хорошей жизни» приведет. Партии и индивидуальные кандидаты не отягощены необходимостью четкого социального самоопределения.

Между тем выборы проводятся в один тур и победившим признается кандидат, набравший в своем округе относительное большинство голосов, а по федеральному округу, где состязаются партии, вторая половина мест пропорционально делится между партиями, набравшими более 5% голосов. На практике это означает, что по индивидуальному округу при двадцати состязующихся кандидатах, как оно частенько бывало, для избрания может быть достаточным набрать на один голос больше 5%, а если вспомнить, что выборы признаются действительными при участии 25% имеющих право голоса, то депутатом Думы за просто можно стать, собрав голоса менее полутора процентов избирателей данного округа. На таком пространстве простор для злоупотреблений весьма велик.

Выборы по партийным спискам хоть и позволяют меньше прямых манипуляций, тоже не адекватны стремлениям избира-

телей, не столько даже потому, что лица партий не прояснены и, в лучшем случае, избирателям как-то знакомы фамилии первой тройки партийного списка, а то и один единственный вождь, сколько потому, что при огромном числе смутных партий – в 1995-м баллотировалось около двухсот, но и в 1999-м около тридцати – мнение значительной части избирателей вообще не учитывается. Так, в 1995 году пятипроцентный барьер – а он, конечно, необходим – переступили четыре партии – КПРФ, НДР, ЛДПР и «Яблоко», вместе собравшие немногим более 50%, а голоса более 49% избирателей пропали.

Даже без коренных изменений избирательной системы, ее дополнение вторым туром, в котором по индивидуальным округам, где в первом никто не собрал более 50%, приняли бы участие два кандидата, получившие больше других, а по федеральному округу все партии, набравшие более 5%, позволило бы избирателю не только в первом туре выразить свои симпатии, но и во втором – обдуманно предпочтения кандидатов и партий, имеющих ощутимую поддержку других избирателей, то есть выборы стали бы не просто выражением добрых пожеланий, а подлинным выбором из реальных возможностей, что и партиям, и политическим деятелям помогло бы понимать людские предпочтения.

Но хоть предложение проводить второй тур не только на президентских и губернаторских, но и на парламентских выборах выдвигалось не раз, и Дума, и президент уперлись. А выборы в Совет Федерации, еще в 1993 году проводившиеся, и вовсе были отменены, места в нем заняли по положению главы субъектов федерации и председатели их законодательных собраний, а позднее и вовсе их назначенцы. Как видим, уклонение от экономической демократии происходит параллельно уклонению от политической демократии.

Кто составляет Федерацию

История двух последних чеченских войн, не говоря о двухсотлетнем сопротивлении и сталинской депортации, дает представление о, быть может, самой кричащей, но не исключительной участи одного из восьмидесяти девяти субъектов, по конституции

составляющих Российскую федерацию. Началась эта история с отказа Ельцина от поисков соглашения с властью, сложившейся в Чечне в ходе борьбы против ГКЧП, в которой новое руководство Чечни как раз поддерживало Ельцина.

Упрямство центра и ответное возмущение Чечни привели к неудачной попытке России в 1995–1996 годах покорить ее силой, приведшей к договору Ельцина–Масхадова. Но Россия не выполняла экономические статьи соглашений, поэтому, хотя Чечня их выполняла и даже восстановилась работа нефтепровода по ее территории, положение после разрушительной войны было крайне тяжелым, безработица и нищета вели к многочисленным нарушениям правопорядка, с которыми чеченская власть не справлялась.

Несмотря на неоднократные обращения законно избранного и признанного Россией президента Чечни, российское руководство отказывалось прийти ему на помощь, явно выжидая удобной минуты для нанесения удара, каковой в конце 1999 года обернулся повальным уничтожением чеченского народа. Сотни тысяч бежали, а множество мирных жителей, не только чеченцев, но и русских, в результате бомбежек и ракетных обстрелов погибло.

В оправдание геноцида ссылались на взрывы двух домов в Москве, неизвестно кем совершенные, и рейд чеченского отряда, находившегося в оппозиции к законной чеченской власти, за пределы Чечни. Как и почему российские службы безопасности сперва проглядели проход этого отряда в Дагестан, а потом дали ему без ущерба уйти, осталось неясным. Известно, однако, что его глава Шамиль Басаев в свое время участвовал в войне Абхазии против Грузии, поощрявшейся советскими, а потом российскими властями.

Чеченскую войну возобновили в преддверии выборов в Государственную Думу. Ельцин и новый премьер-министр Путин проявили беспощадную жестокость и наперед отказались от каких бы то ни было переговоров с законными властями Чечни, требуя предварительно выдать им террористов, взорвавших дома в Москве и вторгавшихся в Дагестан, вполне понимая, что о московских взрывах чеченские власти знают меньше, чем федеральные, а на отряд Басаева, вторгавшийся в Дагестан, у президента Чечни управы нет. Генералы Ельцина и Путина безжалостно уничтожали мирное население, но ни одного террориста за полгода войны не захватили.

Ожесточение вызывалось не одной Чечней и даже не одним долго терзавшим Ельцина желанием сохранить власть после истечения срока правления. Корень происходившего – в стремлении сохранить и укрепить власть центра, а если вспомнить, что реформы, необходимые стране, как раз и призваны совершить переход от империи к федерации, от монопольного хозяйства к плюралистическому, станет ясно, что чеченцев убивали не ради одних текущих выборов, а чтобы закрепить отказ от реформ, поэтому и войну поручили вести решительному человеку из КГБ, а сам Ельцин вдруг стал грозить ядерным оружием западным лидерам, сетовавшим на его неадекватные действия в Чечне. Эти действия, однако, не укрепили его личную власть. За полгода до выборов ему пришлось подать в отставку, передав президентский пост премьер-министру Путину, взявшемуся в полной мере восстановить централизацию страны.



*Историк
Александр Александрович
ЗИМИН
(1920—1980)*

**Глава
заключительная**

ИСТОРИЯ И ЛЮДИ

Дырявая лестница

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но *это* было уже в веках, бывших прежде нас». Так сказано в книге Ветхого Завета Экклезиаст, что означает Проповедник, за две без малого тысячи лет до начала нашего отечества. Если этому верить, то наши прадеды и прапрадеды тысячу с лишним лет зря старались, и мы, нынешние, зря озираем их опыт. Ничему, выходит, он не учит. Уже три тысячи лет назад было известно, что «участь сынов человеческих и участь животных – участь одна; как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом; потому что все – суета! Все идет в одно место; все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?»

Не стоит удивляться, что автор священной книги сомневается в устремлении души человеческой к богу и даже в его всемогуществе и самом существовании. Только дурак ни в чем не сомневается, ничего не проверяет. А люди, которые писали книги, живущие после них тысячелетиями – и Ветхий Завет, и Новый, и Коран, и другие, были, во всяком случае, не дураки. Верим мы в бога или нет, если мы думаем, – значит, чему-то верим, в чем-то сомневаемся. Все знать невозможно, рядом со знаниями живут и предположения, и вера, не только в бога. Полную гарантию, давно сказано, дает только страховой полис. У мыслей, если они не чисто логически выведены из других, нет гарантий верности.

В любых рассуждениях многое держится на принимаемом без доказательств.

Конечно, критерий истины – практика, но она нередко подтверждает суждение лишь отчасти, и надо еще разбираться, почему в одних случаях подтверждает, а в других опровергает. Поэтому важно знать разные суждения об одном и том же, даже если какие-то не совсем верны, а то и совсем не верны. Искреннее заблуждение порой тоже схватывает долю правды, и стоит эти доли видеть.

Некоторые давно стали думать, что не так все мрачно в нашем мире, что все, напротив, к лучшему, что человек все больше преодолевает зависимость от природных сил и сам их направляет, что и общество, хоть еще несовершенно, становится все лучше и все больше помогает людям жить. Вера в новое почти так же стара, как неверие в него. Особенно эта вера распространилась после появления и массового распространения машин. Вера в прогресс, то есть в успех, стала тогда общим местом. Но, строго говоря, вера в бога и в спасение после смерти – тоже своего рода вера в лучшее, тоже вера в прогресс, состоящий в переходе из трудного земного мира в лучший мир, из временной земной жизни в жизнь вечную.

Такой прогресс подобен переезду. Жителю провинции порой кажется, что в столице лучше, и он рвется поправить свою жизнь, перебравшись в Москву или в Питер, где и впрямь много чего есть, да жить еще трудней. А кто, и живя в Москве, думает, что хорошо жить в Америке, и перебирается туда, но там не только приобретает, а нередко и теряет. Экклезиаст сомневается в вознесении души к небесам, а и на земле переехать не просто. Да и на земле тоска по прежнему месту жительства, ностальгия, не терзает разве что тех, кто переезжал, а то и бежал, спасаясь от гибели, на прежнем месте неминуемой. Тяготы новой жизни не заслоняют того, что прежняя жизнь на прежнем месте стала невозможна. И все равно, даже беженцами порой овладевает ностальгия. А пока нет прямой угрозы, кажется, что пронесет, и неохота покидать насиженное место.

Уже давно люди пришли к мысли не переезжать, а изменять жизнь на месте. В школе учат, что народы и страны ее меняли к лучшему, что рабовладельческий строй лучше первобытного, феодальный лучше рабовладельческого, буржуазный лучше феодального и, как

раньше учили у нас в стране, социалистический, в ней провозглашенный, лучше буржуазного. Люди поверили в лестницу прогресса, которая, не хуже загробного рая на небесах, побуждала сносить тяготы земной жизни. В рай, конечно, обещают принять тебя самолично, а лестница прогресса больше для потомства, но зато ее неизбежность доказывают по науке, чуть не с цифрами в руках.

Впрочем, начинаешь цифры проверять, хотя бы считать ступеньки лестницы, и сразу натыкаешься на несообразности. Первая ступенька, именуемая первобытной, вроде и впрямь у разных народов схожа, хоть и зависит от различий среды и климата, в которых они живут. Но уже второй ступеньки, рабовладельческого строя, на Руси, например, не было. Попадались и в древней Руси рабы, но явно преобладали свободные, и не у нас одних, а и у других славянских и германских племен, и в Польше, и в Германии, и во Франции. Все мы от первобытного строя перешли сразу к феодальному.

А в некоторых странах Азии и Африки, в древнем Вавилоне и древнем Египте на смену первобытному пришел тоже не рабовладельческий строй, какой был потом в древней Греции или Риме, а совсем на него непохожий. Там не было четкой грани между свободными и рабами, большинство жителей было полурабами, но не у других людей, а у государства, а другие люди над ними возвышались по своей службе государству. Карл Маркс, считавший, что общество развивается, переходя от одной общественно-экономической формации к другой, еще не выстраивал из этих формаций лестницу, какую сладили его последователи, и, обозначая тот строй как особый, называл его «азиатским способом производства».

Такая странная получилась лестница, где уже первым шагом подымаешься не на следующую ступеньку, а на одну из трех, как бы взаимозаменяемых, но тоже не вполне. Переход с одной такой ступеньки на другую, расположенную на том же, втором, уровне, от рабовладения к феодализму, тоже объявили прогрессом. А какой же прогресс в том, что германские племена на развалинах рабовладельческого Рима завели тот же феодальный порядок, который эти, да и славянские, племена заводили в других местах? У Рима было чему поучиться, и они учились, но их общественный порядок заменил римский, а не вырос из него, хоть римляне порой уже сами обращали своих рабов в зависимых крестьян.

Нельзя, однако, утверждать, что предпочтение того или иного варианта следующей за первобытностью ступеньки было свободным и сознательным: греки, дескать, предпочли завести рабов, египтяне – стать полурабам, а германцы – полусвободными. Ломая первобытное устройство, народы, как правило, не знали наперед, к чему они идут и куда идут другие. И азиатское, и рабовладельческое, и феодальное устройства сложились не по замыслу, не по программе, а в силу обстоятельств и прежде всего обстоятельств обыденной жизни, необходимости выжить, жить в относительной безопасности, добывать хлеб насущный. Зависимость уклада жизни от ее практической основы давно учтена материалистическим пониманием истории. К нему ныне склонны многие исследователи, и я – не исключение.

Жаль только, что иные приверженцы такого понимания упрощают его до прямолинейности и толкуют историю, пренебрегая людьми, их поведением, поступками и образом мыслей. К тому же людское сознание, сложившееся раньше, не вполне адекватно реальности, с которой сталкивается потом, и хоть Новый Завет учит не наливать новое вино в старые мехи, люди только этим и занимаются. Новые явления мысленно укладывают в привычные формы, при этом деформирующиеся, что и самим людям мешает видеть к какой реальности их на деле ведут манящие идеалы и в какой мере стремление к ним обусловлено глубинными или временными обстоятельствами, в конечном счете определяющими жизнь.

Феодальная реакция

С конца XVIII века у нас росло стремление изменить общественный порядок. Одни, как Радищев, видели будущее общество либеральным, то есть буржуазным, уже успевшим изменить жизнь на западе, другие, как Герцен, а потом Плеханов, – социалистическим, какое тоже родилось на западе, но там долгое время жило лишь в мечтах. У нас пытались претворить в жизнь и то и другое. Но порядок остался прежним, феодальным. Не то чтобы он не менялся или ничем не отличался от прежнего или от феодальных порядков в других странах. Русский феодализм от Рюрика до Путина менялся ощутимо, даже бурно, однако основа уцелевала. Но живучесть нашего феодального порядка – не эт-

ническое отличие, такое происходит и у народов иного происхождения и культуры.

Нашу социальную жизнь все еще определяют старые образцы. В любом варианте второй ступени истории, на которую взбираются из первобытного строя, правит внеэкономическое принуждение. Его опознаешь по принудительному труду, не только рабскому или полурабскому под надзором надсмотрщиков, но и по труду зависимых людей, которым за нарушение трудовой повинности грозит наказание. В феодальном обществе эта повинность не всегда плод личной зависимости, но уж поземельной и вообще производственной – непременно.

Если участок земли отведен для прокорма княжескому дружиннику или рыцарю, крестьянин, им пользующийся, обязан работать на барской запашке или снабжать барина со своего участка, чем назначено, и тогда может сам с участка кормиться. Того, кто участок бросит, уйдет к другому барину, в другую землю, в традиционном феодальном обществе, как правило, не ловят, снабжать данного рыцаря обязанность не данного крестьянина, а любого, кто обрабатывает данный участок, покуда он его обрабатывает. А уйдет, и участок отведут другому, – это станет обязанностью другого. Дружинник, рыцарь, точно так же не навек привязан к своему князю и не навек обрел право кормиться с крестьянских участков, а может от этого князя уйти и служить другому. Князь или герцог тоже не навсегда подвластны королю, а могут с ним поссориться и обособиться. На таких отношениях и держится феодальная собственность.

Стоит подумать, почему, при том, что у нас в стране не было развитого буржуазного строя, мы понимаем «собственность» по буржуазному, то есть как право полного распоряжения. А феодальная собственность – вся частичная, определяемая разными условиями, договорными и исторически сложившимися. В феодальном обществе практически шла непрерывная борьба за расширение конкретных прав собственника. Рыцарь хотел уйти от князя, а князь от короля, удержав землю, полученную для прокорма, пока служил. А князь и, соответственно, король тоже старались землю удержать. Где брали верх одни, где другие, но феодальная собственность оставалась частичной.

Король был верховным собственником всего, а какой-нибудь мелкий дворянин получал свои права от него через вышестоящих

посредников. Одной и той же землей владел и король, и князь, и рыцарь, и крестьянин, но владели они ею в разных отношениях, каждый располагая своей частью прав. Эти права принадлежали им как бы сообща, но порой доля высшего правителя была более объемной, и у нас правящая группа при княжеском дворе и княжеское войско кормились от большого княжеского хозяйства, а дробившееся хозяйство расходилось по отдельным рукам, как в Англии и Франции. Но, так или иначе, теоретически только сообща права всех владельцев на собственность были полными.

Феодальные отношения и держались таким оговоренным распределением личных прав. А буржуазные отношения нуждались в безоговорочности и обезличенности, в соединении ненадежных частичных прав в право полной собственности единого владельца. Особенно, когда появились машины. При частичном владении предприниматель мог опасаться, что ему не достанется доход его предприятия, возможный, будь он полным его владельцем. При феодальном праве над делом, заведенным на новых началах, висела угроза, что вышестоящий феодал просто-напросто все отберет. Но и владельцы феодальных прав не тихо взирали на возникшие буржуазные нравы, а тоже были не прочь расширить свои частичные права до полных.

Грозным антифеодальным революциям предшествовало многолетнее состязание — одни, владея немногим, по-новому интенсивно расширяли свой достаток, другие расширяли свои привилегии за счет низших слоев феодального общества. Английскую деревню на буржуазный путь переводил и помещик, затевавший рациональное хозяйство, и свободный крестьянин, и арендатор, работавший на чужой земле уже на новых договорных началах. Но и лорды, владевшие землями, охотно превращали свою частичную, феодальную, собственность в полную, буржуазную, и сдавали ее в аренду. Не только в Англии, где отношения дворянства и буржуазии исходно были компромиссными, но и во Франции, где противостояние было острее, феодальный землевладелец, уцелев в революционной буре, мог потом преуспевать и при новых отношениях.

У нас феодальная собственность сосредоточивалась в руках великокняжеского, а потом царского, двора, в большей мере чем в руках отдельных князей, вошедших в единое государство, а потом в нем истребленных. Зато служилая часть дворянства,

получавшая земли на прокорм от царя, не только заняла позиции адекватные европейскому дворянству, не только тоже перевела свои феодальные владения в буржуазную собственность, но обратила в такую же собственность феодально зависимых крестьян, что на западе не удавалось.

Наш феодал, в отличие от английского или французского, искал не компромисса с буржуазным развитием, пусть и не всегда последовательного, а укреплял феодальное государство старыми феодальными методами, расширяя свои частичные права и попирая частичные права других. И собственность нашего феодала в результате становилась столь же полной, как у западного буржуа, он только использовал ее иными путями. В этом и состоял успех феодальной реакции, которая при Иване Грозном пошла в наступление, а при Петре III и Екатерине II ожесточилась, хоть, перенимая европейский, вскормленный буржуазным развитием, быт, рядилась носительницей прогресса. А на деле новые наряды прикрывали попятное движение.

Тут проявилось еще одно существенное для нашего отечества обстоятельство. Материалистическое понимание истории предполагает влияние технического прогресса на социальный. Переход от ветряной мельницы к паровой мыслится залогом смены общественного строя, и так, действительно, бывает там, где технический прогресс начинается. Но социальный прогресс и там движет не сама по себе машина, а то, что в конкурентном обществе владелец должен ее использовать с максимальной эффективностью, зависящей не только от его смекалки, но и от благоприятного социального устройства и правовых установлений.

Однако, купив такую машину, можно увезти ее в феодальную страну и использовать на феодальных началах, что отнюдь не ведет, хоть многим так кажется, к автоматическому преобразению социальных отношений. Феодальная реакция, наладившая крепостной труд, приобретает, а там и сама создает машины и строит демидовские заводы, пусть менее эффективные, чем заводы с наемным трудом, но до поры производящие все, что феодальной державе нужно, прежде всего оружие. И машина становится не двигателем прогресса, а опорой реакции.

Технический прогресс, разрывая с условиями, в которых возник, не только перестает быть опорой социального прогресса, но становится ему преградой, поскольку рабочие там не продают

свою рабочую силу по взаимоприемлемой цене, а сами являются собственностью владельца машины. Можно, конечно, утешаться тем, что конкурируя с другими странами государства феодальной реакции неизбежно отстанут, и кризис вынудит правящий класс к преобразованиям, но кризис становится судьбоносным лишь при непомерных амбициях. А при известной умеренности правящий класс долго удерживает желанный ему порядок. Маркс и другие мыслители, открывшие связь технического и социального прогресса, проглядели границу, за которой их разрыв для социального прогресса смертелен.

Метрополия и колонии

Изъятие машины из экономических отношений и вовлечение во внеэкономические коренным образом меняет общество. Но это не единственный выплеск противоречия экономического и внеэкономического, запряженных в одну телегу. Уже первые буржуазные страны Англия, Голландия, Франция, а потом и сперва отставшие Германия и Италия, подобно феодальным Испании, Португалии, Руси и странам Востока, захватывали колонии и создавали колониальные империи. Внеэкономическое начало на первых порах вроде бы помогало экономическому, поставляло и сырье, и источники энергии, и покупателей готовых товаров.

Но даже там, где коренное население истребляли или оттесняли и колонию заселяли переселенцы из метрополии, внеэкономическая подчиненность и экономические интересы приходили в конфликт – и Соединенные Штаты отделялись от Англии. Позднее национальное сопротивление делало колонии все более убыточными, да и доступность их даров нередко удерживала метрополию от активного развития знаний и производств, и выяснялось, что колониальная система вредна не одним колониям, но и метрополиям.

К середине XX века буржуазные страны ощутили необходимость не только освободить колонии, но и освободиться от них, сохраняя с ними лишь экономические связи. А феодальные Испанию и Португалию еще в начале XIX века сопротивление вынудило уйти с латино-американских земель. Только наше отечество удержало свою империю, хоть и сократившуюся после

распада СССР. Выход за пределы земель, заселенных славянскими и мирно ассимилировавшимися угро-финскими племенами, начал Иван Грозный, а продолжался он еще при Сталине. По сей день регионы российской державы глубоко разнородны.

В немалой их части преобладает русское население, составляющее более 80% всего населения страны. Пусть оно в большой мере местного происхождения, но за несколько веков столь глубоко обрусело, что фактически вросло в состав метрополии. Сегодня рассуждать о неорганичности почти целиком обрусевших земель в составе России нелепо. Исходить надо не из того, что было во времена Василия III, завершившего объединение русских земель в Московском государстве, а из имевшего место в наш век. Но и за пределами сильно расширившейся метрополии наша держава не единообразна.

В составе России сегодня есть еще и земли, частично заселенные прежними обитателями, сохранившими язык, культуру и самосознание, и такие, где они все еще составляют большинство. Никакими соображениями о заинтересованности России в сохранении своей целостности не оправдать отказ им в праве на самоопределение, если население этого хочет. Здравый смысл побуждает считаться с его стремлениями именно ради сохранения добрых отношений, а не оккупационного режима. Дальновиднее, без обострений дать таким землям желанные им права уже в рамках федерации, субъекты которой, учитывая ее историческую неоднородность, могли бы пользоваться разными уровнями автономности, лишь бы соблюдалось равноправие граждан. Такое, кстати, имело место даже при царе для Польши и Финляндии.

Проблема эта важна не только для инациональных, но и для русских субъектов федерации, в ранг которых были возведены области, нарезанные еще Сталиным для удобства управления из центра, а не из интересов жителей. Между тем многие земли, заселенные русскими, сохраняют по отношению к метрополии явную специфику, подобно США, Австралии или Новой Зеландии по отношению к Англии. Объединение нынешних областей в укрупненные субъекты федерации по историческим традициям и экономическим интересам и, соответственно, предоставление этим двенадцати-пятнадцати крупным русским субъектам федерации несопоставимо больших прав и меньшей зависимости от федерального центра, чем у мелких нынешних, пошло

бы на пользу им и всей России, избавив ее от централизованных ограничителей развития.

Однако центральная власть ради сохранения своего диктата саботирует укрупнение русских субъектов и получение ими реальной самостоятельности, с передачей федеральному правлению решение лишь наиболее общих – правовых, финансовых, оборонных, внешнеполитических и подобных вопросов. А национальным субъектам она отказывает в удовлетворяющей их автономии и тем возбуждает все большее стремление к полной независимости.

Остается спорным, в какой мере империя, да еще при феодальной реакции, и прежде служила развитию нашего отечества, его прогрессу и величю, если, конечно, не отождествлять величие с размерами. Но тогда говорить о величии нынешних Великобритании или Франции рядом с несопоставимо большими Бразилией или Австралией и вовсе невозможно. Во всяком случае, большинство русского населения отнюдь не благоденствовало ни при царях, ни при Сталине и Брежневе, ни при Ельцине. А первое мерило величия страны не размеры и не военная мощь, а благоденствие граждан. Конечно, наряду с достижениями в образовании, культуре, науке, промышленности, сельском хозяйстве. Но, опять же, мы преуспевали не в сельском хозяйстве и даже не в промышленности, за вычетом военной. Во второй половине уходящего века наши успехи, главным образом, в науке, тоже преимущественно работавшей на войну. А в военном производстве и, тем более, науке решающую роль сыграл не столь уж большой слой ученых и инженеров, обычно из московских и питерских институтов.

Если имперские амбиции тяготили Британию и Францию, тем более они обременяли нас. Но центральная власть отнюдь не желала освобождения России от империи, замены ее подлинной федерацией или даже конфедерацией на сугубо добровольной основе с союзными республиками в составе СССР, а теперь страшится и подлинной автономии национальных республик, оставшихся в Российской Федерации, равно как и автономии некоторых ее русских регионов, тоже имеющих к тому основания. Колониальная система ведет к гипертрофии центральной власти, что эту власть и обольщает.

Нет смысла здесь выяснять, должна ли в нашей Федерации, призванной сменить империю, существовать, как метрополия,

унитарная русская республика, по отношению к которой и были бы автономны национальные и некоторые русские регионы, или, напротив, федерацию плодотворнее строить из двенадцати-пятнадцати исторически сложившихся крупных русских регионов, пользующихся равными правами, и национальных автономий с особыми правами. Проблема не так в выборе лучшей схемы федеративного устройства, как в понимании того, что федеративные и даже конфедеративные отношения сегодня предпочтительней имперских уже потому, что держатся экономическими связями, не взваливая непосильного внеэкономического груза ни на колонии, ни на имперский центр.

Именно поэтому реальным интересам России отвечает независимость Чечни и, возможно, каких-то других не желающих в ней оставаться районов, равно как интересам США отвечает независимость Доминиканской республики, которую без особого труда и без пролития крови они давно могли включить в себя. А насильственное удержание Чечни, равно как любой другой национальной автономии любой другой страной, угрожает не только покою граждан, но и установлению демократии, а значит, и процветанию страны и благоденствию.

Народ и власть

На сей раз, однако, в отличие от предшествующего, немалая часть населения, сперва даже и большинство, сочувствовало чинимому властью в Чечне насилию. Подъем Путина совпал с явной переменой в массовых настроениях и не только по этому поводу. Нельзя не задаться мыслью, почему назревавший при Горбачеве переход к демократии не совершился и Ельцин сумел, изображая гаранта демократии, довести эту самую демократию до того, что власть перешла к силовым органам? Есть соблазн утверждать, что, коль скоро выборные церемонии соблюдаются и не полностью фальсифицированы, такова воля народа. Но давно ли ГКЧП и танки на улицах Москвы вынудили сотни тысяч протестовать, а нынче все спокойно и газеты печатают: «Путин – это наше все!»? Отчего народ стал иным?

В семнадцатом году Россию вздыбили три роковых вопроса – война, земля и колонии. Большевики взяли власть под флагом

мировой революции, означавшей на бумаге и конец войны, и конец колониальной империи, а поскольку революция упразднила собственность (имелась в виду, в частности, помещичья), аграрный вопрос решался сам собой. Вышло не так, после трех с лишним лет гражданской войны и военного коммунизма Ленину и Троцкому пришлось перейти к новой экономической политике. Ее успешное развитие предполагало все большее сокращение партийных команд, но партия отказываться от них не собиралась.

Вот важнейшим в политической истории XX века и стало преобразование этой партии, и новая ее часть, взявшаяся за построение социализма в одной, отдельно взятой стране, перестреляла старую партию мировой революции. И сама, соответственно, обратилась в партию национал-социализма. Ей отчасти пришлось трудней, чем аналогичной партии в Германии, начавшей сразу с шовинизма и наперед объявившей, каким будет ее социализм. Новые большевики постигали это не сразу, по мере практической надобности. После Сталина в КПСС пробивалось, но подавлялось сознание неэффективности волюнтаристского хозяйничанья. Волюнтаризм от Ленина до Зюганова брал в партии верх.

КПСС давно было пора отбросить омертвевший марксизм-ленинизм. Но лишь коренной кризис и Янаевский взлом режима, искавшего спасения, позволили российским коммунистам это сделать. Делали они это по-разному. Зюганов и его партия, сохранив название, стали полней изъяснять свой национал-социализм. Ельцин и стоящие за ним, напротив, отреклись от названия, назвали себя демократами, но желая удержать власть, уклонялись и от реформ, боясь, как бы общество, став демократическим, их не оттеснило. Они установили авторитарный строй без оформленной идеологии и ужимали нерожденную свободу.

Говорят, Путин возвращается к сталинским порядкам. Это верно во многих отношениях, кроме главного. Идеологию марксизма-ленинизма не возродит даже Зюганову. А основное отличие сталинского и маоистского режимов от гитлеровского и муссолиниевского в том, что первые были идеологизированы в несопоставимо большей мере, чем вторые. Мы снова идем к тоталитарному режиму, но не столь идейно фундированному. Россию ждет не менее жестокая, но более откровенная власть. Заявки на нее подавали уже Дмитрий Васильев, Александр Баркашов, Владимир Жириновский. Они хотели разом перепрыгнуть с ком-

мунистического коня в седло откровенно национал-социалистического, но такие скачки без переходного периода, как правило, не удаются.

Ельцин куда глубже и тоньше понял ситуацию, понял, что Горбачева с новой утопией «социализма с человеческим лицом» куда верней оттеснить под флагом большей демократии, каковую Ельцин и посулил своим отречением от коммунизма. Его сотрудничество с коммунистами, поддерживавшими его премьеров и бюджеты, шло под прикрытием непримиримого публичного противостояния, только и придававшего демократический вид Ельцину, за которого звали голосовать и Васильев, и Баркашов. Но ни создать реальное рыночное хозяйство, способное вывести из кризиса, ни укрепить опорные стояки державы сталинским диктатом, для которого, впрочем, ни сырьевых, ни людских ресурсов уже не было, Ельцин не мог.

Он тяготел к привычному государственному руководству хозяйством, его «приватизация» свелась к частичной передаче государственных концернов в руки немногих монополистов, сознающих свою зависимость от государственного совладельца и нуждающихся в его силе. Не зря три последних премьера – из силовых органов. Но «переходный период» истек, и Путин, хоть и связанный еще ритуалом псевдодемократии, стал напирать на прямое насилие под национальным знаменем, уже в открытом союзе с коммунистами, отведя им роль младших партнеров. Он привел правящий класс к согласию, создав единый фронт от Селезнева до Чубайса, манипулируя и коммунистами, и псевдодемократами, уже открыто впряженными в одну упряжку, несущую его в гору.

Другое дело, в какой мере возрождение волюнтаризма, явленного в Чечне и уже изданных декретах, позволит реально вывести страну из хозяйственного кризиса. Если бы в компьютерном мире успех достигался насилием, неужто его не развернул бы еще Брежнев, при котором кризис разразился, и не сделал бы ощутимых шагов Андропов, и не предложил бы как альтернативу горбачевской перестройке Лигачев, и не нашел бы в партии поддержки? Путинская попытка безоглядно действовать грубым насилием, поправлять хозяйство и судьбу страны методами генерала Шаманова ни к чему, кроме краха, да еще кровавого, наше отечество не приблизит. Почему это не ясно миллионам сограждан?

Прежде всего потому, что псевдореформы Ельцина, взвинтив цены и обесценив людские накопления, повергли рядовых людей в нищету и подорвали в них веру в демократию и реформы. А свобода экономики не получила ходу, не привела к созданию множества конкурентоспособных мелких и средних предприятий, и все сведено к тому, что государственные монополии обозначаются именами Вяхирева, Березовского, Потанина или самого Чубайса, но свобода монополий – создали «олигархи» Политбюро или спорят открыто – не демократия.



*Не ждали.
Картина И. Е. Репина*

Но не менее пагубно и то, что свобода печати, возникшая было при Горбачеве как «гласность», сошла при Ельцине на нет. Формально цензуру еще не ввели, хотя власть определяет руководителей массовых изданий и теле- и радиоканалов, контролируя допуск независимых мнений. Но резкое удорожание не только бумаги и услуг типографских монополий, а и доставки подписных изданий государственной почтой, да и препоны продаже независимых изданий по всей России, подорвали их самокупаемость. При резком подъеме прочих цен и падении зарплат и пенсий газеты и журналы стали почти недоступны. Большинству граждан доступны лишь телепрограммы первого и Российского проправительственных каналов.

Но общественное мнение складывается только при полноте информации и комментариях, выясняющих истину в спорах. В одиночку трудно разобраться, отвечают ли те или иные действия государства твоим интересам. К тому же информация у нас не просто необъективна, но сама пронизана комментарием, полным страстей. Если человек узнает о стране и мире лишь по телевизору, который темнит, искажает и речами Доренко или Леонтьева нагнетает человеконенавистничество, он в любой стране собьется с толку, еще и побольше, чем в России, где трудно вовсе вытравить недоверие к казенной лжи.

Положение людей отчаянное, ориентиры во многом утрачены, и не каждому ясны последствия решений, которые приходится принимать. Но даже справедливо упрекая уставших людей в равнодушии, стоит понимать, что это плод сознательной работы власти.

Круг опять завершился. За оттепелью Хрущева следовало вторжение в Венгрию, за реформой Косыгина – вторжение в Чехословакию, за попыткой Горбачева создать «социализм с человеческим лицом» – ГКЧП и распад СССР, за отказом Ельцина от коммунизма – геноцид в Чечне и утверждение авторитарного порядка в новом имперском оформлении. Послесталинское время – время качания от прежнего порядка к его преодолению. Амплитуды качания растут, но радикальные перемены в экономических и социальных отношениях ни разу не совершились и казавшееся обретенным, отличное от сталинского, положение так ни на миг и не стабилизировалось.

Неоднократное возобновление попыток преодолеть державный порядок свидетельствует, что побуждающие к ним причины все настоятельней продолжают действовать, и можно лишь гадать, скоро ли черед новых усилий обрести либеральную власть и благоденствие и какой ущерб тем временем реставрация насилия несет России, станет ли наше отечество, как требуют его национальные интересы, в самом деле демократическим государством или очередной самозваный «гарант демократии» не только в Чечне применит против граждан своей страны самое современное оружие. Это ненароком может и впрямь стать концом отечественной истории.

Сколько свободы нужно

Коренные свойства феодального порядка – внеэкономическое принуждение, коллективная структура правящего класса, неразвитость частной собственности и охраняющих ее правовых установлений, имперское насилие – поныне присущи России и мешают ее демократическому преобразению. Оно проваливалось, поскольку пытались обуздать лишь частные проявления феодального порядка, но не сам этот порядок, не его коренные свойства.

Дело не за тем одним, чтобы это осознать, но и за возможностью повседневно выражать свое отношение к государству, узурпирующему права общества и, вопреки законам и цивилизованным нормам, навязывающему гражданам величие всенародной голодухи. Вместо расширения свободы слова и печати сводится на нет даже «гласность», избирательная система не позволяет сформировать представительные органы по предпочтениям большинства, а разрешением внутренних конфликтов занята армия, созданная для защиты отечества от агрессии.

Все это объясняют мифами об особом пути русского народа или, наоборот, о его якобы неспособности к демократической жизни, не желая вспоминать, сколько в нашей стране для поддержания внеэкономического порядка убили людей, – и при царях, и после царей. А ценнейшим достоянием любой страны является ее человеческий потенциал, не сводящийся, понятно, к численности, но при постоянном истреблении миллионов неотвратно теряющий не только наличные, но и потенциальные умы и таланты, смеющие иметь суждение.

Феодальная реакция в социалистическом наряде создала государство, уверенное, что люди существуют для него, а не оно для людей, и такое понимание государственности в России и после 1991 года не ослабело. А чтобы началась жизнь, надо перестать убивать. Трудно сказать, сколько времени должно пройти, чтобы страна ожила после того, как убивать перестанут. Но пока убивают, ждать этого не приходится, а меняются лишь формы и способы убийств, и, не говоря о прочем, уже резкое сокращение продолжительности жизни, равно как падение рождаемости, – тоже способы убийства людей, пусть и без оружия.

Не следует только путать власть, которая убивает, с людьми, которых она убивает, не путать русскую власть и русский народ, не думать, что весь народ, русский или чеченский, крашен одним цветом, помнить, что народ состоит из людей, и каждый из них, а не просто все они толпой, творит историю. Индивидуальные вклады каждого из нас в историю отечества хоть и не велики, но суммы их значительны, даже если в масштабе страны составят лишь два-три процента. Два-три процента голосующих на выборах против всех, – это два-три миллиона человек. Выходит, они не обнаружили на политической арене кандидатов, полноценно выражающих их взгляды и

стремления, а это, в свою очередь, говорит о невозможности такие взгляды выразить.

Между тем сперва невыраженные, подспудные, потоки в конечном счете и формируют историю, удивляющую потом неожиданными выплесками. Оглядываясь, мы можем различить, как возникали или стихали такие подспудные течения, можем извлечь опыт из того, на что надеялись наши пращурьы, наши отцы и мы сами, из того, что их и нас обманывало, и действовать иначе. Но, чтобы действовать осмысленно, необходимо преодолеть веру в автоматизм прогресса, совершающегося помимо нас. Скептик Экклезиаст не зря нам понятней, чем мудрецы нашего или прошлого века, толкующие про неизбежный общественный прогресс, дескать, вот он, рядом, толкните дверь. А мы за этой дверью уже были.

Но и с Экклезиастом трудно согласиться. За три тысячи лет кое-что все-таки обновилось. Радуюсь электронным письмам и страшась бряцания ядерными бомбами, странно отрицать успехи в создании того, чего прежде нас не было. Чересчур общая формула часто подводит. В начале третьего тысячелетия нашей эры, не то что в начале первого тысячелетия до нашей эры, смешно спорить, есть ли у человечества успехи, существует ли вообще прогресс. Важно понимать, в чем происходит прогресс, какие нарастают успехи. Бесспорнее всего – технические. Вот и прогресс, которым реально пропитана наша жизнь, – прогресс, прежде всего, технический. Важно видеть, как технический прогресс способствует социальному и при демократии, вовлекая в полноправную экономическую жизнь все больше граждан, способствует тем самым самому себе или, напротив, тормозит социальный прогресс и даже укрепляет реакцию.

Вместе с машинами в Англии возникло движение луддитов, разрушавших машины, вытеснявшие часть рабочих и вынуждавшие овладевать непривычными навыками. Сегодня это реакционное рабочее движение помнят лишь историки. Необходимость машины осознана сотнями миллионов, во всяком случае, в промышленных странах. А пагубность феодальной реакции не осознана поныне, хотя катаклизмы уходящего века были вызваны именно ею и не видно, чтобы ей был заказан путь в новый век. Очередной провал попытки отечества перейти к демократии и экономическим отношениям – свидетельство ее живучести.

Живучесть ее, однако, не в самом по себе уровне хозяйственного и технического развития и не в самой по себе ловкости правящего класса, дальновидно пресекающего любое стремление ограничить его всевластие. Пагубна и вера миллионов в автоматизм прогресса, плодящая убеждение, что достаточно «навести порядок», все равно какой, и все само собой поправится. Пагубно и массовое пренебрежение социальными проблемами, сведение их к социальной помощи, бесспорно необходимой, но вне демократического общества, как мы могли убедиться, ничем не гарантированной. Такой настрой и побуждает людей уповать на сильное государство и сильную личность, якобы способную административными и карательными мерами «навести порядок».

А ведь к нынешнему состоянию страну привело именно «сильное государство», не считавшееся с людьми и не считавшее нужным сводить концы с концами, благо ресурсы и люди были в изобилии. У нас по-прежнему за силу принимают не продуктивность и сбалансированность хозяйства, а неограниченность власти в административных действиях. Наглядным проявлением силы нашего «сильного государства» было вторжение в Афганистан, а сегодня в доказательство силы стирают с лица земли Чечню. Все это от нежелания учиться на собственном опыте. Миф о новом тиране, который наладит экономическое хозяйство, противоречит нашему опыту, в котором выдающийся тиран и впрямь «навел порядок» и заставил людей, живя впроголодь, работать, но хозяйство-то он создал внеэкономическое, в изобилии производившее лишь оружие и разорившее страну.

Мы пренебрегли опытом мирного соревнования экономических и внеэкономических систем, в котором внеэкономические поспевали за экономическими лишь в военном производстве, поскольку только оно имело объективный проверочный критерий – качество вооружения противника. Во всем же остальном они отставали, то есть были нацелены не на длительную жизнь, а на быстрый успех в войне, результатом которой, однако, могло быть лишь уничтожение жизни на земле.

Нет оснований ожидать, что новая «сильная личность», кто бы ею ни стал, наладит экономическое, конкурентное хозяйство. Ссылки на Пиночета неубедительны, поскольку он не устанавливал экономические отношения, а лишь остановил их свертывание, не зря после кровавых излишеств переворота, несколько

тысяч жертв которого все же несопоставимы с десятками, если не сотнями тысяч погубленных в одной Чечне, он не только баллотировался на каких-никаких выборах, но проиграв выборы, уступил дорогу демократическому правлению, опыт которого у Чили, в отличие от нас, был до Альенде и Пиночета.

Учиться на опыте – означает видеть отличия теоретических схем и общих понятий от выравниваемой по ним конкретной реальности. А мы даже опыт Сталина, больше других в уходящем веке покорежившего отечество, все еще не осмыслили. Его изображают то живым воплощением марксизма–ленинизма и коммунизма, то, напротив, сознательным врагом коммунизма и марксизма-ленинизма, сохранявшим их лишь как афишу и вывеску. Приводят множество примеров в подтверждение как того, так и другого. На деле, однако, Сталин не был ни тем ни другим.

Участвуя в движении за реализацию утопии, он отчасти сохранял чувство реальности и при крушении утопических проектов Маркса и Ленина больше других стремился укрепить власть возникшего в ходе ленинской революции внеэкономически правящего слоя, самый состав которого ради этого радикально обновил. Конечно, тем самым он укреплял свою личную власть, но и это имело объективные социальные последствия. Сложившийся в результате строй, ушел от начальных утопических проектов не потому, что Сталин был их сознательным врагом, а потому, что он занимался не пустым строительством коммунистической утопии, а закреплением господства родившегося в ходе борьбы за нее нового правящего слоя.

Корни сталинизма и всей сталинской системы надо искать не в его врожденной злокозненности, а в готовности общества отказаться от экономических отношений. Теория Маркса и политика Ленина предложили идейные и организационные формы такого отказа, но сама готовность миллионов от них отойти обусловлена, прежде всего, неразвитостью у нас экономических отношений, то есть непреодоленностью феодальной реакции, как бы отвергнутой в 1861 году, но продолжавшей жить в душах не только консервативных сторонников, но и многих радикальных противников самодержавия.

Наблюдая современную власть, при всей важности программ и деклараций, еще важнее видеть социальный смысл наводимых ею порядков. Натолкнись они на своевременное сопротивление,

не будь, скажем, авторитарная Конституция Ельцина всенародно принята, от демократии, быть может, уцелели бы не только афиша и вывеска. Примеры явочных поворотов вспять от декларируемых целей во множестве обнаруживаются не только при Ельцине или Сталине, но на всем протяжении истории. Историк задним числом проясняет, почему таким поворотам не воспрепятствовали, но общество, сознающее их опасность, и в будущем не может слепо доверять «положительным процессам». Общество нуждается в ежечасном самоконтроле и осознании происходящего, то есть в открытой политической жизни, при всех ее неприглядных сторонах, не имеющей альтернативы.

Социальный прогресс и реакция различаются не цветом знамени, не формальной принадлежностью к «левому» или «правому» лагерю, а создаваемыми и поддерживаемыми ими общественными отношениями. Бонапарт был едва ли не самым ярким и могущественным в новое время прогрессивным героем, но, когда от этой роли он, в конце концов, отказался, прояснилось, что его прежние победы проистекали не только из бесспорного военного гения, хоть и невозможно ручаться, что его жизнь и судьба Европы сложились бы иначе, отмени он в России крепостное право да еще раздели помещичьи земли. Наш затянувшийся феодализм, опиравшийся на крепостное право, придал трагический характер истории нашего отечества в XX веке, а Бонапарт, имея возможность как-то смягчить и даже предотвратить нашу трагедию, этого не сделал. Он, понятно, и не обязан был это делать, его занимала не Россия. К самой по себе России он был равнодушен.

Сегодня наша внешняя политика все еще строится по стандартам противостояния двух лагерей и двух сверхдержав, хотя, если Россия действительно отказалась от мечты о всемирной империи, то бишь о построении коммунизма во всем мире, и покажет это не только словами, у развитых западных держав не останется причин видеть в ней врага, ее могут счесть даже союзником против поднимающихся неофеодальных держав третьего мира. Сейчас у России нет на западе ни врагов, ни близких союзников. Решив, что она больше не грозит уничтожением Европы и Америки, к ней стали равнодушны.

Было бы недальновидно преодолевать это равнодушие возобновлением угроз, ввергая себя в новую изнурительную гонку

вооружений. Но и при корректных отношениях с западом, у нашей страны есть если еще не явные, то потенциальные враги на юге и востоке, готовые то посягнуть на наши восточные территории, то использовать Россию в своих целях. Мавлади Удугов искренне зовет Россию обратиться в ислам и включиться в войну за создание уже не коммунистической, а исламской всемирной империи. Принятие такого приглашения, однако, так же мало отвечало бы интересам отечества, как и война против Чечни.

Между тем внешнеполитические прогнозы на обозримый период, если не проявлять безответственных инициатив, для России относительно благоприятны и позволяют сосредоточиться на внутренних жизненных проблемах. Нам надо ввести проверенные опытом, четкие, охраняемые судом правила экономической жизни. А для этого, прежде всего, привести армию в соответствие с возможной необходимостью защищать отечество, а не вести агрессивные войны или подавлять силой сограждан, желающих законным порядком отделиться или обрести те или иные права.

Именованное это их желание сепаратизмом можно, лишь забыв, что они были насильственно покорены. При самоубийственности для России внутренних войн, разумный выбор у нас есть лишь меж предоставлением широкой автономии в рамках единой страны и полным отделением. Какой из вариантов больше отвечает национальным интересам России, в каждом конкретном случае следует, видимо, решать особо, но только не силой.

Проблема территориального сепаратизма, покамест нигде, кроме Чечни, открыто не проявившаяся, оказалась острой еще и потому, что параллельно ей проступило стремление к экономической самостоятельности не одних территорий, но и предприятий, которые, лишь выйдя из под власти государственно-монополистических образований (в СССР именовавшихся министерствами, а ныне стыдливо именуемых собственностью «олигархов»), способны стать реальными участниками экономической жизни.

Эти два сепаратизма, еще в советской системе опробованные сперва Хрущевым, а потом Косыгиным, отчасти противостоят друг другу. Они с разных сторон размывают государственный монополизм, и централизованный, и региональный, как

раз и поощряя в нас заинтересованность в едином государстве с единым рынком, где каждому нашлось бы место. Но желая удержать все рычаги управления, правящий класс хочет разом сохранить и хозяйственную монополию и имперскую целостность, то есть на деле не хочет отходить от сталинских принципов хозяйства, истребляя все особенное и отдельное, чем и возбуждает в не видящих выгоды в объединении стремление к самодостаточности и сепаратизму.

Вполне сознавая, что будущность России зависит от массового овладения новыми технологиями и ведущими к ним экономическими механизмами, Владимир Путин хочет, однако, «сделать российское государство эффективным координатором экономических и социальных сил страны, выстраивающим баланс их интересов, определяющим оптимальные цели и параметры общественного развития, создающим условия и механизмы их достижения». Речь, как видим, идет о восстановлении внеэкономического порядка, хоть покамест и без прямой опоры на единую идеологию. Путин признает, что «это, конечно, выходит за рамки расхожей формулы, сводящей роль государства в экономике к выработке правил игры и контролю над их соблюдением», но утверждает, что «сейчас ситуация требует от нас большей степени государственного воздействия на экономические и социальные процессы».

Не хочется ставить под сомнение благие намерения. Но ведь и намерения Ленина и поначалу, возможно, даже Сталина выглядели благими. Во всяком случае, они привели на ту дорогу, на которую привели, не потому, что дурны были начальные цели, а в первую голову потому, что их достижению служило «государственное воздействие на экономические и социальные процессы». Наш опыт больше, чем чей бы то ни было, — опыт пагубного государственного воздействия. Конечно, государство не только вправе, но нередко и обязано способствовать желательным и препятствовать нежелательным обществу процессам и явлениям, однако — и в этом суть — непременно экономическим и правовым путем.

Сведенное к руководству, а потом и к диктату отношение государства к обществу, при самых лучших намерениях, разрушает общество, подрывает главное условие социального прогресса, а тем самым и целостного развития, — возможность социального компромисса. Даже при феодализме не изуродованное реакцией общество сознавало нужду в компромиссе, в признании

границ, перед которыми власть останавливается, считаясь с правами подвластных, даже зависимых. Переступая эти границы и достигая сперва успехов, феодальная реакция неизбежно подрывала государство, которое намеревалась укрепить.

Тем более пагубно при нынешнем плюралистическом хозяйстве подменять общественный компромисс государственным руководством. Не нанимаемый обществом на время, а слившийся с государством правящий слой, зовут его дворянством или номенклатурой, не считаясь с нуждами, интересами и гарантиями других слоев общества, так или иначе, тормозит их продуктивность. Современное общество не знает наперед, на что у него появится спрос, и нуждается в изобилии предложений, невозможном без свободы личности, без экономической свободы предприятия, а в многонациональной и обширной стране, совершенно так же, и без свободы народов и самоуправления регионов.

Люди, именующие себя патриотами, ныне возрождают старое имперское представление о России – единая и неделимая. Между тем, чтобы и ныне быть единой, ей надо на деле, а не только по Конституции быть федерацией, то есть быть делимой, уважающей права народов, территорий и людей, ее составляющих, поскольку всякое ущемление их прав, всякое непризнание их достоинства и самостоятельности и тем самым добровольного, а не подневольного пребывания в составе России как раз более всего и подрывает ее единство, внедряя разделение на своих и чужих. Чем более естественно она делима, тем более едина, ибо силам, ее сплывающим, тогда не противодействует усердие государства, предписывающего каждому каждый шаг из единого центра и по единым образцам. Такая государственная политика как раз и стала на деле антироссийской, плодящей и сепаратизм, и отчуждение людей от государства, и заведомое недоверие власти.



*Царевна-Лебедь.
Картина М. А. Врубеля*

Путину кажется, что государство своим администрированием способно эффективно направлять экономические и социальные процессы. Он прямо говорит: «Мы должны руководствоваться принципом: “Государства там и столько, сколько необходимо, свободы там и столько, сколько нужно”». Но само государство и он сам претендуют решать «сколько необходимо» и «сколько нужно», утверждая свою абсолютную власть над гражданами. Уже это возвращает нас к сталинским порядкам, словно мы не знаем, к чему они привели. Но если тяжелый опыт современно не додуман, приходится его повторять.

Содержание

Глава вступительная. РОДИНА ИЛИ ОТЕЧЕСТВО	
Не с нас началось	4
Избирательная память	7
Причины и цели	10
Отечество	12
Глава первая. ОТ КНЯЗЯ ОЛЕГА ДО ХАНА БАТЫЯ	
Откуда Русь?	16
Киевские князья	19
Крещение	23
Ярослав Мудрый	27
Дробление	30
Уделы	33
Монголы	39
Глава вторая. ОТ КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ДО ХАНА АХМАТА	
Сопrotивление	44
Собрание	49
Куликовская битва	54
Андрей Рублев	56
Стояние на Угре	58
Глава третья. ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ СЕЕТ СМУТУ	
После трудного детства	68
Опричнина	71
Царь Борис	79
Смута	81
Минин и Пожарский	85
Кто проиграл?	88
Глава четвертая. ОТЕЦ ИЛИ СЫН	
Наследники Грозного	92
Конец другой Руси	94
Раскол	97
Милославские и Нарышкины	103
Петр	105
Куда прорубил окно	108
Военный пример частной жизни	117

Глава пятая. НЕУДАЧА КНЯЗЯ ГОЛИЦЫНА

Гнездо Петрово	121
Внук	124
Кондиции	126
Бироновщина	130
Дочь	134

Глава шестая. КАК СОФЬЯ СТАЛА КАТЕРИНОЙ

Немецкая девочка	138
Единая и неделимая	142
Слава русского оружия	145
Крестьянская война	148
Разум и привилегии	151
Просвещенное рабовладение	154

Глава седьмая. ОТ БОРОДИНА ДО МАЛАХОВА КУРГАНА

Надежды воспитателя	158
Романтический император	161
Прекрасное начало	163
Гроза двенадцатого года	166
После Парижа	168
Неудобозабываемый тормоз	172
Утопическое сознание	175
Оборона Севастополя	178

Глава восьмая. ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «СВОБОДА»

По манию царя	180
19 февраля	183
Земля и воля	185
Нищий барин	186
Хождение в народ	189
Барский социализм	190
Бремя самостоятельности	192
За что боролись	193
Контрреформы	194
Последний царь	197
Большевики	204
Запоздалый реформатор	208

Глава девятая. ОТ СЕМНАДЦАТОГО ДО ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО

Февраль	217
Октябрь	222
Революция или переворот?	227
Военный коммунизм	227

Противостояние	230
Кронштадт	232
Цена золотого червонца	234
Кто кого?	239
Великий перелом	242
Великий террор	245

Глава десятая. ДЕРЖАВА НАД ПРОПАСТЬЮ

После победы	253
Оттепель	258
Совнархозы	261
Номенклатура	262
Тихий сталинизм	263
Что почем?	265
Пражская весна	267
Афганистан	269
Перестройка	270
Россия	275
«Молодые реформаторы»	278
Без Учредительного собрания	282
Кто составляет Федерацию	285

Глава заключительная. ИСТОРИЯ И ЛЮДИ

Дырявая лестница	288
Феодальная реакция	291
Метрополия и колонии	295
Народ и власть	298
Сколько свободы нужно	302

КАРП Позль Меерович

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Редактор *Золина Н. К.*

Художественный редактор *Соловьева Н. Д.*

В подготовке издания принимали участие
Морозов А. В., Морозова И. С.

Лицензия ЛР № 064946 от 28 января 1997 г.

Издательство «СМИО Пресс».
193148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 20/32, кв. 5.
Тел./факс (812) 567-55-14. E-mail: smio@vs7316.spb.edu

Подписано в печать 07.12.01. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 15,6. Тираж 5000 экз. Заказ № 2062.

Отпечатано с диапозитивов в ФГУП «Печатный двор» Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

Книги издательства «СМИО Пресс» вы можете приобрести

в Санкт-Петербурге

Издательство «СМИО Пресс»

ул. Седова, д. 20/32, кв. 5 (ст. м. Елизаровская).

Тел./факс (812) 567-55-14, E-mail: smio@vs7316.spb.edu

«Санкт-Петербургский Дом книги», Невский пр., д. 28
(ст. м. «Невский проспект» и «Гостиный Двор»)

в Москве

Торговый Дом «Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5
(ст. м. «Лубянка», «Кузнецкий мост»)

в Новосибирске

«Топ-книга», Академгородок, ул. Арбузова

Тел./факс (3832) 36-10-26, 36-10-28,

E-mail: office@top-kniga.ru, http: www.top-kniga.ru

в Нью-Йорке

Книжный магазин «Белые ночи»,

25-25 East 6th Street, Brooklyn, NY 11235

Phone (1-01718) 368-11-40, fax (1-01718) 332-34-98

E-mail: office@kniga.com, http: www.kniga.com